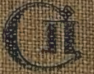
КИРИЛЛ ЛЕВИН

РУССКИЕ СОЛДАТЫ



КИРИЛЛ ЛЕВИН
РУССКИЕ СОЛДАТЫ

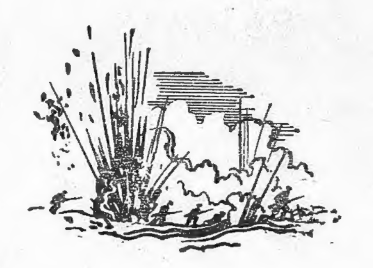




КИРИЛЛ ЛЕВИН

РУССКИЕ СОЛДАТЫ

РОМАН

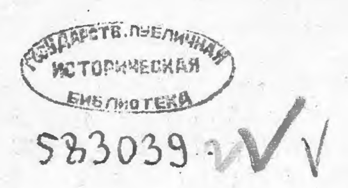


СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1940

Л-36

„Русские солдаты являются одними из самых храбрых в Европе".

Маркс и Энгельс
(Соч., т. X, стр. 650)



Художник А. Усачев

Книга первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МОЗАИКА

1

Широкая пустая улица наполнилась шумом. По мостовой пробежали дети. Женщины вышли за ворота. Человек в расстегнутой рубахе высунулся из окна и, сердито посмотрев вокруг, спрятался в комнате.

Музыканты — пятнадцать солдат в мокрых сапогах — маршировали по грязной немощеной улице. За ними с сундучками за спинами и на плечах торопливо и неспокойно шла толпа молодежи. Толпу сопровождали солдаты.

Фельдфебель, коренастый человек с узким медвежьим лицом, шагал по деревянным мосткам тротуара. Он отвечал за всех этих людей, пригнанных из далеких концов России, и все время подозрительно осматривал ряды — не сбежал ли кто-нибудь?

У новобранцев были серые, неспокойные лица. Некоторые из них смеялись и ухарски поглядывали вокруг, вспоминая то отчаянное, сопровождаемое пьянством и битьем стекол буйство, которое происходило в первые дни призыва. Трое шли обнявшись — их сундучки вез рваный, хромой старик на ручной тележке — и пели «Лучинушку». Но песня не получалась. И рослый новобранец в желтом, как масло, полушубке насмешливо говорил, косясь на певцов:

— Вот поют! Вот поют! На каторге так поют.

На повороте, возле зеленого одноэтажного домика, у новобранца, шагавшего в первом ряду, сорвался с плеча сундучок, и вещи вывалились оттуда на мокрую землю.

Фельдфебель скосил на новобранца тяжелые, как гири, глаза. Ефрейтор подошел, сердито качая головой.

— Эх, разиня, — сказал он, — что же ты мне всю команду портишь?

Новобранец неловко и поспешно запихивал вещи

в сундук, и так как крышка не закрывалась, понес его, держа на груди, как охапку дров. Ему было трудно нести, руки сразу затекли,— они не сходились на сундуке, но остановиться новобранец не решался и шел с напряженным лицом, тяжело дыша.

У ворот казармы фельдфебель скомандовал остановиться. Он вынул из-за обшлага шинели свернутую бумагу и развернул ее. Дневальный открыл ворота, и ефрейторы и унтер-офицеры пропускали новобранцев во двор, недоверчиво оглядывая их, как оглядывают пастухи дикое, еще не укрощенное стадо.

Фельдфебель вызывал каждого по списку. Здесь, в казарме, он чувствовал себя увереннее, в его голосе отслышались низкие чугунные ноты, тусклые глаза отсвечивали железом.

— Карцев,— вызвал он, и новобранец, у которого на улице упал сундучок, вышел вперед.

— Что же ты неаккуратно шел? — спросил фельдфебель. — Сегодня барахло рассыпал, завтра винтовку уронишь.

— Скользко было,— ответил Карцев.

— Молчи, серая курва,— тихо сказал фельдфебель. — Молчи, когда с тобой начальство говорит, тянись да слушай. Понял?

Кривоногий ефрейтор с прижатыми, точно приклеенными к голове ушами подошел сзади.

— Говори — господин подпрапорщик,— громко сказал ефрейтор. — Понял?

Карцев молчал.

— Понял? — настойчиво повторил ефрейтор. — Отвечай, когда начальство спрашивает.

— Понял.

— Скучно с вами, чертями, возиться, — сказал ефрейтор. — На каждом слове все у вас не так. Повторяй за мной: точно так, понял, господин ефрейтор.

Карцев внятно произнес всю фразу. Лицо его сжималось и угрюмело.

2

Он призывался в Одессе. Ему запомнилось воинское присутствие с грязными, вонючими коридорами, набитыми голыми и полураздетыми людьми, со шмы-

гающими писарями, наглыми и, как сразу было видно, продажными людьми, которые торговали, чем только могли: протекцией к врачу, правом освидетельствования вне очереди, назначением в хороший полк, обещанием льготы, освобождением от службы и многим еще. Карцев провел там несколько дней, дожидаясь своей очереди. В мрачном этом здании, пропахшем клозетом и мертвецкой, кипела жизнь, какая бывает на бирже или в притоне. Военная служба считалась большим несчастьем.

Карцева поставили в станок, измерили его рост и объем груди, врач бегло осмотрел его, постукал, равнодушно спросил, не болел ли он сифилисом или триппером, и признал годным.

Писарь выдал ему записку на сборный пункт к воинскому начальнику. Карцев вышел, испытывая облегчение оттого, что избавился от вонючих коридоров и длительного ожидания. Через два дня он явился к воинскому начальнику. Писарь с лаковыми глазами принял его вежливо. Он, щурясь и улыбаясь, расспросил Карцева о том, где он работал, есть ли у него жена или (подмигивание и затасканная улыбка) девочка и не желает ли он ночевать дома.

— А разве можно? — спросил Карцев, не доверяя писарю и думая, что тот над ним издевается.

— За то-с, келькшоз, все можно, — хихикая, ответил писарь и так ловко поиграл пальцами, что Карцев сразу его понял.

— Денег нет, — резко сказал он.

Ему показалось, что писарь не расслышал, а еще через минуту—что вообще никакого разговора у него с писарем не было. Писарь, повизгивая, кричал на новобранцев, листал книги и, сложив стопкой бумаги и подравняв их, быстро считал, мусоля пальцы, как кассиры считают деньги.

— А ты что тут стоишь? — удивленно глядя на Карцева, крикнул он. — Что тебе тут нужно?

Карцев пожал плечами, затрудняясь ответом.

— Марш отсюда, — визгливо прокричал писарь, — во двор, в казарму.

Казарма у воинского начальника была длинной комнатой, у стен которой в два ряда тянулись нары. Воз-

дух был терпкий, прогорклый, стены склизкие и как будто одутловатые, а оконные стекла так запылены и грязны, что почти не пропускали света. Видно было, что это временное, этапное помещение, и никто не хочет заботиться о том, чтобы оно выглядело чище. Карцеву невольно вспомнилась портовая ночлежка, в которой ему пришлось однажды ночевать.

Угрюмо оглянувшись, он опустил на нары свои вещи.

Рядом с ним сидел с безнадежным видом маленький, худой человек с голым, точно лакированным черепом и с остренькой черной бородкой.

Он подвинулся, давая место Карцеву, и тот с удивлением отметил странные глаза человечка: большие, сжатые с висков, точно обрубленные, с сиреневыми зрачками, они смотрели так живо и тепло, что казались чужими на этом бледном, вялом и невеселом лице.

Они разговорились. Человечка звали Орлинский. Он ничего не говорил о себе, какая-то профессиональная скрытность была в нем, но она не делала его неприятным.

— Какая тут грязь,— с отвращением сказал Орлинский, оглядывая комнату, — как надо не уважать человека, плевать на него, чтобы совать его в такую мерзкую дыру...

— А за что нас уважать? — шутливо спросил Карцев. — Разве мы купцы или домовладельцы?

Орлинский смотрел на него без улыбки.

— Мне очень трудно, — тихо, почти про себя, сказал он. — Если говорить прямо, я боюсь. Да, боюсь. Не могу себя побороть.

Губы у него сморщились. Он непонятно хихикнул.

— Вы незнакомый человек,—торопливо говорил он, пригибаясь к Карцеву,—и я все же откровенен с вами, может быть, инстинктивно (вы мне нравитесь), а может быть, потому, что я должен сейчас с кем-нибудь говорить. Понимаете, — это не страх, вернее, не простой страх. Это совсем другое. Я боюсь грубости. Я боюсь этой чужой, неизвестной власти надо мной, которая может заставить меня делать все, что захочет.

Он оглянулся, широко раскрыв сжатые, точно обрубленные с висков глаза, и прошептал, задыхаясь:

— Мне кажется, что меня тащат в шайку, в разбойничью шайку... и я... меня тоже заставят грабить и убивать. Понимаете?

Карцев смотрел с недоумением.

Новобранцы провели два дня на сборном пункте. Пришел воинский начальник, высокий, толстый полковник, с лицом, исчерченным извилистыми кровяными жилками, обошел ряды выстроившихся во дворе новобранцев и сказал речь:

— Сейчас, ребята, вы объединены общим великим служением царю и отечеству, — говорил воинский начальник.— Вы все сейчас родные братья, воины белого царя, защитники отчизны. Нет ничего почетнее вашего воинского звания. Все завидуют вам, и вы должны оправдать высокую честь, которая вам оказана.

Полковник помолчал, оглядывая все эти молодые, запрятанные в себя лица, и закончил:

— Во всех полках, во всех частях, куда вас назначат, вы одинаково будете служить царю и родине, и поэтому я не принимаю никаких просьб о назначении в те или иные города: везде хорошо, везде вы будете пользоваться заботами своих начальников.

Одни смотрели тупо и покорно, другие угрюмо переглядывались. Некоторые подавленно смотрели вниз. Полковник, надув грудь, закричал:

— Орлами, орлами смотреть,— не на каторгу идете, а на царскую службу.

Оркестр заиграл марш, и писаря и унтер-офицеры стали кричать «ура». Кричали и новобранцы, потом пели песни, а к вечеру почти все перепились. Водку покупали тут же у жены каптенармуса, бравшей двойную цену. В казарме зажгли керосиновые лампы. Их тусклый, бурый свет с трудом пробивался сквозь густой махорочный дым, и длинные изломанные человеческие тени метались по стенам, как мечутся в клетке только что пойманные звери. На нарах сидели и лежали в обнимку новобранцы, жаловались друг другу, целовались, плакали и пели.

Так провели почти всю ночь. Старшего начальства не было, а младшее благоразумно не входило в казар-

му, зная по опыту, что лучше сейчас не трогать новобранцев, а дать им иллюзию пьяной свободы. В частях их все равно обломают, как полагается.

3

На другой день происходила разбивка по частям. Новобранцев вызывали по одному в канцелярию и сообщали место назначения. Одни уезжали в Московский округ, другие—на персидскую границу, третьи—в Сибирь и Туркестан. Мало кого оставляли на месте призыва. Солдаты должны были служить за сотни и тысячи верст от своей родины.

Хорошо продуманная система солдатского воспитания требовала, чтобы солдаты были чужаками населению и изолированы от всех посторонних влияний для того, чтобы каждый день и час, не рассуждая и не думая, выполнять приказы начальства. На родине было бы труднее заставить их это делать.

Составлялись команды под начальством ефрейторов и унтер-офицеров, и новобранцы со своими сундучками отправлялись на вокзал, где их грузили в товарные вагоны «максимов». Вагоны подолгу стояли на станциях, их отводили на запасный путь. Это медленное путешествие казалось невыносимо томительным и действовало угнетающе.

Партия, в которой был Карцев, ехала в вагоне четвертого класса.

В вагоне было много народу. С новобранцами охотно заговаривали, давали им советы, хвастали своей прошедшей службой. Толстый человек в зеленоватой бекеше, поворачиваясь туго набитым в одежду телом, пытался рассказать, как весело жилось ему в полку. Он хохотал так, что глаза его закрывались, и слезы, как капельки сала, выдавливались на малиновые щеки.

— Ну и смех же был, ну и умора! — говорил он, повизгивая, и с ним смеялись и другие, хотя трудно было понять, что веселого было с ним на военной службе.

На маленькой станции к новобранцам подсел старый рабочий с бородкой конусом и в очках в стальной оправе. Он легко ввязался с ними в разговор и сообщил, что два его сына прошли ту «шкурную» науку, которая их ожидает.

Он ласково и насмешливо оглядывал новобранцев сквозь чистенькие стекла очков и, побрякивая железной цепочкой, на которой у него висели ключи, говорил:

— Вот гляжу я на вас, пареньки. Люди вы, как люди, жили себе, работали. Мысли у вас простые, человеческие. Кому от вас вред, кому печаль? А теперь взяли вас, натаскают, и станете вы себе чужими, другим чужими — станете вы, пареньки, вроде гладиаторов. Будете истреблять и бить всех, кого ни укажут. Родного товарища будете в тюрьме стеречь. Служи, солдат, старайся, солдат, за тебя другие думают. А что они думают — не твое дело. Э-эх, вы, телятки вы мои, молочненькие...

Одни слушали его равнодушно и туповато, другие — напряженно, ближе подвигаясь к нему. Новобранец с круглым деревенским лицом обиженно спросил, что это такие за гла-ди-торы.

Старик спокойно ответил ему:

— Гладиаторы, сынок, это военные рабы в древнеримской империи. Они выступали в цирках и для потехи патрициев, римских помещиков, убивали друг друга.

К разговаривающим подошел ефрейтор. Он постоял, послушал и сердито взял старика за плечо.

— Ты что же это? — грозно спросил ефрейтор. — Слова говоришь? Смотри, сдам тебя, куда надо. Пошел, пошел отсюда.

Старик спокойно посмотрел на него.

— Я что же, я уйду, — сказал он, поднимаясь. — Только я им ничего нехорошего не говорил.

— Слышал я, какое ты им хорошее говорил, — ответил ефрейтор.

— А разве не правда? — смеясь глазами, сказал старик.— Вот посмотри на себя. Тебя совсем замашинили. Не думаешь о своем, только тянешься и других тянешь. А ведь ты таким же, как эти, молочным был.

Ефрейтор не нашелся, что сказать.

— Иди, иди, — пробормотал он, — тоже выдумал — замашинили. И слова такого нет.

Старик ушел.

— Шляется всякая сволочь,— сказал ефрейтор, сердито смотря на солдат. — Очки надел и задается.

Я сам отслужу и буду очки носить. Тоже мне лебедь — птица.

Это был худощавый, узкоплечий парень с рыжими усами, неловко сидевшими над фиолетовыми губами. Лицо у него было бездумное, глаза пустые, запыленные, похожие на клочья серой, засохшей земли. Двигался и говорил ефрейтор размеренно и ровно, его руки ходили, как поршни машины, и даже удары шагов звучали, как удары маятника. И только когда он спал или сидел в стороне, что-нибудь делая, его лицо и движения менялись и становились более простыми. Солдатская наслойка сходила с ефрейтора и, присмотревшись, можно было разглядеть в этой обезличенной фигуре неуклюжесть и застенчивость деревенского парня, и запыленные глаза глядели тогда невесело и с нетерпеливым ожиданием.

4

Казарма в полку выглядела не так скверно, как у воинского начальника. Короткая, широкая деревянная лестница вела в просторные сени, где стояли умывальники и баки с водой. Из сеней проходили в казарму — длинный коридор с огромными комнатами по сторонам: комнаты были светлые, с большими окнами, стекла в них были вымыты до прозрачности. Ряды низких железных коек, одинаково заправленных одинаковыми темносерыми одеялами, стояли там, оставляя только узкие проходы. В коридоре не было коек, в нем находились пирамиды для винтовок, кобылы для гимнастики и длинные столы, за которыми пили чай. Под потолком вместо бордюра серой краской были напечатаны сентенции военной и солдатской мудрости: «пуля — дура, а штык — молодец», «промедление смерти подобно есть», «солдат — слуга царю и родине, защитник православной веры» и другие.

Карцева назначили в первый взвод десятой роты. Взводный, старший унтер-офицер Машков, полный, меднолицый человек, ленивый в движениях, привел новобранцев в комнату, где помещался его взвод.

— Ну вот, ребята, — сказал он, становясь перед новобранцами и оттопырив пояс двумя пальцами. — Я уклонений не люблю. Это вам не вольная жизнь. Хотя

здесь не каторга,— это, скажем, враки,— но казарма вам, конечно, не тещин дом. Требую от всех строгой службы. Храни вас бог от грязи или, скажем, от вольных мыслей. Тут, понятно, никакой пощады не будет, вплоть до военного суда. Портянка, добавлю, первая вещь для солдата Без правильной завертки сотрешь ногу, а солдатская нога — казенное имущество. Стало быть, тебя, сволочь, накажут,— и будет правильно. Тут и нарядов не жалко, и под винтовкой сгниешь. Вообще. Еще скажу о высоком воинском звании. Сам государь император носит военную форму, и вас того же удостаивают. Кто этого не поймет, пускай лучше просится прямо в дисциплинарный батальон. Вникли? Начальство знайте в лицо и по походке, и по звуку голоса, и по присвоенным ему отличиям. Называть начальство надо по чину и званию. Без этого никакой службы нет. К примеру — я, непосредственное ваше начальство. Господин взводный, старший унтер-офицер Иван Николаевич Машков. Вот кто я. Забывать этого не советую. Вникли?

Машков назначил старших к новобранцам, а старшие указали им их места. Шесть человек, попавших в первый взвод, пошли в цейхгауз за койками и матрацами. Возле Карцева поместился Самохин, белокурый парень с плоским, вялым лицом и с непомерно большими ногами. Карцев искал Орлинского, который вместе с ним приехал в город, но нигде не мог его найти.

Он долго прилаживал койку. Широкая деревянная доска с изголовьем клалась на железные козлы. Все это сооружение было непрочно и качалось при каждом движении лежащего. Старые солдаты хорошо знали эти свойства коек и потешались над молодыми. К Самохину подошел рябой мелкий солдатик и, моргая синими, с красными веками, глазками, спросил его, не хочет ли он пойти в отпуск. Самохин лежал на своей койке и, усмехнувшись, ответил:

— Известно.

— Так ехай, — добродушно сказал мелкий солдатик и, ухватив за край койки, сильно потянул ее к себе и отпустил. Козлы качнулись, повалились, и койка с Самохиным полетела на пол. Весь взвод хохотал, некоторые даже повизгивали от веселья.

— Ну, вот и поехал в отпуск,— оглядываясь, говорил мелкий солдат. Он суетился, заглядывал всем в глаза, даже подлаивал как-то, и видно было, что историю с койкой он проделал больше для того, чтобы показаться перед другими, чем для собственного удовольствия. Не смеялся только солдат с темным, покрытым оспинами лицом, и когда мелкий солдатик подошел к нему, ища одобрения своей шутке, он ответил как будто с презрением:

— Иди, иди, тут не подают.

Самохин встал сконфуженный, боясь обидеться, и неловко подымал койку. Карцев смотрел молча, не сердясь и не удивляясь. Он живал в ночлежках, в бараках и знал, что во всех таких общежитиях водятся свои обычаи и нравы, редко безобидные, чаще жестокие, и надо, по возможности, мириться с ними, не давая все же себя в обиду.

Каптенармус выдал ему обмундирование и белье. Позеленевшие суконные шаровары с трудом налезли на него. Они были стары, заплатаны на обоих коленях и застегивались у пояса на одну большую, но очень тонкую медную пуговицу. Сапоги он получил новые, тяжелые и больше размером, чем ему было нужно. Он попробовал обменять их, но каптенармус, старший унтер-офицер Рязанов, флегматичный человек, с такими узкими бедрами, что пояс все время сваливался у него, внимательно посмотрел на него и сказал, что менять нельзя, так как нет других размеров. Карцев опустил руку в карман, как всегда делал по старой привычке, и Рязанов, оживившись, сбросил с полки другие сапоги, поменьше. Карцев примерил их, они оказались ему хороши. Он надел их, поблагодарил каптенармуса и пошел из цейхгауза. Рязанов озадаченно посмотрел ему вслед и удивленно крикнул:

— Что же ты, земляк, смеешься, что ли?

Карцев остановился, не понимая, в чем дело, и каптенармус, со свистом выпуская слова, сказал:

— Ну и овощ, погоди ты у меня. Научишься, как руку в карман совать. Задаром у нас не проживешь.

Первый день прошел без особых происшествий. Перед вечером пришел фельдфебель, зауряд-прапорщик Смирнов. Фельдфебель осмотрел новобранцев, подергал их за гимнастерки, потыкал в животы и обнюхал.

Он говорил быстро, глотая слова, не давая им до конца выпрыгнуть изо рта. На груди его висел георгиевский крест.

— Новенькие, свеженькие, — выкрикивал Смирнов с такой радостью, точно ему прислали хороший подарок.

Лицо его казалось добродушным от бородки, от сощуренных глазок и от своей круглоты.

— Машков, — похрюкивая, сказал он, закладывая пальцы за шинель,— ты уж хорошенько позаботься о молодых. Пригрей их, научи солдатскому обиходу. Они ведь серенькие, пушочком еще покрыты.

— Слушаю, господин прапорщик, — ответил Машков.

Смирнов был зауряд-прапорщиком,— это звание он получил на японской войне, но любил, когда его называли прапорщиком, и вся десятая рота хорошо знала об этом.

— Так, так, — нараспев сказал Смирнов, — пришел к нам четырнадцатый годок. Просим их, просим до нашего шалашу.

Он покатился по коридору, маленький, круглый, махая короткой рукой. Офицерские пуговицы с накладными орлами блестели на его шинели. Смирнов не был ни офицером, ни нижним чином,— тем ревнивее он берег и подчеркивал все то, что приближало его, по крайней мере внешне, к офицерам: офицерские погоны (но с желтой фельдфебельской нашивкой), кокарду и пуговицы.

5

Вечером во дворе казармы Карцев встретил Орлинского. Он обрадованно пожал ему руку и ласково посмотрел в его живые, обрубленные с висков глаза. Орлинский выглядел неуклюжим в своей плохо пригнанной солдатской форме, гимнастерка топорщилась на его спине, и голенище одного сапога, спустившись, было короче другого.

— Милый друг,—сказал Орлинский,—я рад, я очень рад вас видеть. Вы такой здоровый и спокойный, что я себя чувствую увереннее оттого, что вы здесь со мной и носите такой же мундир, как и я. Значит, есть надежда, что не пропадем.

— Не пропадем, — ответил Карцев, — ведь всегда первые дни — самые тяжелые. Обживемся, привыкнем, может быть, и не так плохо будет.

Орлинский смотрел снизу вверх (он был на полголовы ниже Карцева) и кивнул головой.

— Попробуем, — задумчиво ответил он, — только вам будет легче, чем мне. Мне здесь душно, как в гробу.

— Это за два только дня, — с дружеской суровостью сказал Карцев, — быстро же вы расклеились.

Они, разговаривая, шли по двору. Двор был огромный, четырехугольный. Одноэтажные деревянные казармы замыкали его со всех сторон. В левом углу помещались уборные, заметные по густому запаху дегтя и карболки, а справа, в другом конце, в узком и длинном здании, была сосредоточена культурная база казармы,— там находились солдатская лавочка и библиотека. Тут же жила музыкантская команда полка. Разрозненное гудение труб слышалось из казармы музыкантов. Тромбон выводил веселый марш. Флейта по-детски пела «Коль славен». Баритон осторожно играл трепака.

Между помещением музыкантов и казармой восьмой роты образовался уголок, вроде коридорчика, заканчивающийся навесом. Навес был укрыт со двора, там часто собирались солдаты, устроив себе нечто вроде клуба. Из-под навеса доносились негромкие голоса. Кто-то с нерусским акцентом произнес длинную фразу. Ему ответил другой голос, низкий и возбужденный. Карцев невольно шагнул в коридорчик. Орлинский пошел за ним, неловко подымая ноги в тяжелых сапогах (он никогда до службы не носил сапог).

Под навесом сидел на корчаге широкоплечий белобрысый солдат с синими глазами. Он подпирал голову руками, взгляд его был неподвижен и печален. Возле него стоял черный (черными у него были глаза, волосы, усы и небритое лицо) солдат. Кадык, как сломанная кость, выпирал из-под кожи. Он внимательно посмотрел на подходивших и улыбнулся Карцеву. Это был Гилель Черницкий, солдат их роты, с которым Карцев познакомился и разговорился еще в первый день своего прибытия в казарму.

— Еще раз говорю, Мишканис, что лучше тебе подождать, — сказал Черницкий, — пропадешь за ничего.

Мишканис упорно покачал головой.

— А мне все равно, — ответил он, делая ударение на «а». — Так скучаю, так скучаю, что не могу жить. Ох, все равно.

— Еще поговорим, — сказал Черницкий, видимо, не желая сейчас продолжать разговор. — Ты подожди, Мишканис, несколько дней. Пойдем в лавку.

Мишканис встал. У него были могучие, мускулистые ноги, пыльные голенища сапог туго охватывали их. Не обращая внимания на Карцева и Орлинского, он кивнул Черницкому и пошел не к лавке, а в другую сторону.

— Ну, как себя чувствуешь у нас? — спросил Черницкий у Карцева.

— Очень хорошо, — ворчливо ответил Карцев. — Так понравилось, что не скоро отсюда соберусь. Года на три еще останусь.

Орлинский смотрел на них, удивляясь, как быстро они сошлись и легко разговаривают друг с другом, тогда как ему не удалось еще ни с кем сблизиться, и в казарме он себя чувствовал одиноким и далеким от товарищей по службе.

— Боевой парень, — весело сказал Черницкий, хлопая Карцева по спине, — такой нигде не пропадет.

И, сощурившись, он оглядел интеллигентное лицо Орлинского, всю его утлую фигуру и вежливо добавил:

— Вижу в вас тяжелое разочарование, господин учившийся, но вспомните, прошу вас, о том, что солнце все-таки светит и здесь, и никто, даже сам господин фельдфебель, не может его потушить.

Они пошли в лавку. Маленькая комната была наполнена махорочным дымом. Царский портрет висел на стене. Щекастое, оплывшее книзу лицо выглядело вяло, голубые кружки глаз были усеяны черными мушиными точечками. Продавец, ефрейтор в смятой бескозырке, резал ситный широким, как топор, ножом, клал на стойку серые пачки махорки и ловко бросал медяки в узкий ящик. Многие солдаты стояли, ничего не покупая. Три копейки на полфунта ситного, две

копейки на махорку были далеко не у всех. Большинство из них — крестьяне-бедняки — обходились тем полтинником, который платил им царь. На подоконнике сидел солдат в хороших хромовых сапогах и ел колбасу с ситным. На него посматривали небрежно и недружелюбно, но с завистью.

— Купцам везде хорошо,— сказал Комаров, маленький, юркий и худой паренек, тот самый, что опрокинул койку Самохина,— им и на службе жизнь, а мы даже на воле дохнем.

Солдат доел колбасу и ситник, вынул пачку папирос и стал закуривать. Комаров подскочил к нему, виляя спиной и хихикая, и протянул руку к папиросам. Солдат спокойно убрал пачку и, точно не замечая Комарова, пошел из лавки.

Черницкий купил папиросы. Комаров, выжидая, смотрел на него, и Черницкий, поймав его взгляд, протянул ему открытую пачку. Комаров выколупнул черными пальцами папиросу и, стукнув мундштуком о ноготь, закурил:

— Покорнейше благодарю, господин старослужащий,— крикнул он тонким голоском и подмигнул Карцеву.

— Старослужащий, это тебе не серый, землячок,— важно объяснил он.— Для этого надо двое штанов, да полдюжины портянок сносить, да дерьма сто пудов почистить.

Он захохотал, радуясь своему остроумию, и вдруг полинял, сжался и исчез. В лавку входил офицер, большой, грузный человек с черными рожками усов над красными, спелыми губами.

Продавец оглушительно крикнул — «встать, смирно» — и замер за стойкой, вытянув по швам руки. Солдаты застыли, их головы повернулись к офицеру, как подсолнечники к солнцу.

— Вольно,— вяло сказал офицер и, не повышая голоса, сказал Орлинскому: — Как стоишь? Почему ноги расставил, когда командуют смирно?

Орлинский растерялся, его лицо жалко сморщилось, и он ответил:

— Видите ли...

— Дурак,— перебил офицер,— как ты ко мне обращаешься! Ты ко мне в гости пришел, что ли?

Черницкий с рукой у козырька сделал шаг вперед.

— Разрешите доложить, ваше благородие,— громко сказал он,— это новобранец. Два дня как прибыл в полк.

— Так не выпускайте его из помещения, пока не научится обращаться к начальнику,— сказал офицер и прошел к большому шкафу с книгами.

— Кто в библиотеку, подходи,— приказал и опустился на стул.

Солдат-библиотекарь выдавал книги. Несколько солдат промаршировали к стойке и стали вытянувшись.

Карцев подошел с другими. Его обрадовало, что в полку есть библиотека и что тут можно читать книги. Дождавшись своей очереди, он попросил что-нибудь из Горького. Офицер быстро обернулся к нему.

— Кого, кого,— быстро спросил он, точно боясь, что больше не услышит поразивших его слов,— кого ты хочешь?

— Горького, — повторил Карцев,— Максима Горького.

— Мак-си-ма? — по складам переспросил офицер.— Ах, ты даже имя знаешь? Вот ты какой? А Белинского не попросишь? И Чернышевского не хочешь, нет?

Он, приподнявшись, вылезал из-за стойки массивом большого туловища. Его красный рот был открыт, точно офицер собирался кричать.

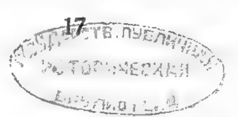
Он с величайшим удивлением оглядывал Карцева, посмотрел на его гимнастерку, на сапоги, сощурив глаз, проверил, застегнута ли у него ширинка шаровар, и покачал головой.

— Откуда ты взялся?— спросил он.—Какой ты роты, как твоя фамилия?

— Новобранец?— продолжал расспрашивать он. — Только два дня в полку? Тебя надо запомнить и особо рекомендовать твоему ротному командиру. А пока возьми, почитай Милицыну. Это полезнее Горького. Ступай, я тебя запомню.

6

Первая учеба проводилась в помещении казармы. Карцева и Самохина обучал Филиппов, солдат одиннадцатого года, которому через два месяца кончался срок



службы. Филиппов был неспокоен,— ему казалось, что он никогда не дождется выхода в запас,— и рассеянно занимался со своими учениками. Он подтягивался только тогда, когда приходило начальство,—щеки у него деревянели, глаза заплывали свинцом, и он твердо и резко показывал и говорил, сердясь и ругаясь, так как другого метода обучения он не знал за все время своей солдатской службы. Ему дали третьего ученика — грузина Чухрукидзе. Чухрукидзе прибыл в полк позже других новобранцев. В косматой бараньей шапке, смуглый и горбоносый, он сидел посреди коридора на своем сундучке, закутавшись в бурку, и был похож на дикую птицу, нечаянно залетевшую в чужие места. Дежурный по роте приказал Чухрукидзе встать, но тот исподлобья посмотрел на него и покачал головой. Он не понимал ни слова по-русски. Дежурный грубо взял его за плечо. Грузин вскочил и, вытянув руки, что-то энергично сказал. Дежурный хмуро посмотрел на него,— вокруг виднелись чужие лица, поблескивали в пирамидах темные иглы штыков, портрет царя смотрел оловянными глазами. Чухрукидзе сгорбился и взял вещи. Утром его остригли, сшибли с головы шапку густых волос и одели в солдатский мундир. И теперь, похудевший, не похожий на себя, стоял он перед Филипповым и мрачно смотрел на него. Филиппов не был жесток, но он отвечал за Чухрукидзе. А тот ничего не понимал из его объяснений и, мучительно морща низкий лоб, кусал тонкие губы. И Филиппов зверел и подносил кулак к лицу новобранца.

— Нельзя тебя, сволочь, не бить,— в отчаянии кричал он.— Ну, повторяй за мной в последний раз.

Но грузин не мог повторить ни одного слова, его ухо не воспринимало чужих, непонятных слов, и Филиппов бил его. Тогда Карцев посоветовал взять на помощь старого солдата грузина. Нашли Махарадзе, солдата двенадцатого года, но фельдфебель запретил ему обучать Чухрукидзе.

— Ты что тут выдумываешь,— ощерясь, сказал он Филиппову,— хочешь грузинскую армию создать? Не знаешь разве, что русского солдата можно учить только по-русски? Под суд хочешь? Еще раз такое узнаю, доложу ротному командиру. Возьмешь два наряда не в очередь.

Филиппов хмурился и тянулся перед Смирновым. Он не понимал, почему нельзя было учить грузина так, чтобы тот понимал учителя, но зато он слишком хорошо знал жизнь казармы и не возражал фельдфебелю. Желая избежать неприятностей, он все же тихо попросил Махарадзе подучивать молодого грузина, но так, чтобы этого никто не видел, лучше всего в уборной. И в острейших испарениях аммиака, у черных загаженных дыр, Махарадзе тайком наставлял новобранца, как служить царю и родине.

Карцев и Самохин учились. Карцеву военная наука давалась легко. Сильный и хорошо приспособленный к работе, привыкший на заводе к дисциплине, он быстро усваивал уроки Филиппова. Знал, как надо убирать живот при команде «смирно», как поворачиваться кругом через левое плечо, как в два темпа останавливаться на марше, когда командуют «стой». Он купил книжку Березовского «Первый год обучения солдата» и ознакомился по ней с главнейшими положениями солдатской мудрости.

Самохину приходилось труднее. Он плохо запоминал то, что говорил Филиппов, выправка у него была никудышная, и живот торчал, как взбухшее брюхо деревенской лошади. Он со страхом смотрел на Филиппова, своего ближайшего начальника, в котором все же улавливал что-то понятное и знакомое. Но взводный унтер-офицер Машков возбуждал в нем ужас. Когда он приходил, с медным, точно начищенным лицом, и смотрел на Самохина, у того дрожали ноги, и он ничего не соображал. Офицеры казались ему существами, настолько далекими и нечеловеческими, что он не мог их понять и осмыслить. Они управляли сложной и страшной машиной, засосавшей и его, Самохина, а он хотел бы держаться от них подальше, не входить с ними ни в какое соприкосновение.

Однажды на занятия пришел младший офицер роты, подпоручик Руткевич. Он был высок, очень молод, пушок шершаво лежал на его лице,— но Самохин видел только его мундир, пуговицы с накладными орлами и твердые, белые погоны. Руткевич поздоровался с ним, а он молча шевелил губами, глядя на рукоятку офицерской шпаги. Он увидел режущие глаза Филиппова и, как рыба, раскрывал рот, не в силах сказать ни слова.

— Почему же ты не отвечаешь?— спросил Руткевич, и Самохин заплакал, задыхаясь. Горло у него судорожно сжималось.

— Отпусти его полегче как-нибудь,— сказал офицер Филиппову,— дай ему привыкнуть к нам.

Филиппов стоял, вытянувшись, с рукой у фуражки, пока офицер не отошел. Он посмотрел на Самохина и тихо сказал:

— Чего ты жмешься? Никто тебя не трогает, никто не увечит, а ты таким глядишь, как будто с тебя кулака не снимают... Ну, чего ты плачешь?

Самохин не отвечал. Он не мог объяснить, что дело не в том, что его били или не били, а в том, что в казарме он себя чувствовал напряженно, что все здесь было для него чужим, страшным и жестоким.

Его беда была в том, что он не мог освоить казарму, офицеров, фельдфебелей, не мог тут прижиться и смертельно тосковал. И поэтому его солдатская судьба была предопределена. Он путал все, чему его учили, забывал выученное. Потом он научился делать то же, что делали и другие, научился выкрикивать ответы, маршировать и стрелять, но он оставался последним солдатом в роте, выглядел забитым и, несмотря на страх быть наказанным, два раза пытался бежать домой.

Во время занятий во двор вышел ротный писарь ефрейтор Иосиф Шпунт и громко вызвал Карцева. Карцев, Самохин и Чухрукидзе занимались в углу двора с Филипповым. Он учил их на ходу отдавать честь, так как военный устав утверждал, что солдат, который не может правильно козырять офицеру,— не солдат. Карцев шагал первым, Самохин и Чухрукидзе позади, и оба они слепо повторяли его жесты и движения.

— К ротному командиру,—безразлично сказал Шпунт и, когда они отошли, тихо спросил, не поворачивая головы к Карцеву:— У тебя в сундучке ничего такого нет?

— Нет, а что?— спросил Карцев.

Шпунт не отвечал. Короткая фигура зауряд-прапорщика Смирнова катилась им навстречу, начищенные носы сапог, как лягушки, выпрыгивали из-под длинной шинели, и Смирнов закричал:

— На носках, на носках, марш.

Шпунт скосил на него глаза, он не боялся Смирнова, а Карцев ускорил шаг.

В ротной канцелярии за столом сидел капитан Васильев и читал приказ. Шпунт доложил, что Карцев здесь, и вышел.

— Да, да,— ответил ротный, оборачиваясь к двери, где, держа руку у козырька, стоял Карцев.— Ты что?

— Молодой солдат Карцев, явился по приказанию вашего высокоблагородия,— четко сказал Карцев.

Капитан подошел к нему. Он был маленького роста, худ, кривоног, широкоплеч. Лицо имел сморщенное, тонкогубое, с синими глазками. Соломенные усики тоненькими рогульками подходили к мясистому носу, слишком крупному для мелкого лица командира.

— Здравствуй,— негромко сказал ротный.

Карцев выкрикнул ответное приветствие.

— Откуда ты? Чем занимался?

Карцев ответил.

— Был под судом?

Карцев сказал, что под судом был.

— За какое дело?

Карцев объяснил, что за дело о забастовке на заводе, где он работал.

Капитан вернулся к столу. Взял из конверта, носившего следы сургуча, бумагу и стал ее читать. Он покачивался на кривых ножках, теребил усики.

— Ты политически неблагонадежный? — спросил он.

Карцев пожал плечами.

— Отвечай,— резко сказал Васильев, выпрямившись и сдвинув каблуки.—Солдат не пожимает плечами, когда говорит с начальником. Ты политически неблагонадежный?

— Не знаю,— ответил Карцев, чувствуя, что холодок подступает к сердцу и сжимаются кулаки.— Мне ничего об этом не известно.

Ротный, отбивая шаг, подошел вплотную. Его реденькие волосы хорошо пахли. Череп по-детски розово просвечивал сквозь них.

— Вот знай,— сказал ротный, близко заглядывая Карцеву в глаза,— вот помни: если хоть ниточку замечу, хоть волосочек, ей-богу, не пожалею. Прямо отдам под суд. А?

В его синих глазах были угроза и просьба. Он пристально смотрел на Карцева.

— Так помни же,— грозно сказал он, подымая палец,— чуть что — под суд.

Карцев молчал.

Васильев крутил свои рогульки и быстро ходил по комнате. Карцев с удивлением заметил, что капитан волнуется. В роте о нем говорили неплохо. Он не притеснял солдат. Хорошо относился к ним, был заботлив и справедлив.

Васильев мелкими шажками подошел к нему.

— Прошу, братец, не порть мне роту,— внушительно повторил он,— я же за тебя отвечаю, понял?

— Так точно, понял,— отвечал Карцев, смотря в его синие глаза.

— Ты меня, своего командира, подводишь, а к чему тебе это? — убедительно говорил Васильев.—Веди себя честно, как подобает русскому солдату.

Вошли Смирнов и Шпунт.

— Егор Иванович,— обратился к фельдфебелю Васильев,— распорядитесь, чтобы сундук Карцева был доставлен в канцелярию. Пусть он при вас сам это сделает.

— Слушаю, господин капитан,— ответил зауряд-прапорщик и скомандовал Карцеву: — За мной, марш.

Он, кудахтая, смотрел, как Карцев вытаскивал из-под койки сундучок, порылся у него под подушкой и под тюфяком и рысью побежал за солдатом в канцелярию. Сундук открыли. Карцев вынимал вещи. Васильев смотрел, ни к чему не притрагиваясь, и только взял тоненькую книжку, лежавшую на самом дне.

— Плеханов,— с недоумением сказал он,— я не слыхал про такого писателя.

— Не родственник ли Сергея Ивановича Плеханова, что торгует в собственном доме на Московской?— спросил фельдфебель.— Надо бы узнать. Почитаемый человек.

Он опустился на пол, шнырял руками в сундуке и вытащил Березовского.

— Похвально,— сказал он, стоя на коленях и протягивая книгу капитану.— Нижний чин читает учебник для рядового первого года службы. Заслуживает поощрения.

Ротный командир расцвел.

— Ну, вот же, — говорил он, хлопая Плеханова о Березовского, — вот и прекрасно. Из него еще может выйти хороший солдат. Только не держи ты у себя книг без подписи ротного командира.

И он бестрепетной рукой написал на обеих книгах: «Разрешаю. Командир 10-й роты. Кап. Васильев».

7

Вечером Карцев встретил Шпунта. Писарь шел из лавочки и нес в стакане подсолнечное масло. Карцев козырнул ему и пошел рядом. Шпунт смотрел вниз черными косящими глазами и молчал.

— Я хотел бы узнать, господин ефрейтор,— сказал Карцев, — почему это меня вдруг вызвали в канцелярию и обыскали вещи?

— Идем, идем,— как бы про себя сказал Шпунт, и они вошли в канцелярию.

За широким шкафом стояла койка Шпунта. Он поставил стакан на стол, достал хлеб, обмакнул его в масло и начал есть.

— Бумага пришла,— отрывисто сказал Шпунт,— из одесского жандармского управления. Про тебя... Понял?

Он вяло обмакнул хлеб в масло и продолжал есть. Его губы лоснились... Спина устало согнулась.

Карцев вышел.

С полковых работ вернулся второй взвод. Солдаты вбегали с опухшими от холодного ветра лицами, стучали сапогами. Взводный, старший унтер-офицер Колесников, пошел к дежурному справляться, оставили ли обед. В сенях на полке стояли два ведра супа, покрытые деревянными крышками. Взводный начерпал полный котелок гущи, за ним взяли себе отделенные, и ведра понесли в коридор и поставили на стол, за которым обычно пили чай и чистили винтовки. Голод и нетерпение были так велики, что солдаты, не разливая суп в баки, хватали его ложками и прямо из ведер. Принесли чай в огромных медных чайниках. Те, у кого не было сахара, пили, закусывая хлебом с солью.

Керосиновые лампы лили желтый скупой свет. Длинный ротный коридор, чисто выбеленный, был полон шума. Солдаты сидели у столов, расхаживали груп-

пами. Это был лучший час, когда все трудности дня оставались позади, и можно было заняться своими делами. В этот час писались тысячи солдатских писем, осторожных и сдержанных, так как было хорошо известно, что письма часто вскрываются. Самое заветное и нужное старались переслать с оказией, с верным человеком. Кобылкин, получивший от взводного два наряда за плохо вычищенную винтовку, теперь чистил ее. Он был высокий, очень худой парень, цапля, как звали его в роте. Уперев винтовку прикладом в пол и согнув колени, он водил шомполом, как будто качал воду. Костистое лицо его было печально, в глазах чернели томление и скука. Его мучило письмо, полученное два дня назад. Писала жена, что не вышло дело с рожью, рожь взял лавочник за старый долг, и спрашивала, нельзя ли продать его, Кобылкина, тулуп. Иначе она не обернется.

Шомпол со свистом и шипением входил в дуло, вытесняя грязные пенистые пузырьки масла, и Кобылкин ясно видел свою избу, низенькую жену Симу и старую ситцевую тряпку, которой завешивался угол. Домой его не тянуло, но и тут, в казарме, было плохо, и он чувствовал себя выбитым из равновесия, тягучая слюна стягивала ему рот. А вокруг ходят солдаты, и многие ли из них довольны своей жизнью? Наверно, у каждого есть своя боль, свое несчастье. И Кобылкин вздохнул длинно и тяжело и, подняв винтовку, заглянул в дуло прищуренным глазом — хорошо ли блестят винтовые нарезы ствола.

Открылась дверь в начале коридора, ведущая в квартиру фельдфебеля, и вышел он сам, в войлочных туфлях и в старой шинели, служившей ему халатом. Он шел медленно, хозяйственно оглядывая углы, нюхал что-то, локтями подтягивал падающие штаны.

Он подходит к Кобылкину и осматривает его винтовку. Кобылкин становится смирно, его колени смыкаются с глухим стуком. Смирнов не заглядывает в дуло, как это делает обычно, он только проводит рукой по ствольной накладке и вслух прочитывает номер винтовки и год ее выпуска.

— Еще на японской войне была винтовка,— задумчиво говорит он и идет дальше. Толстый, кругловатый, он напоминает крестовика, осматривающего свою

паутину — крепка ли она, не прорвалась ли где-нибудь хитрая петля. За ним настороженно следят солдаты. Его присутствие нервирует их. Смирнов хорошо это сознает. У него верный волчий нюх, и, пошатавшись по казарме, он уходит к себе. Все мирно, все спокойно, но он знает, что опасно перегибать палку.

В казарме рассказывали о том, как били зауряд-прапорщика. Били не за особую жестокость,— такой жестокости не было у Смирнова,— а за страшную, изводящую солдат нудность, за то, что он ни днем, ни ночью не оставлял их в покое. Он любил в ночные часы выходить в шинели, накинутой на белье; тесемки кальсон, как лапша, волочились за ним. Он оглядывал спящих, проверял, как сложены их вещи, уличал заснувших дежурных и, щелкая их по носу, тихо говорил:

— Возьми, сукин сын, три наряда. Не урони только.

Он умел издеваться над людьми без особой грубости, но длительно, изводя их до конца.

Его накрыли ночью,— это было за несколько дней до ухода в запас девятого года,— и, укутав одеялами, мяли, били скатками и тискали. Он не мог кричать, голова его была плотно закутана, да возможно, что он и не хотел кричать. Он знал, что его не рискнут убить, а хотят только поучить, и глухо мычал и поджимал голову к груди, чтобы защитить ее. Его докатили по коридору до дверей его квартиры и, подушив и помяв напоследок, втолкнули туда. Он не жаловался, не доложил никому, не подавал виду, что с ним случилось. Он только запомнил ефрейтора со странной фамилией Защима, дежурившего в ту ночь, и исподволь сумел вымотать из него душу. Защима не выходил из внеочередных нарядов, получал самые тяжелые назначения и в конце концов перед самым уходом в запас был разжалован в рядовые и попал в дисциплинарный батальон.

Унтер-офицер Машков слез со своей койки. Он оглядел солдат, щуря узкие глазки, и скомандовал сходиться на песни. В роте знали, что он остается на сверхсрочную службу и зимой поступит в школу подпрапорщиков. Машков ходил по казарме, выгоняя солдат. Он прекрасно усвоил мудрое правило начальства, заключавшееся в том, что солдата ни на одну минуту нельзя оставлять праздным, чтобы не лезли ему в го-

лову разные «вольные» мысли. Песни — это развлечение, но все они подобранные, верные песни и настраивают солдата на боевой лад, дают ему бодрость и зарядку, а если и позволяют ему грустить, то тихо, мечтательно, безвредно.

В конце коридора кругом стали солдаты. Машков пробрался в середину, расправил плечи, скрестил руки на груди и, надув медное лицо, скомандовал:

— Руки на грудь, слева направо качаться. Начинай. Раз, два, раз, два. Сурков, запевай.

Расставив для равновесия ноги, скрестив на груди руки, солдаты ритмично покачивались, гипнотизируя и убаюкивая себя. Сурков опустил тяжелые веки, повел тонкой шеей и начал чисто и ясно:

Кари глазки, куда вы скрылись,
Мне вас больше не видать...

Круг подхватил:

Эх, куда же вы удалились,
Навек заставили страдать...

Многие забывались в песне. Обмякали лица, затихала и пряталась солдатская тоска, на минуту становилось легче. Пели долго. После «Глазок» спели лихую песню «Взвейтесь, соколы, орлами» и закончили похабной песней «Эх вы, девки, самарянки». Некоторые незаметно выскальзывали из круга.

На дворе горнист заиграл зорю.

Дежурный, придерживая у пояса штык, выбежал на середину казармы. Его шея вздулась. Он кричал изо всех сил:

— Ста-новись на поверку!

Солдаты подтягивали пояса. Медленно строились, заняв коридор во всю длину. Взводные и отделенные стояли перед сдвоенной шеренгой. Тихим шагом вышел Смирнов. Надев очки, смотрел на солдат, на их сапоги, на медные пряжки поясов со стершимися орлами. Заставлял разуваться. Находил незаметные изъяны. Мягким, беззлобным голосом давал внеочередные наряды, ставил под винтовку. Началась перекличка. Голос откликавшегося выскакивал, как нота на рояле, когда ударяют клавишу. Но одна клавиша не звучала. Не отозвался Мишканис. Карцев взглянул на взволнован-

ное лицо Черницкого. Знал ли Черницкий, где Мишканис?

Погодин, взводный унтер-офицер Мишканиса, высокий человек с рябым вдавленным лицом, доложил, что Мишканиса никуда не отпускали.

— Если не явится, доложить завтра ротному командиру,— сказал Смирнов.

Пропели молитвы, и поверка кончилась. Солдаты говорили о Мишканисе.

Скрытный литовец держался так, что никто не догадывался о его намерениях.

На следующий день Мишканиса не нашли, и его сначала считали в самовольной отлучке, а потом приказом по полку он был объявлен находящимся в бегах.

8

Поезд подошел к длинному низкому вокзалу. Это была конечная остановка. Петров вышел на грязные доски платформы. Сундучок давил плечи. Он опустил его на платформу и оглянулся на своего спутника. Сергеев, высокий, узкий, с длинным белым лицом, стоял на площадке вагона и брезгливо смотрел по сторонам.

— Идемте же,— сказал Петров,— чего вы ждете?

— Носильщик,— сердито закричал Сергеев, не отвечая ему,— живее, живее сюда.

Он запахнул длинную, перехваченную в талии шинель, натянул и огладил между пальцами коричневые лайковые перчатки и медленно сошел на платформу.

Они пошли. Сергеев, хмурясь, обходил грязь и лужи. Все же бурое липкое тесто испачкало блестящее шевро его сапог.

— Дыра, мерзость,—сказал Сергеев, осматривая вокзальную площадь.— Не понимаю, как я мог согласиться поехать в этот городишко.

Носильщик нес его кожаный чемодан. Чмокая, подъехал извозчик. Петров поставил под ноги свой сундучок, чемодан Сергеева извозчик взял к себе на козлы, и пролетка, проваливаясь в ямах и ухабах, покатила в город. Сергеев сидел выпрямившись. Он был в военной форме. На шинели были нашиты синие твердые погоны с номером полка и со шнурками вольноопределяющегося. Новенькая кокарда блестела на роскошной фу-

ражке. А рядом с ним сидел Петров в плохоньком пальто, в рыжей кепке, похожий на мелкого приказчика.

— Вы смотрите, совсем не видно порядочных людей,— говорил Сергеев.— Одни чуйки, одни зипуны на улицах.— И вдруг, толкнув Петрова, показал ему оживившимися глазами на тротуар. По тротуару, подобрав платье и открывая стройные крепкие ноги, шла девушка в черной кофточке, отороченной котиком. Она покраснела, увидев Сергеева, который, наклонившись, жадно и дерзко смотрел на нее.

— «Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно»,— с довольным видом прочел Сергеев, повертываясь к Петрову, и тот, глядя на него, вспомнил: еще в поездке его занимала мысль, что Сергеев сильно напоминает кого-то своим длинным лицом. «Да ведь он похож на испанского короля Альфонса»,— подумал Петров, испытывая облегчение оттого, что разрешил мучившую его загадку.

И он с любопытством смотрел на длинный лошадиный остов сергеевского лица, на толстую и выпяченную нижнюю губу, на мутноватые его глаза.

Но тут произошел неожиданный случай.

Из-за угла выходил офицер, маленький, кругленький, толстоногий, с курчавыми, как у барашка, светлыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки. Он шел, не спеша и торжественно, как под музыку марша, помахивая коротенькой рукой, зорко и внимательно рассматривая весь доступный ему мир серыми бляшками глаз. Он увидел извозчика, медленно ехавшего по мостовой, и тех, кто сидел в пролетке. И когда все они проехали мимо него, он остановился в изумлении и крикнул остреньким фальцетом:

— Ну, ну, а честь кто будет отдавать?

Извозчик ехал вяло и равнодушно. Сергеев смотрел в недоумении, и тогда офицер прыгнул на мостовую и закричал:

— Стой, стой, кому говорят?

Извозчик покорно натянул веревочные вожжи. Лошадь охотно остановилась, выдвинув левую переднюю ногу, и офицер сделал Сергееву круглый жест коротенькой рукой.

— Пожалуй-ка сюда, дорогой. Слазь, слазь скорей.

Сергеев, хмурясь, слез.

— Ты почему чести не отдаешь? — грозно наступая на него и задирая голову, кричал офицер.— Няньки нужны?

Сергеев, обидчиво оттопырив губу, объяснил, что он только едет на службу и еще не знаком с военными правилами.

— Руки, руки как держишь! — завопил офицер так громко, что прохожие стали оглядываться.— Зачем руками говоришь? Я тебя проучу,— сказал он,— ты у меня познакомишься с военными правилами.— И, вынув книжечку, он записал фамилию Сергеева.— Под юнкера играет,— добавил он, издевательски осматривая Сергеева.— Франт лазоревый. Мы тебе шинель подрежем, юнкер-пункер.

Он пошел, победоносно поглядывая кругом, и Сергеев, зеленый от злости и унижения, сел в пролетку.

— Не обращайте внимания,— посоветовал Петров, видя его состояние, но Сергеев высокомерно молчал. В эту минуту он ненавидел Петрова, свидетеля его позора, и с ужасом думал, что все это позорное для него происшествие видели посторонние люди, а может быть, и та девушка, которая проходила по тротуару.

— Ах, какое хамство, — шептал он, сжимая руки, и с ненавистью, весь дрожа от отвращения, разглядывал свою юнкерскую шинель и венские сапоги — все то, чем он так гордился несколько минут назад,— боже мой, какое хамство... я ему покажу... да, он узнает, с кем имеет дело. Хам, хам!

Они прибыли в канцелярию полка, и тут их с изысканной вежливостью принял полковой адъютант, штабс-капитан Денисов. Он предложил им сесть, говорил им «вы» и спросил Сергеева, которому он явно отдавал предпочтение перед плохо одетым Петровым, откуда он и кто его родители. И Сергеев, расцветая, сообщил ему о служебном положении отца, видного московского инженера, краска проступила на его длинных щеках и, морщась от чувства оскорбления и обиды, он рассказал Денисову о встрече с офицером. Адъютант погладил усы и улыбнулся.

— Маленький, толстый, белокурый?—спросил он.— Знаю, это поручик Жогин. Он у нас специалист по ловле солдат. Можете не беспокоиться. Я все улажу.

И, сразу став официальным, сказал, что назначает

вольноопределяющихся в десятую роту. Сергеев, оглянувшись на Петрова, спросил, нельзя ли ему будет жить на частной квартире.

— Устроим, — ласково ответил Денисов и спросил, бегло оглядывая вольноопределяющихся: — Вы и раньше были знакомы?

— Нет, нет, — торопливо сказал Сергеев. — Мы познакомились только в поезде.

В роте их встретил дежурный и вызвал фельдфебеля. Смирнов мурлыкал, как ласковый кот.

— В прекрасную роту попали, господа вольноопределяющиеся, — говорил он, сощурив глаза, — радости сколько для нас и для вас. Прошу, прошу в нашу тесную семью.

Он хозяйственно оглядывал богатое обмундирование Сергеева, его изящный чемодан, и когда тот заявил ему о своем желании жить на частной квартире, закивал головой:

— Будет, все будет, — пообещал он. — По дружбе к вам упрошу ротного командира.

Солдаты осматривали вольноопределяющихся с любопытством и некоторым отчуждением. И Петрову, который не имел средств нанять себе комнату и устроился в казарме, было немного не по себе.

На следующий день его вызвали к ротному командиру.

— Здравствуйте, вольноопределяющийся, — сказал капитан Васильев. — Приехали послужить?

— Да, ваше высокоблагородие, — неуклюже ответил Петров, боясь, что руки или ноги сделают какое-нибудь запрещенное военным уставом движение, и вообще не зная, что с собой делать.

— Ну, что же, очень хорошо, — благожелательно сказал капитан.— Очень рад.

— Я с удовольствием, — с готовностью сказал Петров и осекся. Можно ли говорить офицеру «с удовольствием»? Но Васильев был спокоен, и Петров продолжал: — Хочу заниматься, если разрешите. У меня склонность к математике.

— Превосходная наука, — поддержал его ротный. — Точная. Не буду вам препятствовать. Занимайтесь, пожалуйста.

И, отпуская Петрова, добавил:

— Да, да, работайте, вы производите прекрасное впечатление. Работайте.

«Почему я сказал о математике? — думал Петров.— У меня никогда не было к ней никакой склонности. Ну, все равно. Надо скорей привыкнуть здесь. Во всяком случае тут мне будет не хуже, чем в семинарии. Не будет такой слежки за мозгом».

Он легко и без особых усилий над собой вошел в солдатскую жизнь. Обмундирование носил казенное, неперешитое, курил махорку, ел из общего котла и так же, как ели все: за обедом и ужином из общей миски, в которую совали ложки пять-шесть человек.

9

Утро было дождливое. Тучи низко, тяжелыми клубами двигались над городом. Галки стаями спускались на двор казармы. Солдаты не любили этих птиц.

— Хорошие к нам не залетают, — говорил Самохин, уныло пожимаясь,—голубь — радостная птица, легкая. А галки — они скуку наводят.

Молодым солдатам уже выдали винтовки. Чухрукидзе, оживившись впервые за все время солдатской жизни, рассматривал затвор, открывал его и с довольным видом кивал Карцеву. Он вскидывал винтовку к плечу, целился и свистел, втягивая губы. Получалось, как будто свистит пуля. Но веселье Чухрукидзе быстро прошло. Упражнения с винтовкой не давались ему, он с трудом понимал, что надо делать, и оттого, что на него всегда много кричали, терялся и нелепо и растерянно сучил руками.

— Сволочь, сволочь, не так же, — рычал Филиппов. — Смотри, как надо делать.

Он показывал, как брать на плечо. Чтобы выходило лучше, он командовал по разделениям: раз—постой—два, и все трое хором повторяли команду, причем Карцев громким выкриком покрывал невнятное бормотание Чухрукидзе. Он в минуты отдыха помогал Чухрукидзе.

— Давай, кацо, — говорил он, — смотри, как надо это делать. Повторяй за мной: на плечо.

— На плицо, — покорно шептал грузин и тщатель-

но копировал движения Карцева. Незаметно он старался держаться возле него и грустно ему улыбался. За дни своей казарменной жизни он похудел и осунулся. Бритая голова казалась маленькой, и широкий мысок носа резко вылезал вперед. Видно было, что Чухрукидзе сильно мучился, и ночью Карцев не раз слышал, как он стонал, всхлипывал и что-то говорил на родном языке. Ему было много хуже, чем русским, и казарма ела его верно и беспощадно.

По двору расхаживал штабс-капитан Бредов, высокий лобастый человек лет тридцати с неспокойными движениями, с нервно дергающимся ртом. Несколько лет он готовился в академию генерального штаба. Раз уже держал экзамен и провалился. Ему казалось, что к нему, захудалому армейскому офицеру, сильно придирались профессора, и он хотел даже бросить занятия, но академия была единственным путем выбраться из болота провинциальной армейской жизни, не дающей ему никаких перспектив.

Бредов обходил занимающиеся группы солдат, рассеянно делал замечания и с тревогой думал о том, что в час дня будет говорить с командиром полка о допущении его к новым испытаниям при академии. Это была последняя попытка. Если она не удастся, надо будет подумать об отставке. У жены есть связи, можно будет устроиться в Варшаве.

Его поразили нелепые движения Чухрукидзе. Он подошел к группе. Филиппов, не видя его, отводил гнев в виртуозных ругательствах. Чухрукидзе, потупясь, стоял с несчастным видом.

— Погоди, — сказал Бредов, — что-то у тебя ничего не получается.

Он вплотную подошел к Чухрукидзе. Самохин стоял рядом с грузином. Его забила лихорадка. Никогда еще офицер так близко не подходил к нему.

— Возьми к ноге, — приказал Бредов.

Чухрукидзе молча смотрел на него. Подавленный, он ничего не понимал.

— Ты одурел, что ли? — спросил Бредов.— Как твоя фамилия?

Солдат молчал.

— Как фамилия? — с раздражением повторил Бредов.

Пальцы Самохина разжались. Винтовка упала бы, если бы ее не подхватил Карцев.

— Разрешите доложить, ваше благородие, — сказал Филиппов. — Молодой солдат Чухрукидзе по-русски совсем не понимает.

— Как же ты его обучаешь? — с недоумением спросил Бредов, вглядываясь в лицо Чухрукидзе.

— С показу, ваше благородие.

— Постой, да ведь я его видел, — вспоминая, сказал Бредов, — он еще в бурке был.

Ему ясно представилось смуглое молодое лицо, темные кольца буйных волос, свисающих на низкий лоб, смелые, яркие глаза, и он сказал с удивлением и участием:

— Подменили его, что ли? Ведь он совсем другой стал. Надо найти кого-нибудь из его земляков, пусть помогут его обучать.

— Не разрешено, ваше благородие, — понизив голос, ответил Филиппов. — Обучать можно только по-русски. Я уже просил. Нельзя.

Секунду солдат и офицер смотрели друг на друга. Бредов опустил глаза и, показывая всем своим видом, будто ничего не случилось, отошел.

Бредов закурил. Он скоро забыл о Чухрукидзе. С растущим беспокойством думал он о том, что ему скажет командир полка. Он рассеянно смотрел на занимающихся солдат и прозевал приход ротного командира. Унтер-офицер Погодин скомандовал «смирно» уже тогда, когда капитан Васильев был среди солдат, так как он ожидал, что команду подаст Бредов. Морщась от злости и чувства неловкости, Бредов повторил команду. Васильев сделал вид, что не заметил упущения. Он пожал руку штабс-капитану и протяжно поздоровался с ротой:

— Здравствуйте, ребята.

Он был в хорошем настроении. Его синие глазки благодушно мерцали. Недавно произведенный в капитаны, он чувствовал себя хозяином сотни людей, командиром отдельной боевой единицы. Бредов сумрачно смотрел на него. Ротный командир получал жалования на шестьдесят рублей больше его, младшего офицера. Он с горечью подумал, как трудно служить в армии без связей даже самому энергичному и талант-

ливому офицеру. Кто использует его любовь, его влечение к военному делу? Кто оценит его опыт боевого офицера? Вот будь он генштабистом или дворянином, тогда было бы легче. Ах, если бы попасть в академию!

Он с трудом дождался конца утренних занятий. Беглым шагом шел по грязным, немощеным улицам и, задыхаясь от волнения, поднялся в штаб полка.

Адъютант, штабс-капитан Денисов, вяло подал ему белую, холодную руку. Бредов беспокойно посмотрел на него и спросил, не в силах удержать дергающийся рот:

— Ну что, примет меня командир полка?

Денисов, успокаивая его, кивнул головой. Они были товарищами, вместе кончили юнкерское училище в Москве.

— Командир здесь, сейчас доложу о тебе, — сдержанно сказал Денисов.

Нервно оправляя портупею, Бредов вошел. Полковник Максимов немного приподнялся ему навстречу, протянул широкую руку, пригласил сесть. Он был крупный брюнет, с черноватым толстеющим лицом, носил очки. Наклонив голову, он слушал Бредова, медленно кивал головой, курил.

Крепкими пальцами он зажал окурок, притиснул его дымящейся головкой к пепельнице, потрогал подбородок и сказал негромко и густо:

— Я бы все же воздержался на вашем месте, капитан Бредов... Воздержался бы, ей-богу.

Он немного смутился, ушел глазами от вспыхнувшего отчаянным вопросом взгляда штабс-капитана и мягко закончил:

— Вы не думайте; я вам не предписываю, не приказываю... я просто советую, как старший товарищ. Да, да, советую, не больше... Один раз вам уже не удалось, — очень, очень это трудно...

«Прячется, — тоскливо подумал Бредов. — Что-то знает. Неужели же все пропало? Нет, я не могу, не могу».

Он не выдержал. Поднялся, пряча за спиной движущиеся от волнения руки, удерживая дергающийся рот, опять сел и заговорил, не узнавая своего голоса (голос стал повизгивающим, ломким):

— Господин полковник, осмелюсь доложить... Это для меня вопрос жизни и смерти, вопрос чести... Я уже потратил на выполнение... на подготовку много лет, и поймите же, прошу вас, поставьте себя на мое место... академия для меня единственный выход...

Максимов нетерпеливо задвигался, засопел, и вместе со вспышкой злобы на полковника за это нетерпение, за нежелание слушать его к Бредову вернулось хладнокровие.

— Могу я узнать, господин полковник, — вытягиваясь и опуская по швам руки, спросил он, — могу я узнать, почему мне не следует экзаменоваться в академию?

Максимов тоже поднялся. Он не мог ответить Бредову и сердился, что обер-офицер ставит его, командира полка, в неловкое положение и не желает принять его вежливых недомолвок, высказанных в виде дружеского совета.

— Кончим, штабс-капитан, — грубо сказал он, называя Бредова не капитаном, как в начале разговора, а его настоящим чином. — Не могу вам разрешить экзаменоваться, если вам угодно так ставить вопрос. А засим — до свидания.

Бредов повернулся через левое плечо и вышел. Горло у него сжималось. Денисова не было в канцелярии. Уже спускаясь по лестнице, Бредов увидел его в маленькой комнате, где помещалась секретная часть канцелярии. Он быстро вбежал туда и закрыл за собой дверь. Они были одни.

— Слушай, Денисов, мы ведь с тобой однокашники. Скажи, умоляю тебя, скажи, почему мне не разрешают экзаменоваться в академию?

Денисов отступил от него, тревожно посматривая на дверь.

— Уверяю тебя, — ответил он, — я ничего не знаю.

Бредов схватил его за руки.

— Андрей Иванович, — сказал он, — помоги мне, ради бога. Клянусь, что никто ничего не узнает. Но я не могу это так оставить. Ведь я заметил по лицу Максимова и по твоему лицу вижу, что есть причина. Мне надо узнать, в чем дело, или я погибну.

Он хрипел и стонал. Рот неудержимо дергался у него.

— Так слушай,— сказал Денисов,— даешь честное слово офицера, что ты никогда никому не расскажешь?

— Да, да, клянусь тебе...

— Помни же, я очень рискую, говоря тебе: я выдаю служебную тайну...

— Денисов, я обещал, я клялся.

— Смотри же,— сказал адъютант.— Ну вот, Зоя Генриховна — полька. Ну, одним словом, получился приказ, секретный приказ, чтобы офицеров римско-католического вероисповедания или женатых на католичках не принимать, по возможности, в академию. Понял?

Бредов не отвечал. Он стоял, рассеянно проводя рукой по щеке, потом пошел к выходу.

Он шел по улице широкими, размашистыми шагами, убегая от чего-то, что цепко хватало его, царапало и душным комком подступало к горлу. Он прошел всю Воскресенскую улицу, вышел уже на окраину города, к кирпичным стенам женского монастыря, и все хмурился, бормотал и делал рукой такие движения, как будто что-то бросал от себя.

Потянулись военные склады — низкие длинные здания с зелеными, недавно покрашенными крышами. Часовой взял винтовку «на караул», и он сурово подумал, что солдат плохо сделал прием.

Разводящий вел смену караула и оглушительно скомандовал «смирно».

Бредов посмотрел на смену. Ефрейтор и трое рядовых, идя гуськом, печатали шаг, повернув лица к офицеру, и он с каким-то болезненным вниманием одно за другим осматривал эти лица. Ефрейтор — круглоатое, ярославское лицо с рыжеватыми, хлебными (как пучки колосьев) усами; первый солдат — острое сухое лицо, замученные скорбные глаза; второй солдат — ломаный, как иероглиф, нос, красные толстые губы, кривые ноги; третий солдат—медвежья грудь, лопающиеся на ногах шаровары, тугие бурые щеки и рачьи, точно наклеенные, глаза.

Кончились склады, вдали шумел лес, золотые и красные осенние листья летели по воздуху, синий пустой бассейн неба нависал над лесом, над складами, над городом. Бредов остановился.

— В сущности ничего не произошло, — сказал он, снимая фуражку.

И вдруг неистово закричал, топая ногами:

— Молчи, дурак, молчи, суслик, не унижайся хоть наедине с собой. Получил в морду?

— Нет, нет, — тихо сказал он, подымая руки, — меня никто не оскорблял. Я ведь русский, православный. Это все из-за Зои. Я тут ни при чем. Я офицер, участник японской войны, имею за храбрость Владимира с мечами. Да, это из-за Зои. Она римско-католического вероисповедания. Она — инородец... Господи, как глупо, как подло, как нелепо! Кто это придумал? Какой мерзавец?

Холодный ветер пробирал его. Ворона, каркая, опустилась на дороге в нескольких шагах от Бредова и сбоку хитро посматривала на него черным еврейским глазком. Он запахнул шинель и пошел обратно.

10

В помещении третьего взвода стоял ефрейтор Защима. Он был пьян, хмурил брови и скрипел зубами.

— Зембриовский, ходь до меня! — закричал он.

Был вечер, отошла поверка, солдаты готовились ложиться. Молодой солдат Зембриовский сидел на своей койке. Он прибежал и остановился, держа руки по швам.

— Здравствуй, Зембриовский, — сказал Защима.

— Здравия желаю, пан отделенный, — ответил Зембриовский.

— Не пан, а господин. Повтори.

Зембриовский повторил.

— Так, а скажи, кто я тебе, полностью скажи, полячок... Ну...

— Господин ефрейтор Степан Федорович Защима, командир второго отделения третьего взвода десятой роты.

— Так, полячок, люблю понятливых. А кем я тебе прихожусь? Не знаешь! У, курва. Ближайший...

— Ближайший непосредственный начальник, — с трудом выговаривая слова, сказал Зембриовский.

Защима покачнулся, поискал рукой опору и опустился на чью-то койку.

— Ближайший непосредственный начальник, — сказал он. — Мучу я тебя, Зембриовский, притесняю?

У солдата дернулось худое лицо. Он молчал.

— Конечно, притесняю, — сказал Защима. — Нельзя не притеснять. Все начальники притесняют. Вот меня, ефрейтора Защиму, фельдфебель и в хвост, и в гриву... На то он мой начальник.

Зембриовский стоял понурясь. Защима безнадежно махнул рукой и повалился на койку.

Дежурный по роте подошел к нему с листком бумаги.

— Защима, завтра пойдешь старшим к мишеням на стрельбище. Слыхал?

— Иди ты...— не подымаясь, ответил Защима,— не моя очередь.

— Фельдфебель назначил. Я передал.

Он положил листок на койку Защимы. Ефрейтор взял листок и, икая, прочел:

— Карцев, Комаров, Рогожин. Быть вам готовыми, а то смотрите. И-эх...

Он повернулся так, что хрустнула койка, и захрапел.

Карцев был доволен тем, что его назначили к мишеням. Было приятно уходить из казармы — все равно куда.

Дежурный разбудил его еще затемно. Тяжелые тени от фонарей, висящих во дворе, двигались по стене. Очевидно, фонари раскачивало ветром.

Карцев, одевшись, вышел во двор, в уборную, густо воняющую дегтем. Комаров, поеживаясь, пробежал мимо. Он попросил закурить и, завертывая махорку, зябко повел головой.

Темные, плохо освещенные тучи, гонимые ветром, уходили на север. Они были массивны и тяжелы, как каменные. Их изломанные вершины клонились вперед. Казалось, что вся земля перемещается с ними. Звезды испуганно вспыхивали в черных провалах неба и сейчас же исчезали, будто их давили обвалы туч.

Они вернулись в казармы. Терпкий густой воздух ударил в нос. Защима, расставив ноги, застегивал пояс. Рогожин, остролицый, с розовыми пятнами на щеках, солдат, торопливо обувался, разглаживая на ноге черную портянку.

Оделись. Вышли. Пошли к сборному пункту возле

полковой канцелярии. Там уже собрались со всего полка назначенные к мишеням солдаты. Командовал подпрапорщик из восьмой роты. Он поговорил с ротными старшими, и отряд двинулся через город. Собаки лаяли из-под ворот. Вдоль улиц тянулись глухие заборы, опутанные вверху, на перелазе, колючей проволокой. Было безлюдно. Подпрапорщик шел впереди, сгорбившись, подняв воротник шинели. Ряды перепутались. Возле Карцева шагал высокий солдат в короткой шинели. На мостовой была грязь, солдаты выбирали места посуше и толкали друг друга.

За близким забором бешено рвался пес, лязгая цепью. По низкому мощному лаю чувствовалось, что пес огромный, злой. Рогожин оглядывался на ходу.

— Тяжело здесь живут, — поеживаясь, сказал он. — Все запираются, огораживаются, спускают собак. Прячутся купцы как от неприятеля. Страшно, выходит, братцы, богатым быть.

— Мирное житье,— негромко отозвался Мазурин.

— Ты здешний, Рогожин? — спросил Карцев.

— Ближний, — ответил Рогожин. — Плотничали мы здесь. Знакомый город.

Он оглядывал улицу.

— Грязнова купца дом,— показал он на низкое, расплывшееся к земле здание, спрятанное за массивным, с колючей проволокой наверху, забором. —Мы ему склады строили. Склады — как сундуки — двери кованым железом обиты. Могучий купец. Собак сырым мясом кормит, чтобы злее были, все окна в решетках.

Город кончался. Светало. В черную глубину ночи кто-то осторожно подбавлял синеватое молоко рассвета — становилось светлее, и рыжая глина дороги тускло поблескивала под ногами.

Дорога пошла сосновым лесом.

Цепью рассыпались медные и бронзовые стволы. Опавшие с деревьев иглы повизгивали под сапогами. За соснами показалась широкая поляна стрельбища. В конце поляны были блиндажи — там ставились мишени. Команда прошла туда. Из деревянной сторожки достали мишени — стоячие, поясные и лежачие. Укрепляли их на земляных насыпях. Из лесу перекатами доносились песни. Роты выходили на поляну и занимали свои места. Между деревьями блестели офицерские

погоны. Толстый подполковник Телегин подал команду. Подпрапорщик Бренько прыгнул в блиндаж.

— Лазь скорее,— кричал он, но солдаты и без него торопливо прятались. Карцев сидел внизу рядом с Рогожиным. Над ними ясно виднелись мишени. Резко и тревожно заиграл горнист, и сейчас же первый выстрел больно хлестнул гулкий, осенний воздух. Карцеву было немного жутко. Слышался протяжный свист пуль, их сухие удары о мишени. От пуль из-под мишеней сыпалась земля, иногда отскакивали мелкие щепки. Дырочки от пуль вспыхивали на мишенях.

— Мажут, мажут,— сердито говорил подпрапорщик, следя за мишенями.

Горнист заиграл отбой. Солдаты вылезли из блиндажей. Мелом накрест зачеркивали дырочки и, становясь сбоку, указками показывали попадания и промахи.

— Каждая дырка — гадючья смерть,— бормотал Защима. — Болит у мине сердце, я бы ти дырки у других сделал.

Рогожин тихо ему что-то заметил, тревожно оглядываясь на подпрапорщика.

— Не принимает натура,— горько отвечал Защима.— Бунту мне хочется. Смены жизни.

От него пахло водкой. Он, вероятно, пил и по дороге на стрельбище.

— Пропадешь, Защима,— уговаривал его Рогожин.

— Может, и так,— соглашался ефрейтор.— Пропаду... А кто мне поможет? И-эх... — И вдруг, увидев подходящего подпрапорщика, зверски крикнул: — Ну, ну, не ленись, показывай...

И грубо толкнул Комарова.

Опять полезли в прикрытие. С линии донеслись выстрелы. И вдруг одна мишень шевельнулась.

Очевидно, сбитая пулей, она накренилась и была готова упасть. Какой-то солдат с растерянным лицом, открыв рот, полез по земляным ступенькам прикрытия, чтобы поправить мишень. Снизу были видны сбитые каблуки его сапог и хлястик шинели, повисший на одной пуговице. Отбоя не было, стрельба продолжалась, и пули со свистом били мягкое, брызжущее мельчайшими щепками дерево щитов и мишеней.

— Куда, дурень? — закричал снизу сердитый голос.— Убьют.

— Да ведь мои мишени,— сказал солдат,— я же в ответе. Вздуют.

Он ухватился за низ мишени и проворно отдернул руку. Пуля ударила в щит возле самой руки, и пока он стоял, готовясь повторить свою попытку, высокий солдат в короткой не по росту шинели подбежал к нему и, схватив его за ноги, стащил в прикрытие. И, быстро взяв указку, подцепил мишень и поставил ее на место. Он засмеялся, показывая конец указки, пробитый пулей. У него было худое, очень обычное лицо, широкий лоб, серые спокойные глаза.

— Ты что прыгаешь, Мазурин? — закричал подпрапорщик Бренько.— Марш вниз!

Мазурин легко соскочил на дно окопа. Карцев, улыбаясь, смотрел на него. Ему понравилась сообразительность Мазурина, его смех и те уверенность и спокойствие, которые были видны во всем, что делал этот человек.

Показчики стреляли в последнюю очередь. Мазурин и Карцев были рядом. Карцев смотрел, как по команде заряжать Мазурин повернулся на левый бок, одним движением открыл затвор и ловким нажимом большого пальца вдавил патроны в магазинную коробку. Приклад прочно и легко встал в его плечо, и Мазурин спокойно, но быстро выпустил свои пули. И радостно и гордо улыбнулся, когда белая указка пять раз отметила попадание.

— Хорошо стреляешь,— с уважением сказал Карцев.

— Пригодится всегда,— ответил Мазурин, заботливо собирая гильзы.— Не знаешь, где свое найдешь.

Он встал, тихо напевая, и, достав жестяночку с маслом, налил немного масла через дуло в канал ствола.

— Потом легче счищать нагар,— объяснил он.— Раз протер — и готово.

Они разговорились. Мазурин был приятен Карцеву. Ему нравились точность и простота, которые были в словах и поступках высокого солдата, нравился его суховатый ясный голос. Этот голос точно и не допуская недомолвок передавал то, что хотел передать Мазурин.

— Приходи в восьмую роту,— сказал Мазурин, уходя,— у нас весело.

Он дружески кивнул Карцеву и побежал, придерживая винтовку,— роты уже строились.

Ветер шумел в лесу. Скрипели сосны. На обратном пути полк растянулся длинной цепью. Проходили мимо Бардыгинской фабрики. Из чугунных резных ворот несколько городовых в черных шинелях, с толстыми красными шнурами, тянувшимися от шеи к револьверным кобурам, выводили рабочих. Высокий парень в русском картузике шел первым. За ним, прихрамывая, мелкими шажками почти бежал рыженький старичок в железных очках, с остренькой бородкой. Третьей была женщина лет тридцати в коричневом с цветами платке, круглолицая, со свежим кровоподтеком на правой щеке. Она хмурилась, сердито поглядывала кругом. Городовые остановились, чтобы пропустить солдат, и несколько рабочих подошли к воротам. Один из них быстро побежал к фабрике, и пока проходил полк, толпа вокруг арестованных рабочих росла, волновалась сильнее. Пожилая женщина в ситцевой юбке всплеснула руками и громко закричала:

— Манюшку, Манюшку нашу ведут. Мужики, что же вы смотрите?

Рабочие стали надвигаться, они окружили городовых и напирали на них, и старший городовой, ругаясь, взялся за кобуру, тревожно поглядывая вокруг.

В это время подпоручик Руткевич, молодой, щеголеватый, с гвардейской выправкой, бросился к рабочим.

— Марш отсюда,— крикнул он,— марш, хамы!— и ножнами шашки он толкнул пожилого рабочего.

Городовые быстро вывели арестованных за ворота. Руткевич кричал, брызжа слюной. Солдаты, опустив глаза, с мрачными лицами, проходили мимо. Разговоры затихли в их рядах.

11

Казармы были расположены на краю города. Их задние стены выходили на большой развороченный пустырь, за которым тянулись холмистые луга. За лугом темнели резные вершины леса.

Занятия часто происходили на пустыре. На кирпичных стенах женского монастыря развешивали мишени, и в них целились солдаты. На полевых занятиях раз-

бивались на отдельные отряды и заходили далеко, к лесным, красивым полянкам, таким диким и нетронутым, что нельзя было представить, что в двух верстах отсюда находится грязный, запущенный городишко с немощеными улицами, керосиновыми фонарями, вонючими помойками, церквями и тюрьмой — самым высоким зданием в городе, видным издалека.

Карцев сделался хорошим солдатом. Он метко стрелял, справлялся с брусьями, турником и кобылой, усвоил правила строя.

Поглядывая на его высокую, сильную фигуру, Васильев говорил фельдфебелю:

— Жаль, Егор Иванович, что Карцев политически неблагонадежный. Хороший бы из него унтер-офицер вышел.

Но вряд ли хотелось Карцеву стать унтер-офицером. Он был четырнадцатилетним мальчиком, когда в Одессе разыгрались события девятьсот пятого года. Он бегал с товарищами в порт смотреть на убитого Вакулинчука, и тело матроса, лежащее на набережной в открытой треугольной палатке с зажженными свечами у головы, и сделанная грубыми буквами надпись, рассказывающая, как был убит Вакулинчук за то, что не хотел есть борщ с червями, надолго запомнились ему. Он подвигался все ближе к телу, и темное пятно на желтом усатом лице матроса казалось ему раной, от которой погиб Вакулинчук. Ликуя, он шел на Бугаевку и на Нежинскую улицу смотреть дома, в которые попали снаряды «Потемкина». Вместе с рыбаками он греб на шаланде к мятежному броненосцу и с безумным восторгом глядел на серые борта, на гигантские дула двенадцатидюймовых орудий, мощь которых казалась ему беспредельной, на вооруженных винтовками матросов. Он плакал от злости и обиды, когда «Потемкин» ушел из Одессы, не разгромив города, не перебив городовых и околоточных, которых он боялся и не любил с детства. Тогда у ребят была популярна игра, изображающая, как «Потемкин» разрушает снарядами полицейские участки и оттуда, как тараканы, бегут полицейские. «Потемкин» строился из ящиков и железных листов, орудиями служили самоварные трубы, сквозь которые швыряли круглые камни.

В октябре того же года Митя Карцев помогал

строить баррикаду на Прохоровской улице, носил в карманах тяжелые коробки с револьверными патронами и, когда громили полицейский участок на Петропавловской улице, стрелял в окна квартиры пристава из «Лефоше», добытого у жильца Саблина. Саблин снимал у них комнату, и Карцев-отец, кочегар паровой мельницы Инбер, хотя и ворчал, что жилец подведет их, но не трогал его. Когда пришли с обыском, Саблин, пока стучали в дверь, передал Мите револьвер и пачку листовок. Митя хорошо знал, что ему будет, если полиция все это у него найдет, и, не решаясь выйти из дому на глазах городовых (обязательно обыщут), скорчась, сидел на табуретке в кухне и жаловался, что у него болит живот. И потом, бледный от гордости и счастья, передал Саблину спрятанные вещи. Он много раз видел, как городовые били арестованных, видел, как солдаты стреляли в демонстрантов, как уводили рабочих, слышал в эти грозные, прекрасные дни песни революции и читал всюду написанные мелом, краской и карандашом слова — «долой самодержавие», слова, будившие в нем бурный, праздничный трепет. В девятнадцать лет он бастовал и боролся вместе с товарищами и был всегда на плохом счету у заводской администрации как непокорный, склонный к бунтарству рабочий.

Самохин был полной ему противоположностью. Царь был для него как икона, о которой он не размышлял, плохая она или хорошая, а просто принимал как нечто незыблемое, священное, установленное раз и навсегда. Его не касался общий порядок, у него была своя тропинка, по которой он покорно шел, даже не думая о том, что могут быть иные, лучшие пути. И он тихо переносил все солдатские невзгоды и только желал, чтобы его как можно меньше видело и замечало начальство. Он шагал в рядах, неуклюже заряжал винтовку, ложился по команде на грязную землю, прицеливался или с винтовкой наперевес бежал и колол чучело, дико крича «ура». Его пинали, бивал под злую руку взводный или отделенный, а он, моргая, тянулся и не возмущался тем, что его бьют. Его много били в детстве, он сам видел, как бьют и взрослых, и детей, и привык считать побои обычным житейским явлением.

В эти дни на занятиях впервые появились новые вольноопределяющиеся — Сергеев и Петров. Ротный командир и офицеры говорили им «вы», их не назначали на кухню, с ними обращались совсем иначе, чем с простыми солдатами. Но Петров жил в казарме, он не отдалялся от солдат и становился им все ближе и понятнее с каждым днем. Он даже одеждой не отличался от них. Сергеев же ходил в собственных шевровых сапогах, носил гимнастерку из японского хаки, его черные усики были тщательно подстрижены и роскошая фуражка заломлена набок. Он жил, как офицер, на вольной квартире. С солдатами он говорил презрительно-вежливо и совсем с ними не водился. И они платили ему тем же — считали его чужаком. Юла Комаров пытался подмазаться к Сергееву, предлагал ему чистить сапоги и смазывать винтовку. Филиппов, поймав его, сгреб и провел ладонью снизу вверх по его лицу, помяв нос.

— Шпана,— с презрением сказал он,— в денщики хочешь?

— А ты не лезь,— озлился Комаров,— он же не такой, как мы. Он барин. Почему же не услужить?

— Ты кому хочешь задницу оближешь. Только бы заплатили. За сколько подрядился?

Комаров обиженно промолчал. Он не понимал Филиппова и сердился. Разве Сергеев простой солдат? Солдаты бывают разные. Вот Павлов получает из дому пятнадцать рублей в месяц и кроме того посылки. Куда ему деньги девать? Взводный здоровается с ним за руку, по воскресеньям они вместе выпивают, на кухню его не посылают, уборной он ни разу не чистил. А его, Комарова, суют во все дырки, так как у него кроме казенного полтинника в месяц нет ни копейки. Да, не всем солдатам живется одинаково. С деньгами везде хорошо, даже на царской службе. За деньги можно и совсем освободиться. Кто не знает, что полковой врач за пятьсот рублей сделал Родину, сыну зарайского купца, искусственную грыжу, и тот ушел по чистой? Сколько раз он, Комаров, стоял, щелкая от жадности зубами и истекая голодной слюной, когда этот самый Родин жрал сало и копченую колбасу! И хотя бы раз угостил! Нет, солдат солдату рознь. Нельзя их всех одним аршином мерить.

Он побежал в первый взвод к Гилелю Черницкому за папиросой.

Черницкий сидит на койке, рядом с ним Карцев. Комаров получает у Черницкого папиросу и идет дальше. Все чем-то заняты. Одни чинят белье, другие пишут письма. Комарову некому писать. Он бобыль. Земли у него нет. Был пастухом, батрачил, служил шестеркой в рязанском трактире. Его жестоко, топча ногами, избил хозяин за то, что он, уронив тяжелый поднос, разбил два графина с водкой и тарелки с закусками,— и затем спустил с резного трактирного крыльца. Комаров всхлипнул, вспомнив побои. Сломал ему хозяин ребро. Он пять дней шел до Москвы, не мог там устроиться и два месяца прожил на Хитровке. Не везло ему в жизни. И солдатчина ничего не изменила. Никто его не уважает, отделенный, как бы шутя, бьет сапогами в зад. Собачья у Комарова жизнь. И он с завистью смотрит на Загибина, сытого, белолицого солдата с низкими николаевскими височками. Загибин на хорошем счету у начальства. Он иногда запросто ходит на квартиру к фельдфебелю и ухаживает за Сонечкой, фельдфебельской дочкой. Загибин—солидный человек, лакей из московского «Бара», знаменитого ресторана. Когда штабс-капитан Бредов праздновал рождение жены, Загибин по протекции фельдфебеля сервировал у штабс-капитана ужин, и теперь тот благосклонно кивает ему.

Загибин сидит перед складным зеркалом и бреется. Сейчас он уйдет в город, будет гулять с Соней, фельдфебельской дочкой. Фельдфебель смотрит на это сквозь пальцы. У Загибина на книжке семьсот рублей, есть три костюма, золотые часы. И Загибин идет гулять. На нем морозовские сапоги бутылками, зависть всех писарей, которые Филиппов называет — смерть девкам. Шинель у него своя, с перехватом в талии. Усы напомажены. Картинка. Лейб-гвардеец.

В воскресенье идут гулять и Карцев с Черницким. Вид у них опрятный, но совсем не щеголеватый, грубые сапоги, казенные, не перешитые шинели, кургузые бескозырки.

Широкая Московская улица, главная в городе. Четыре каменных дома на ней. Соборная площадь. Магазины с зеркальными окнами. Перед собором толстый

городовой, похожий на Тараса Бульбу, с усами и подусниками. Из собора, не спеша, идут купцы, мещане и мелкий люд. Нищие кланяются. Им подают копейки и грошики. Поручик Жогин, «самоварчик», как его прозвали в полку, проходит медленно, маленький, толстоватый, с красным надутым лицом. Все знают, что он ищет в купеческих домах богатую невесту и каждое воскресенье ходит в собор, одетый в парадный мундир с орденом Станислава в петлице. Он беспокойно оглядывается. Солдаты его боятся. Он упивается тем, что ему отдают честь, и если покажется ему, что солдат небрежно откозырял, он вернет его и заставит пройти мимо два раза и дать «ножку». Он уверен, что это подтягивание повышает его офицерское достоинство. Карцев и Черницкий козыряют ему. Жогин подымает к плечу два пальца. Этот жест он украл в Москве у какого-то князя.

Черницкий провожает поручика сузившимися глазами и говорит:

— Человеку трудно быть человеком. Ему хочется быть графом или купцом первой гильдии. Когда дурак или сволочь становится твоим хозяином, он садится на тебя и спрашивает, удобно ли тебе? И очень обижается, если ему ответят, что неудобно. Он уже считает тебя революционером, гонит и бьет. Что такое Жогин? А для нас он хочет быть Александром Македонским.

Гилель Черницкий — киевский ломовик. Руки у него мощные, круглые, широкие в кистях. Глаза черные, страстные.

Они выходят в нижнюю часть города к реке. Трубы заводов подпирают худосочное, осеннее небо, на полянке раскинуты палатки, идет торговля, играет шарманка, теснятся люди. Навстречу им идет девушка с тяжелой корзинкой. Она согнулась, и прядь светлых волос разрезала ее белый лоб.

— Тоня, здравствуй,— весело кричит Черницкий и протягивает ей руку.— Куда идешь?

Она улыбается и для того, чтобы пожать ему руку, ставит корзинку на землю,— трудно держать ее.

— На рынке была,— отвечает Тоня.

— Это Карцев, — говорит Черницкий, — мой товарищ.

по роте, хороший парень. Люби его, Тоня, как меня любишь.

— Мало тогда ему достанется,— смеется Тоня, и лицо ее становится нежным и красивым.— Ну, прощайте.

Она протягивает руку, но Черницкий берет с земли корзинку и идет с ней рядом.

— Мы проводим тебя,— предлагает он.

Они идут вместе, два солдата и девушка. Смех затихает на ее лице, глаза тухнут. Тоня точно издали слушает Черницкого. И Карцев, наблюдая за ней, тихо спрашивает:

— О чем задумались? Или плохо живете?

Она смотрит на него испуганно, потом смеется (какой у нее хороший смех!) и говорит:

— А почему вам так кажется? Живу, как люди живут.

Она улыбается, и Карцев видит, какие у ней большие синие глаза, и какие теплые лучики мерцают в них. И когда она прощается с ними, он сжимает ее жесткую негнущуюся руку и внимательно смотрит на девушку. Она застенчиво улыбается ему.

— Хорошая девушка,— говорит он, когда она уходит.— Кто она?

— Прислугой у командира полка,— отвечает Черницкий.— Сердечная и гордая девка.

Он толкает Карцева, и оба, вытянувшись, отдают честь поручику Юковскому, офицеру, заведующему библиотекой. Юковский смотрит на Карцева.

— Читатель Горького,— скривясь, говорит он, не отвечая на козыряние солдат.

И, внушительно подняв палец, добавляет:

— Я тебя помню...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НЕМНОГО НОВЫХ СОБЫТИЙ

I

Поздний вечер. Снежная метель. Ветер гудит и гремит, как большой оркестр. Безудержный, злой зимний ветер.

У ворот казармы занесенный снегом дневальный. От ветра его лицо стало лубяным. Глазам больно. Снег режет их. Солдат прячется в будку, но там еще хуже, чем снаружи. Ветер бьет в открытую сторону будки, снег ударяет в стены и разрывается, как шрапнель. На колокольне женского монастыря хрипло ревет колокол. Худая собака с прижатым к ногам хвостом бежит усталой рысью, низко и безнадежно опустив голову. Она тычется в будку, вопросительно смотрит на человека и вдруг, жалобно взвизгнув, галопом бросается прочь. Солдат выскакивает за ней, ласково ей свистит, зовет ее к себе. Но собака стара, хорошо знает жизнь и не верит никому. Она скрывается в ночи. Солдат ходит, увязая в снегу, вдоль ворот. Ночь и буря захватывают его, и он поет и машет руками.

— Чего ты орешь?—говорит сухой голос.—Ведь ты на посту?

Солдат, жмурясь от снега, поворачивается и подымает руку к козырьку. Как незаметно подошел офицер! Высокая фигура, грудь перекрещена ремнями, шашка, кобура, поднятый башлык, белая лопатка бороды, покрытой снегом. Капитан Вернер, командир третьей роты, дежурный по полку.

— Какой роты, как фамилия? — спрашивает он низким голосом.

И солдат отвечает:

— Карцев, десятой роты, ваше высокоблагородие.

— Доложишь ротному командиру, что недостойно вел себя на посту. Чего ты орал? Дурак!

Офицер уходит, и через несколько минут Карцева

сменяют. Он бежит в теплую душную казарму и в сенях отряхивает шапку, шинель, сапоги. Дежурный спит за столом.

— Вернер сегодня дежурит по полку,— говорит Карцев, тормоша его, и ефрейтор Защима вскакивает, наливает из чайника на руку холодный чай и брызжет себе в лицо. В полку хорошо знают, что с Вернером плохие шутки. Он любит отдавать солдат под суд.

Карцев идет к своей койке, вешает на гвоздь шинель и оглядывается. Укрывшись с головой, спит Самохин. Одеяло на постели Чухрукидзе откинуто. Грузина нет. Где он может быть? Карцев тихо идет вдоль коек и сворачивает в дальний угол коридора возле канцелярии. Угол отгорожен широким шкафом, там свалены щетки, метлы, ведра. Это единственное место, где можно спрятаться в роте. Там что-то скребется, заглушенно воет, и он быстро подходит и зажигает спичку. Серая скорчившаяся фигура извивается на полу, колени вонзились в помойную тряпку, руки сучат возле шеи. И Карцев бешено распутывает тугой платок, рвет с платка закостеневшие руки Чухрукидзе. Бритая, угловатая голова, падая, ударяет его в живот.

— Эх, дурак, эх, мазня,— шопотом говорит он, обнимает Чухрукидзе за трясущиеся плечи и слышит булькающее, шипящее дыхание.

Он ни о чем его не спрашивает. Только гладит спину и шершавую, жесткую голову. И потом говорит:

— Нельзя сдаваться, брат. Когда тяжело, сожми кулаки, стисни зубы и держись. Говорю тебе, Чухрукидзе, нельзя сдаваться.

Во тьме тускло проступает лицо Чухрукидзе: сероватые пятна щек и лба, черные провалы глаз. Невнятные фразы вырываются у него, и Карцев понимает наугад:

— Очень унизительно. Собаку делают из человека. Паршивого пса... Никак нельзя перенести...

— Пойдем,— говорит Карцев,— я уложу тебя. Держи себя, Чухрукидзе, в руках. Здесь, как на войне. Надо все время бороться. Буду тебе помогать, каждый день говорить с тобой будем, хочешь?

Чухрукидзе идет шатаясь. Он кивает головой, улыбается мертвой, кукольной улыбкой. Карцев дово-

дит его до койки, стаскивает с него сапоги, укладывает и одевает шинелью.

2

Петров обживался в казарме, привыкал к новой обстановке. Он был небольшой, но кряжистый человек, с простым, обветренным крестьянским лицом и добродушными серыми глазами. Курил махорку, носил все казенное, и только жгутики на погонах выдавали, что он вольноопределяющийся. Он не сторонился солдат, они не избегали его, и уже через несколько дней его считали своим, ничего не скрывали от него, не говорили с ним так натянуто и недоверчиво, как с Сергеевым, в котором чувствовали чужака, человека из другого лагеря.

В роте велись беседы. Вел их штабс-капитан Бредов, самый образованный офицер в батальоне. Он рассказывал главным образом о победах русской армии в предыдущих войнах. Говорил о завоевании Кавказа и Средней Азии — областей, которые будто бы жили дикой, некультурной жизнью до тех пор, пока русские войска не принесли культуру и не приобщили их к жизни великой Российской империи.

— Нет в мире государства обширнее и могучее России,— говорил он.— Да, братцы, вы должны гордиться тем, что живете в такой стране.

Сидя на стуле перед картой, Бредов водил по ней длинной указкой. Карцев сидел возле Петрова. Он уловил выражение скрытой иронии на его лице.

— Наша армия,— говорил Бредов,— всегда преодолевала самые трудные препятствия, одерживала самые блестящие победы, благодаря своей храбрости, талантам своих начальников и преданности царю и родине.— И он приводил примеры из русско-турецкой войны 1877 года и других войн, он говорил о Суворове, Румянцеве и Скобелеве.

Когда беседа кончилась, Карцев спросил у Петрова:

— Правда ли все это? По Бредову выходит, что лучше нашей страны и нашей армии нет в мире. А как же нас японцы побили?

Они стояли у окна, вблизи никого не было.

— Он многое прикрашивает,— сдержанно ответил

Петров, уже несколько раз и раньше разговаривавший с Карцевым.— Армия у нас плохая, и часто ее били. Все у нас палкой держится.

Карцев любил беседовать с ним. Бывший семинарист, Петров бросил духовные науки. В Саратове он сдал на аттестат зрелости и приехал в Москву, чтобы поступить на медицинский факультет. Ему хотелось быть земским врачом, работать в деревне. Но в университет его не приняли из-за плохой аттестации из семинарии, и, чтобы не терять года, он решил отбыть военную службу. В детстве он верил в бога и считал его грозным стариком, похожим на епископа, единственный раз приезжавшего в их село под Саратовом. Потом религиозное чувство сменилось равнодушием и скукой. Отец, посредник между людьми и богом, был слишком материален. Он был груб, скареден, драл с крестьян и, напившись, лез целовать образ казанской богоматери.

— Я т-тебя знаю,— хитро говорил он, подмигивая иконе,— знаю, с кого ты писана... тоже мне казанская. И все же люблю,— хо-рошая баба.

В семинарии Петров окончательно порвал с богом и взялся за книги. За Писарева, Чернышевского и Дарвина сидел в карцере на хлебе и на воде, за чтение Чехова и Толстого должен был отбивать две тысячи поклонов и под конец прочно и неискоренимо возненавидел все, что связано с богом, церковью и священниками. Отцу он не писал, сестру уговорил уехать учиться в Петербург, брата, кончившего семинарию и получившего приход, не видел годами. Он сблизился с Карцевым. Они подолгу говорили друг с другом, и часто бывало, что возле них сидел Чухрукидзе. Петров и Карцев учили его русскому языку и, чтобы было легче, учились у него произносить грузинские слова. Он привязался к обоим, стал немного живее и, с трудом выталкивая чужие слова, говорил:

— Карцев — друг, Петров—друг, Чухрукидзе—друг.

Иногда в роту заходили Орлинский и Мазурин. Орлинскому служилось очень плохо. Он попал в роту к капитану Вернеру, самому жестокому офицеру в полку. Вернер подметил Орлинского, еврея-интеллигента, и каждый день с садической аккуратностью допекал его. Проходя мимо, он обращался к нему и, неуловимо

меняя акцент, издевался над солдатом. Он пять дней под ряд заставлял Орлинского завертывать портянку перед всей ротой. Орлинский портянки завертывал плохо, и Вернер методически мучил его.

— Не так, отставить,— спокойно говорил он,— какой же ты солдат, если не можешь правильно завернуть портянку? Еще раз.

Однажды, доведенный до отчаяния, Орлинский поднялся с полу и, вытянувшись, доложил, что иначе завертывать портянку не может и просит ротного командира показать ему, как это надо делать.

У капитана побледнело лицо, он провел рукой по рыжей бороде и придушенным голосом сказал:

— А еще тебе, жидовская харя, не показать, как надо штаны застегивать? На четыре часа под винтовку. Восемь нарядов не в очередь.

— Придется что-нибудь сделать,— говорил Орлинский,— он довел меня до того, что я могу его пырнуть штыком.

— А что толку? — сказал Мазурин. — Разве дело в одном Вернере?

Их было четверо — Карцев, Петров, Мазурин, Орлинский,— все свои ребята.

Карцев оглянулся, подождал, пока не прошел по двору подпрапорщик пятой роты, и негромко сказал:

— Сегодня никого не увольняли в город.

— Правда,— ответил Петров,— у меня увольнительная записка, но у ворот не пропустили. Сказали, что есть приказ никого не выпускать. В чем же дело?

— На фабрике Бардыгина волнения,— тихо сказал Мазурин.— Арестовано много рабочих. Говорят, что два цеха бастуют. Там весь двор полон полиции.

— Эх, поднялись бы они,— стискивая руки, сказал Карцев,— как у нас в пятом годе. Восстали бы.

— Ничего бы из этого не вышло,— раздраженно перебил его Орлинский,— что может дать восстание? Только кровь и затем годы реакции, как после пятого года. Разве наш народ подготовлен к революции?

— Эволюцией надо,— серьезно сказал Петров,— медленным шагом, тихим зигзагом, марш, марш вперед, рабочий народ. Так, что ли?

— Не надо издеваться, — косясь на него, говорил Орлинский.— Много дало восстание на Пресне? Те, кто

звали рабочих на это восстание, действовали как утописты-романтики. О, Плеханов был прав, когда покрыл большевиков за это восстание. Только даром пролили драгоценную рабочую кровь.

— Даром? — приподымаясь, сказал Мазурин.— Ах, ты, сволочь! Легко тебе со стороны говорить. Сиди по кабинетам, много там насидишь. Ты ближе подойди. Так тебе с радости да с хорошей жизни и пошли рабочие на баррикады? Не удалось, так что же? Значит, плохо готовились. В другой раз будем лучше драться.

Его серые, всегда спокойные глаза светились, широкие руки крепко зажали колени.

По двору торопливо шел Гилель Черницкий.

— Куда бежишь, Гилель? — спросил Карцев.

Черницкий подошел.

— Поймали Мишканиса,— подергивая плечом, сказал он.— Прислали с родины с жандармским конвоем. Будет суд.

— Где ты его видел? — спросил Мазурин.

— Возле полковой канцелярии,— ответил Черницкий.— Его сейчас поведут на гауптвахту. Можете посмотреть.

Они поднялись. Сквозь деревянные решетчатые ворота была видна улица. Быстро прошел мещанин в бараньей шубе, потом две монашки, похожие на черные длинные мешки, и минуту никого не было. Шумел ветер, гнал снег. На фоне белого домика наметилась группа людей и стала приближаться, и пока она подходила к воротам казарм, там собиралось все больше солдат, узнавших, что ведут пойманного Мишканиса.

Слева, бряцая шпорами, шел высокий, седоусый жандарм, с серебряными шевронами на рукавах длинной шинели. Справа шагал другой жандарм, пониже, молодой, с крупным бычьим лицом. И между ними понуро ковылял Мишканис, похудевший, заросший бородой, в вольной одежде. Он кивнул головой солдатам и помахал им рукой. И чей-то голос крикнул из солдатской толпы:

— Здорово, Мишканис, как гулял?

— Зря вернулся, там лучше,— добавил второй голос, громкий и задорный.

Старый жандарм сердито повернул голову к воротам и толкнул Мишканиса, чтобы тот шел побыстрее.

— Ну, ты, шкура, полегче,— сказал кто-то, и в голосе было столько холодной ненависти, что жандарм потрогал кобуру, заторопился и шел, беспокойно поглядывая на солдат.

— Не робей, Мишканис,— крикнул тот же задорный голос, и когда скрылся Мишканис, солдаты долго еще не расходились, разговаривая о несчастной солдатской судьбе, прошедшей перед их глазами.

Темнело. С запада шли тучи. Почему-то тревожно звонили в городских церквях.

3

На фабрике было неспокойно. Та волна рабочих забастовок, которая, начавшись после ленского расстрела, с перерывами, росла до четырнадцатого года, коснулась и здешней фабрики. Рабочих донимали штрафами. При расчетах около пятнадцати процентов заработка удерживалось за взыскания. Это была жестокая, хорошо продуманная система, дававшая хозяевам многотысячные прибыли, которую особенно сурово проводил директор фабрики, известный в городе весельчак и душа общества — Дмитрий Николаевич Левшин. Со свойственной ему веселостью и благодушием он поговорил с выборными рабочими, пришедшими к нему потолковать насчет отмены штрафов и о страховании рабочих.

— Штрафов нет,— ласково сказал он, усадив выборных в своем кабинете и угостив их папиросами (он знал, как обезоруживает хороший прием, и был поэтому ласков и ровен).— Штрафов у нас на фабрике нет. Есть только вычеты за плохую работу. Стало быть, все зависит от вас. Работайте хорошо, и не будет никаких вычетов. А что касается страхования — мы этот вопрос изучаем. Сразу нельзя. Надо подождать.

Из делегатов нашелся лишь старик Калинин.

— Веселый вы, Дмитрий Николаевич,— едко сказал он директору,— однако нам ваша веселость килой выходит. Вы бы лучше без веселости, а запретили бы зря штрафовать рабочих да казармы бы подправили да почистили. Гниет народ. Разве так можно?

— Можно, все можно, Семен Иванович,— шутливо

ответил директор,— воровать и бунтовать только нельзя.

На этом и кончился разговор.

Вечером на фабричном дворе был большой митинг, и ночная смена вышла на работу в половинном составе. Утром пытались арестовать старика Калинина, пятнадцать лет работавшего на фабрике. Взяли его грубо во время работы два шпика из участка. Старика не дали вывести из цеха, и тогда один из шпиков вынул револьвер. Его ударили по руке железным ключом, и оба шпика бежали, оставив Калинина. Цех оцепили, явилась полиция, и помощник пристава, старая, опытная полицейская крыса, стал уговаривать рабочих не нарушать порядка.

На следующий день в рабочей казарме происходили повальные обыски. Калинина арестовали ночью на квартире; а утром два цеха бросили работу. Из Москвы приехал хозяин фабрики, человек, известный своей благотворительностью. Он не принял рабочей делегации, отдал распоряжение уволить подозрительных рабочих и заменить их подгородными крестьянами. Земля под городом была плохая, крестьяне вели ничтожное хозяйство, и много их шло на фабрику. Дирекция охотно брала их. Они работали по двенадцать часов в сутки, получали меньше, чем старые рабочие, и вели себя смирно. Но фабрика засасывала их, они постепенно отрывались от земли, сближались с коренными рабочими и становились другими: более активными и развитыми, более склонными к борьбе за свои интересы. В числе бастовавших рабочих около трети было из подгородных крестьян.

На второй день забастовщики собрались в фабричном дворе и потребовали хозяина. Он приказал полиции очистить двор. Началась свалка. Крики женщин слышались на весь город. Сотни рабочих бросили станки и выбежали во двор. Двухтысячная масса напирала на полицию, и городовые отступили, испугавшись огромной, возбужденной толпы.

Без шапки, в чужом потертом пиджаке, прибежал директор фабрики Левшин. В окна конторы полетели камни, и служащие испуганно жались к стенам.

Хозяин хотел уехать, но нечего было и думать прой-

ти сквозь взволнованную массу рабочих, наполнивших фабричный двор. Он стоял у окна, спрятавшись за штору, в бобровой шубе, в синих лайковых перчатках, и кусал губы.

Быстро вошел пристав и, нервно теребя темляк шашки, сказал, что полиция не может справиться с толпой. Он растерянно бегал по комнате и тревожно смотрел в окно.

— Так вызовите войска,— презрительно оглядывая его через плечо, сказал хозяин.— Какое мне дело? Вы обязаны следить за порядком.

Позвонили командиру полка.

— Вы мне портите солдат,— угрюмо ответил Максимов.— В этом году гражданские власти четвертый раз просят у нас содействия. Разве дело так уже серьезно?

Но он был доволен. В докладах в штаб дивизии он доносил, что полк является главной опорой порядка в беспокойном фабричном городе.

И по приказу командира полка сводный отряд третьего батальона — по взводу из каждой роты — был послан для содействия полиции. Командовал отрядом штабс-капитан Агнивцев, младший офицер девятой роты, пожилой человек с бледным, вялым лицом.

До этого два дня никого не выпускали из казармы. Солдаты чувствовали себя тревожно. Кто-то распустил слух, что полк отправляют на японскую границу.

— Вот нас поэтому и держат,— тоскливо проговорил Тюрин, солдат одиннадцатого года.— Не пускают нас по домам.

Солдат призыва одиннадцатого года еще осенью должны были уволить в запас. Но их задержали на лишних два месяца, и это вызвало среди них волнения.

Утром в роте были отменены занятия. Это было необычно. Никто не знал, в чем дело.

В десять часов пришел капитан Васильев, и сейчас же послышалась команда:

— Первый взвод, в ружье. Взводный и отделенные, за патронами!

Взвод построили. Роздали по тридцать патронов. Васильев, дергая себя за соломенные усики, прошелся перед фронтом.

— Ребята,— сказал он,— по приказанию командира

полка вас отправляют для поддержания мирного порядка в городе. Некоторые злонамеренные люди осмеливаются бунтовать, выступать против законов, установленных русским царем. Надо их одернуть...

Пустые солдатские глаза смотрели в глаза офицера, и он ничего не мог прочесть в них.

— Итак, ведите себя, как русские солдаты,— закончил капитан.— Взводный, выводи во двор.

Приклады тихо стукнули о пол. Шестьдесят носков в два темпа повернулись влево, и по-двое, с винтовками, чуть поднятыми от пола, солдаты вышли во двор. Их в молчании провожала вся рота.

Карцев шел в полном смятении. Сердце его колотилось до боли сильно, удушливый ком подступал к горлу.

Он шел тяжелым мерным шагом. Шел в шинели, перетянутой поясом, который оттягивал подсумок с тридцатью патронами. Шел в фуражке, по уставу сдвинутой на правое ухо, держал в руке вычищенную винтовку, с четырехгранным штыком. Шел разбитый, униженный, как после порки или жестокого оскорбления, чужой себе, растерянный. И в рядах видел замкнутые, точно наглухо закрытые солдатские лица, прячущиеся глаза, размеренные движения.

Вот Самохин, равнодушный, тихий. Филиппов, смотрящий поверх голов. Кобылкин, сухой, костистый, с огромным щучьим ртом. Комаров, как всегда, юркий, ерзающий, но с беспокойным взглядом. Загибин, лакей из «Бара», щеголь. Этот спокоен, даже весел. Подлое любопытство светится на полном, с низенькими височками, лице. Грудь молодцевато выпячена. Видно, что он чувствует себя хорошо.

Чухрукидзе идет спокойно. Очевидно, ничего не понимает. Выполнит все, что ему прикажут.

И вот наконец... Он встречает горячие желтые глаза Петрова, полные бешенства и муки. Петров в упор смотрит на него. Карцев не опускает глаз, и Петров, скривив рот, медленно и незаметно кивает ему головой. Карцев отвечает ему. Похоже, что они в чем-то условились, в чем-то понимают друг друга.

Штабс-капитан Агнивцев идет впереди с нахмуренным, злым лицом, а рядом с ним бодро и радостно

шагает подпоручик Руткевич, добровольно вызвавшийся итти с отрядом.

Мучительно тянутся улицы. Ноги скользят по укатанной мостовой. Штыки поматовели от мороза.

Прохожие равнодушно оглядываются. Они не знают, куда идут солдаты, и только вблизи фабрики многие с беспокойством провожают отряд, и вдруг молодая женщина в нагольном полушубке испуганно вскрикнула и побежала к фабрике, все время оглядываясь на солдат.

Мерный тяжелый шаг. Под сапогами хрустит твердый голубоватый снег. Агнивцев выходит вперед и первый идет к фабричным воротам. Огромный двор черен от людей. Толпа спокойна. Кто-то охрипшим негромким голосом говорит речь. Оратора не видно, он скрыт в толпе. Полиция стоит снаружи, во дворе только рабочие.

К Агнивцеву подходит полицейский пристав, обрадованно здоровается с ним, и минуту они совещаются. Пристав как будто становится выше, он выпячивает грудь и молодцевато направляется к толпе.

...— добром просили, не хотите,— доносится его голос,— пеняйте теперь на себя.

Потом следует несколько непонятных фраз и последняя, громко выкрикнутая:

— Даю вам пять минут срока.

Толпа приходит в движение. Там много женщин. Гул, крики, разговоры нарастают и катятся, как морской прибой, к солдатам. Пристав смотрит на часы, пожимает плечами и подходит к Агнивцеву. Штабс-капитан морщится и поворачивается к отряду. Руткевич с выражением радостной готовности и нетерпения на возбужденном лице становится рядом с ним.

— ...Во взводную колонну,— слышит Карцев и делает то же, что делают и другие. Отряд развертывается, он делится на две части и перед одной частью становится Руткевич.

— Спокойствие, подпоручик,— тихо говорит ему Агнивцев,— никаких действий без моей команды... прошу вас.

...Они движутся вперед, входят в ворота и расходятся, охватывая двор. Доходят до красных кирпичных

корпусов и поворачиваются фронтом к толпе. И с жутким чувством Карцев видит тысячи напряженных глаз, следящих за его движениями, и тогда он решительно повертывает голову, он осматривает тех, кто стоят с ним рядом.

— Слушай, Самохин,— глухо говорит он,— если прикажут стрелять, не выполняй.

Самохин поворачивает к нему белое лицо, облизывает сухие губы.

— Уйди,— злым шопотом отвечает он,— научишь тоже — не выполняй. Чѐм меня, так уж лучше я.

— Филиппов,— шепчет Карцев,— в своих...

— Иди ты к... без тебя не знаю...

Филиппов не оборачивается к нему. Его голова уходит в плечи, точно он ожидает удара. И Карцев слышит пронзительный голос Руткевича:

— На ру-ку...

У него волчье лицо — сейчас бросится.

Штыки уходят вперед по косой линии. Карцев медлит, он делает прием последним, уже тогда, когда Руткевич поворачивается к нему.

— Равнение на середину, шагом марш.

...Идут они или стоят на месте? Кто-то тяжело, со свистом дышит, кто-то жмется к нему плечом или это он к кому-то жмется?

Мертвые руки держат винтовку, мертвые ноги несут вперед погасшее, безвольное тело. В голове гудит, розовые пузыри мелькают перед глазами.

Он чувствует, как растет в нем мучительное, страшное напряжение, как становится оно нестерпимым, нечеловеческим.

Двор пустеет. Улицы возле фабрики пустеют. Городовые ведут нескольких рабочих. Руткевич хохочет. Агнивцев вял и молчалив.

В полдень отряд возвращается в казармы. Солдаты идут понурясь, не разговаривая друг с другом.

Горе и тоска душат Карцева, он не находит себе места. Вечером он лежит на койке с воспаленными глазами. Хочется открыть рот и громко стонать.

К нему доносятся голоса. Загибин рассказывает о сегодняшнем походе.

— Прямо скажу, что трусливая сволочь,— говорит

он, — разве они куда-нибудь годны? Увидели нас и давай бежать, кричат от страха. Гнусь такая... Жалко, что стрелять не пришлось.

Тогда Карцев подымается, не спеша идет к Загибину и бьет его кулаком в лицо. Загибин падает, он кричит от боли и страха, и Карцев с трудом удерживается, чтобы не бить его, бить до-смерти.

4

Он стоит под ружьем в полной выкладке — со скаткой, патронташем, двумя подсумками, вещевым мешком и даже лопатой в чехле. Стоит против двери, чтобы все, кто проходит, могли его видеть, стоит под надписью, сделанной на стене черной краской:

«Нет почетнее звания солдата — все уважают и ценят его».

Винтовка застыла на плече. Карцев не чувствует ее, затекла рука, но ему даже приятны физические страдания.

Завтра десятая рота идет в караул, и завтра же он идет на гауптвахту отсиживать двое суток ареста. Он рад аресту, рад куда угодно уйти из роты.

Командуют «смирно». Это пришел Бредов, и дежурный, поддерживая у пояса штык, беглым шагом идет отдавать рапорт. Бредов слушает с рукой у козырька и, когда дежурный, отрапортовав, отступает в сторону, давая ему дорогу, здоровается с ним и проходит, косясь на Карцева.

Три дня штабс-капитан не приходил на занятия, сказавшись больным. Его лицо осунулось, он трудно переносил крушение своих лучших надежд и обиду, которая казалась ему незаслуженной. Он твердо решил, что уйдет в отставку, и теперь смотрел на офицеров и на всю жизнь полка неприязненно и критически.

Теперь, когда уже он не считал себя офицером, он думал, что никогда не был таким, как его товарищи, забывал, что годы жил их жизнью, пил, сплетничал, подсиживал других. Ему казалось, что он осуждает тупой, жестокий и несправедливый строй, который преследует даже офицеров, виновных только в том, что у них жены католички, давит их, не дает им дороги.

— За что стоишь? — спрашивает он у Карцева.

— Ударил рядового Загибина, ваше благородие,— отвечает Карцев.

— За что ударил?

— За то, что подлец,— вырвалось у Карцева.

— Кто тебя поставил?

— Фельдфебель, ваше благородие.

И Бредов скомандовал Карцеву взять к ноге.

— Передай фельдфебелю,— сказал он,— что я велел отставить.

Карцев снял с плеча винтовку и, открыв затвор, поставил ее в пирамиду. Возле своей койки он увидел Петрова. Лицо у Петрова было серое, у рта легли тяжелые складки, глаза смотрели жалобно и виновато. Со вчерашнего дня они еще не разговаривали.

— Плохо,— сказал Петров,— чувствую себя отвратительно, словно совершил преступление. Вот все ребята разговаривают о вчерашнем. Говорят, что в полку большое возбуждение. Максимов будто бы заявил, что больше не даст солдат на усмирение. Войска должны, дескать, учиться, а не нести полицейскую службу.

— Даст,— угрюмо сказал Карцев.

— Конечно, даст,— ответил Петров и, уныло поглядев кругом, предложил: — Давай, брат, закурим.

К Карцеву подходили солдаты. Его поступок вызвал сочувствие со стороны многих. Загибин тихонько рассказывал кой-кому, что Карцев, наверно, социалист. Это слово было путанным и страшным понятием для большинства солдат. Они пришли из деревни темные, покорные и напуганные. Им говорили, что социалисты — это враги царя, враги бога и всего доброго, честного и хорошего. И некоторые из молодых солдат смотрели на Карцева с недоверием и любопытством. Про него говорят, что он социалист, но он выглядит простым и хорошим парнем, и ударил он Загибина, которого не любили за подхалимство, за то, что он водился только с начальством и с богатыми солдатами. И они смотрели, как старые, опытные в казарменной жизни солдаты подходили к Карцеву и дружески беседовали с ним.

Только Самохин сторонился Карцева. Он с ужасом думал о том, что Карцев предлагал ему не выполнить

приказ начальства. Животный, панический страх овладел им при мысли, что он мог это сделать.

У Карцева появилось много врагов, но еще больше друзей.

Машков по-медвежьи косился на Карцева и решил, что при случае сломит его. И когда пришел Мазурин и сел возле Карцева, унтер-офицер поднялся со своего места.

— Карцев, — начальственно позвал он, — иди сюда.

Он осмотрел его всего и громко добавил:

— Неаккуратно ходишь, оправь гимнастерку.

Карцев молча исполнил приказание взводного.

— Отвечай, что такое враг внутренний, — спросил взводный, упирая в него медные кругляки глаз. — Подробно отвечай. Да как стоишь перед начальством? Подтянись!

Вопрос взводного звучал вызовом и издевательством — он хорошо знал, за что Карцев ударил Загибина, и несколько секунд Карцеву казалось, что он ответит Машкову грубостью. Но взводный на это и бил, сила была на его стороне, и не стоило пропадать из-за него. Карцев увидел упорные, успокаивающие глаза Мазурина и ответил ясно и спокойно:

— Внутренними врагами называются люди, живущие в России и оказывающие неповиновение царю и законным властям.

Взводный ворчливо сказал:

— Вызубрил, чорт! А какие самые святые слова для русского солдата?

— Царь и отечество, господин взводный.

— Хитер, как муха, все знает. Скажи шестую заповедь.

— Не убий, господин взводный.

— А ежели прикажут?

— Убьем, господин взводный.

У Машкова косилось лицо, прыгали губы. Глаза Карцева сверлили его, невыносимо хотелось ударить солдата, но он не решался.

— Ну, пошел, — хрипло сказал он, — скройся.

Карцев скрылся. Он забрался в коридоре в уголок, между шкафом и стеной, вместе с Мазуриным и Петровым. Ему стало легче. Нападение Машкова странным образом успокоило его. Он как будто выдержал бой.

Петров рассказывал Мазурину о том, как они усмиряли рабочих. Мазурин слушал молча, наклонившись вперед, переплетя пальцы рук.

И слушая Петрова, Карцев как будто узнавал себя в его рассказе и поражался тому, что Петров испытывал те же чувства, что и он, и так же, как он, мучился от сознания своей связанности и своей нерешительности.

Мазурин оторвал листок бумаги, свернул ее воронкой, узкую часть согнул, в широкую насыпал махорку и закурил.

— На фабрике плохо говорят про нас, — тихо сказал он. — А ведь в нашем полку хорошие были работники... настоящие...

— Где же они? — спросил Петров.

Мазурин покачал головой. Слова вместе с дымом срывались с его губ.

— Одни ушли в запас, другие в тюрьме... Одного расстреляли, Костю Заикина. Дорогой был человек. Безотказный на дело.

— За что его расстреляли, Мазурин?

— Сразу не расскажешь, — ответил Мазурин, — подпольщик он был. У него были связи с фабрикой. Носил в казармы литературу. Его выдала какая-то сволочь. На допросах он ничего не говорил. Мучили его месяца два. Хотели от него узнать, кто с ним работал. Допрос вел Вернер. Уж он допечет. Не знаю, как там было, только Заикин ударил его. Судили при закрытых дверях... Вот и все.

Черная тень мелькнула у окна. Мазурин вздрогнул и приподнялся.

— Кто тут? — шопотом спросил Карцев.

— Вот они где, — укоризненно сказал Гилель Черницкий. — Я уж думал, что вы провалились сквозь каменный пол. Дай закурить, Мазурин.

Вспыхнула спичка. Сухие, темные щеки и горячие глаза были видны одну секунду. Черницкий сел на корточки.

Карцев придвинулся к Мазурину.

— Слушай, Мазурин, — сказал он ему на ухо, — выберем денек. Хочу потолковать с тобой.

Мазурин не отвечал. Он сидел сгорбившись.

— Хочу о многом расспросить тебя, — шептал ему

Карцев,— разбило меня вчерашнее. Спокойно мне тут все равно не жить.

Широкая рука Мазурина успокаивающе легла на его плечо.

— Поздно, — сказал Мазурин. — Я пойду, и лучше будет, если я к вам буду меньше захаживать. Косятся тут на меня.

— Есть же место, — проворчал Черницкий. — Я тебя знаю второй год, Мазурин, и нечего тебе от меня крутиться. Будем собираться у Семена Ивановича. Чем тебе там плохо?

Мазурин поднялся.

— Потолкуем в другой раз, — сказал он. — Еще дни будут и ночи будут. Прощайте.

5

Утром офицеры пришли в казарму раньше обычного часа. Васильев, Бредов и Руткевич заперлись в ротной канцелярии и туда позвали фельдфебеля. Зауряд-прапорщик пробежал по коридору тяжелой рысью, на ходу расправляя серые пучки усов. Вызвали дежурного и велели запереть наружные двери. Фельдфебель вышел в коридор и закричал:

— Рота, становись!

Из канцелярии показались офицеры. Васильев недовольно теребил соломенные усики. Бредов был равнодушен и скучен, и только на лице Руткевича было выражение радостной готовности.

— Взводных унтер-офицеров ко мне, — скомандовал Васильев. Он сухо оглядел их, сделал Погодину замечание за невычищенную бляху и приказал развести взводы по койкам и открыть сундучки.

Теперь стало ясно. Предстоял повальный обыск. Васильев ходил, небрежно посматривая на солдатское барахло, и едва касался некоторых вещей. Бредов, обыскивавший первый взвод, даже не глядел на вещи, и сундучки осматривали взводный и отделенные.

Руткевич искал с упоением. Он заставлял солдат опрокидывать сундучки на койки и, надев серые лайковые перчатки, быстро перебрасывал вещи.

Обыск закончился. Нашли письмо у Кобылкина, на-

писанное домой, в котором он жаловался на тяжелую службу.

— До чего же неблагодарный народ, — сокрушенно разводя толстыми, короткими руками, говорил фельдфебель. — Сколько на них забот тратишь, и все даром.

И, подскочив к Кобылкину, он откинул с койки одеяло и сказал с искренним огорчением:

— Когда ты, свинья, на простыне дома спал? В жизни не знал, что это такое, а на службе узнал. Мясом тебя, поганого, каждый день кормят, деньги тебе платят, заботятся о тебе, мерзавце, как о родном сыне, а ты хнычешь — тяжелая служба. Неблагодарный народ. Несознательный.

Наскоро попили чаю. Скомандовали одеваться в караул. Угрюмые, обозленные солдаты надевали шинели, просовывали застежки подсумков в пояса.

— Вот, так и живем, — задумчиво сказал Филиппов, заправляя старую, глинистого цвета шинель. — В кишки и в душу залезут и сейчас же гонят на цепь—справлять собачью службу. А домой не пускают.

Лицо у него было усталое, такое же потертое, как и шинель. Трудно было поверить, что он совсем молод, что ему нет еще двадцати пяти лет.

Из пирамиды брали винтовки, вскидывали их вверх привычным жестом и закрывали затворы. Фельдфебель прошелся перед фронтом, выругал несколько человек за плохо пригнанное обмундирование, и роту вывели во двор.

Карцева вызвали в ротную канцелярию. Фельдфебель, смотря на него поверх очков, сдал его ефрейтору Защиме. Защима должен был доставить его на гауптвахту отбывать арест. Он прицепил к поясу штык в желтых кожаных ножнах, и оба вышли из казармы.

Гонимый ветром снег падал наискось, больно колол лица солдат. Прошел низенький человек неопределенного вида в разных валенках (один серый, другой черный) и несколько раз оглянулся.

— Смотри, смотри, — кивая головой, сказал Защима. — Солдат солдата под арест ведет. А какое в этом удивление? Какое, скажи?

И он, остановившись, в недоумении посмотрел на Карцева и провел рукой по лицу.

— Постой, — пробормотал он, — а зачем я, в самом деле, тебя веду?..

Тугая улыбка выдавилась на синих его губах, и вдруг лицо сделалось жестким.

— Боюсь я своей думки, — шопотом сказал он. — Сполняй службу, государственный ефрейтор Защима, сполняй и не думай.

Он, понурясь, пошел вперед и возле гауптвахты сунул Карцеву помятую пачку махорки.

— Брат, э-х, брат... — горько сказал он и, оправив пояс, добавил: — Ну, шевелись, сдам тебя куда надо.

Колесников, унтер-офицер второго взвода, караульный начальник, принял Карцева и посадил его в одиночку.

Этот день в карауле был необычайным. Давно уже гауптвахта не видела столько арестованных солдат. Их приводили по нескольку человек сразу и сдавали под расписку. В глазок своей камеры Карцев видел, как их вели по коридору. Рядом с ним посадили какого-то беспокойного человека, все время ходившего и что-то бормотавшего. Камеры отделялись дощатыми простенками, и можно было свободно переговариваться. Сосед Карцева постучал в стену и спросил — у него был низкий, гремучий голос:

— Кто такой будешь?

Карцев ответил.

— Видел, сколько народу привели? — тихо продолжал сосед. — Говорят, человек пятьдесят сегодня арестовали.

— Не знаешь, за что это?

Сосед удивленно хмыкнул за стеной.

— А ты не знаешь, серенький? За фабрику все случилось! Сотни, понимаешь, солдат по городу вертелись, с рабочими разговаривали. Пристав приезжал с жалобой к командиру полка. «Уберите,— просит,— господин полковник, ваших солдат в казармы. Я их,— говорит,— прямо-таки боюсь».

— А ты все откуда знаешь? — не поверил Карцев.

— Я-то?— голос за стеной зазвучал тихой обидой.— Я ведь писарь... в полковой канцелярии работаю... Кому же все знать, если не мне?

— За что же тебя, писарь, посадили?

— Вот за это самое и посадили, — ответил голос.— Бумагу, понимаешь, я прочитал, какую не следует мне читать...

— А что было в бумаге? — Карцев приник к стене.

— Что, что... бабушкино завещание. Много знать хочешь.

Карцев представлял его: небольшой суетливый человек с толстой шеей (это оттого, что низкий голос), с беспокойными глазами.

— Ты сам откуда будешь? — тихо загудел голос из-за стены.

Карцев сообщил о себе.

— Землячок, — радостно забасил писарь. — Мы же ананьевские. Это рукой от тебя подать. У Гана, говоришь, работал? Я же знаю этот завод. Я же оттуда молотилки возил. Эх, землячок.

У двери послышался шорох. Колесников скопческим своим голосом ругал арестованного писаря. Холодно и без злобы он нанизывал похабнейшие ругательства.

В молчании прошло много времени. Карцев дремал, сидя на табуретке. Ему было спокойно здесь. Он вытянул ноги, прислонил к стене голову. У двери взвизгнул замок, мертвое лицо Колесникова заглянуло в карцер.

— Принимай обед, — сказал он, глядя исподлобья.

Карцев вышел в коридор. Ведро с супом дымилось на полу.

— Давай котелок, — крикнул кашевар.

Но Карцев, не зная порядков, не захватил из роты котелок.

— Вот, возьми мой,— сказал низкий знакомый голос, — я же на хлебе и воде.

Карцев увидел своего соседа. Он не был похож на созданный им образ. Это был человек выше среднего роста, с худыми покатыми плечами, с калмыцким угреватым лицом, с непомерно крупными коричневыми зубами.

Писарь подмигнул ему, передавая котелок. Его сейчас же увели в камеру. В конце коридора Карцев увидел длинную фигуру Мишканиса. Его сопровождал солдат с винтовкой. Литовец прошел мимо Карцева и улыбнулся ему.

Камера его была рядом, и он, согнувшись в низких дверях, вошел туда.

Вечером Карцев осторожно постучал ему в стену.

— Здравствуй, Мишканис, — сказал он ему, — это я, Карцев, из десятой роты... Как живешь?

Спокойный голос Мишканиса ответил:

— Да так, живу. Вот жду суда. Суд мне будет.

— Как же ты на воле пожил? И почему бежал?

И литовец тягуче рассказывал, слова, как капли бурой жидкости, сочились из стены:

— Я три года не был дома. На службу меня взяли из тюрьмы. Да, я сидел два года в тюрьме. Я не давал уряднику меня бить. О, это была пьяная скотина. И он забирал у матери корову, которая была одна и от которой жил весь дом.

Было слышно, как возился Мишканис, стукнуло что-то об пол, и опять потекли неторопливые его слова.

— И он велел забирать корову, и пришли еще стражник и староста, а я не давал и говорил, что уплачу деньги, пускай мне дадут два дня. Но урядник ударил меня ногой в живот, и я взял его за шею и за спину и вынес за ворота. О, вреда ему не было, но он кричал, как свинья, и все бежали в наш дом, стражник и староста связали меня и увезли и в дороге били, плевали мне в лицо и ругали. И когда был суд, они говорили, что я душил урядника и что я давно известный революционный человек. И суд давал мне два года тюрьмы. Да, я сидел в Вильно в тюрьме, и за все время у меня один раз была мать и больше не приходила, и хотя я писал письма, не было ответа, и я не знал, что там делается у меня в деревне. Может быть, мать умерла? Она старая, но сестра молодая. Но сестра тоже не писала мне. И когда кончилась тюрьма, меня прямо повезли к воинскому начальнику, и он никуда не выпускал меня и отправил в полк. И я служил год и писал письма и не получал ответа. И очень, очень тосковал и совсем не мог так жить, с такой большой неизвестностью в душе. Я просил отпуск, но мне сказали, что таким, как я, отпуска не дают. И я убежал.

В коридоре зашумели, чей-то голос, хрипя, с отчаянием повторял:

— Не дамся же я ему, не дамся больше. Разве мож-

но так человека мучить? Ой, боже мой, душитель же он... Довел меня.

Карцев бросился к глазку. По коридору вели под руки окровавленного, с повязанной платком головой солдата. Хлястик шинели болтался на одной пуговице. Он всхлипывал, и розовые от крови слезы катились по его лицу. Колесников подошел сзади, равнодушно ударил его по шее и посоветовал:

— Не кричи здесь, не порть мне караула. А то не пожалею. Бунтовщик ты вонючий, липовый. Серая гнида.

Солдата увели в конец коридора.

Хриплый его голос вдруг затих сразу, точно дунули на лампу, и она потухла. И в острой, гудящей, как электрический ток, тишине опять послышался медленный шопот Мишканиса:

— Конечно, я хотел сразу итти домой. Но я боялся. У нас в Виленской губернии я три недели работал на лесопильне. И это были хорошие дни. Я отдыхал, хотя работа была трудная, и я думал о доме. И вот пришел стражник и стал спрашивать у рабочих паспорты. Он спросил и у меня паспорт, и я сказал ему, что паспорт спрятан в избе. И я как будто за ним пошел и не вернулся. Пять дней ходил пешком до нашей деревни. И ночью, как волк, пробирался в свой дом. Да, моя мать умерла год назад, а сестра вышла замуж за Андрея Пегоса, хорошего парня, и у ней уже был ребенок. Она плакала и говорила, что мои письма забирал староста и жег. Он сказал ей, что если она мне будет писать, то ее возьмут в тюрьму, так как я государственный преступник и к таким злодеям запрещено писать письма. У меня было много горя на душе, и я утром пошел к старосте, чтобы с ним говорить или что-нибудь с ним сделать.

О стену что-то глухо стукнуло, видно, Мишканис переменил положение, и он продолжал грустно и торжественно:

— Да, я увидел, что бедным людям везде плохо и с ними жестоко и несправедливо обращаются. Мне казалось, что на воле в родной деревне лучше живется, чем на военной службе, но я понял, что я дурак, что и там плохо и здесь плохо. И я все же пришел к старосте, и когда он увидел меня, то заперся у себя

и стал громко свистеть. И меня взяли. Мне было все равно, и я не скрывался от них. Да, я не хотел бежать, и во мне потухла всякая радость от жизни.

Он замолчал. Карцев долго сидел, согнувшись, спрятав лицо в скрещенных руках. Думал о Мишканисе, о себе.

— Вот они какие... вот мы какие, — тихо сказал он.

Стемнело. Огня не давали. Карцев не шевелился. Ему казалось, что целый мир отделяет его от того, что происходит за этими стенами.

6

Из полковой канцелярии с диким воем прибежал Шпунт. Никогда еще не видели флегматичного писаря в таком возбуждении. Он промчался по всей казарме, бурно вбежал в нишу, схватил унтер-офицера Погодина, обнял его и завертел. Бросился от него к Филиппову и стал целовать его.

Потом прошелся в присядку, лихо выбрасывая ноги. Наконец он остановился, выпятил грудь, опустил руки по швам и заревел:

— Одиннадцатый год, становись по четыре. В запас шагом марш.

И, отбивая ногу, пошел по казарме, наигрывая на губах марш «Дни нашей жизни».

— Ура, — закричал Погодин, — ура!

Его рябое лицо вспыхнуло от радости. Он бросился к Шпунту, уже со всех сторон окруженному солдатами одиннадцатого года. Шпунт громко читал приказ. Филиппов выслушал, с серьезным лицом подпрыгнул, стал на голову и колесом прошелся по казарме. Машков угрюмо смотрел на запасников. Он оставался на сверхсрочную службу, так как ему, безземельному крестьянину, некуда было деться, и хотя не жалел о том, что остался, но, глядя на своих односрочников, готовящихся ехать по домам, испытывал то, что, вероятно, чувствуют птицы, отстающие от улетающей стаи родичей.

Те несколько дней, что одиннадцатому году осталось провести в казармах, уже не были для них настоящей службой. Они не несли нарядов, их отпускали каждый день со двора, они распродавали вышедшие

из срока вещи. Их лица сияли счастьем, и на них с неуемной завистью смотрели солдаты младших сроков.

Ефрейтор Защима ходил, гордо постукивая новыми лакированными сапогами, какие имели право носить только офицеры. Он был пьян, смотрел на всех вытаращенными глазами и говорил:

— Отмучился раб божий Защима. Били его, да не вбили. Ломали его, да не сломали. Ловили его, да не словили. Идет в запас на вольную жизнь бывший государственный ефрейтор Защима.

Но Комаров, маленький юркий Комаров, всегда веселый и хихикающий, — печален и подавлен. Он сидит на своей койке, сморщенный и жалкий, беспомощно смотрит на всех, и когда Карцев спрашивает его, что с ним, — Комаров начинает плакать. Да, плачет маленький солдат и говорит удивительные на первый взгляд вещи.

Вот он три года жил в казарме. Жилось плохо, он не хвалит солдатскую жизнь. Били его, притесняли, никто не уважал, заставляли выполнять самые грязные работы. Но все-таки он обжился и привык здесь. Были хорошие товарищи. Жалели его. Давали курить. Одалживали иногда несколько копеек. Был он сыт. Спал на отдельной койке, с подушкой под головой. И вот теперь все это кончается. Надо ему, Комарову, уходить из казармы. А куда он пойдет? Теперь зима. У него ничего нет и никого нет. Он бобыль. Дома батрачил, был пастухом. Примет ли его мир? Навряд ли. Наделы маленькие, земля никудышная. Податься в город? Но он уже знает, что это такое. Он мыкался по трактирам, по заводам. Не так скоро найдешь работу. Куда же ему деться?

Пока он, хныча, говорит, вокруг собирается несколько человек. И никто не смеется. Не вызывает теперь насмешек Комаров, над которым привыкла смеяться и издеваться вся рота. И Тюрин, солдат с темным лицом, истыканным оспинами, тоже уходящий в запас, невесело соглашается с Комаровым.

— И мне трудно, — вслух думает он. — Не на веселье домой еду. На горе.

Он вытаскивает кошелек, из кошелька появляется серый мятый листок, и Тюрин медленно читает:

«...До пасхи никак не продержимся. Хлеб хотя с кар-

тошкой пеку, и того уже нет. И вовсе я, бедная, не знаю, что будет. И подать неплаченная, и староста ходит, ходит, тянет из меня душу, — а что я ему дам? Что могла — еще в прошлом году продала, лошади нет, как хочешь, так и живи».

Он складывает письмо и оглядывает стоящих вокруг солдат.

— Как хочешь, так и живи! — жестко повторяет он. — Я здесь дня не останусь, — говорит он и с горечью и злобой оглядывает стены казармы, надписи на стенах, ряды солдатских коек. — Но и дома не слаще будет. С одной каторги на другую перехожу. Тому дома хорошо, у кого хозяйство справное, а нам везде мука. Допекают нас во всей нашей жизни.

Он с завистью смотрит на взводного Погодина. Погодин укладывает вещи в просторный кованый сундук, встряхивает новые шаровары, счищает пыль с хромовых сапог. В деревню он приедет во всем парадном великолепии своего унтер-офицерского звания.

— Он из Климова, одной с нами волости, — вполголоса объясняет Тюрин. — Купцом живет. Изба железом крыта, три коровы, четыре коня. Отец лавку держит, у помещика сорок десятин арендует. Такому весело ехать домой.

Комаров размазывает по худому лицу грязные слезы.

— Выпить бы, — просит он, вертя тонкой шеей. — Эх, выпить бы Комарову, горемычному бедняку, козявке человеческой.

Он собачьей рысцой бежит к Защиме, часто кланяется, семенит ногами.

И Защима, никого не стесняясь, достает из глубокого своего кармана бутылку водки и, хохоча, засовывает горлышко Комарову в рот. Комаров пьет с выпученными глазами, кадык его движется, как поршень работающей машины, и мелкое лицо синеет.

Ефрейтор накаляется от водки, от безумной радости освобождения. Он не слушает товарищей, уговаривающих его быть осторожнее, бешеная радость душит его, фонтаном брызжет из него. Ему мерещатся дикие планы.

Наденет он, Защима, вольную одежду и останется тут в городе. Будет ходить мимо офицеров, держа

руки в карманах, нахально на них глядеть, и пускай они ему хоть слово скажут. Подаст он на них тогда в мировой суд за оскорбление. Фельдфебеля он доведет до ручки. Будет за ним следом ходить и измываться. Будет на рысаке мимо его окон кататься. Дочку ему испортит. Наймет мальчишек бить ему стекла.

Столкновение с фельдфебелем назревало. Перед поверкой накануне отъезда запасных зауряд-прапорщик бесшумно вышел из своей квартиры. Он шел по коридору, носки его сапог, как лягушки, выпрыгивали из-под длинной шинели. В помещении третьего взвода он наткнулся на Защиму. Защима лежал на койке и, увидев фельдфебеля, поднял ногу и с шумом выпустил газы. Смирнов закипел, как маленький толстый самовар.

— Встань, встань, сволочь, — похрюкивая по своей манере, завизжал он. — Встань, приказываю тебе.

Защима медленно поднялся. Он был достаточно благоразумен, чтобы не выходить из рамок дисциплины. Но теперь ему казалось, что служба уже окончена, и к тому же он был пьян. В нем накопилось слишком много горя, обид и озлобления. И теперь, покачиваясь, он смотрел на фельдфебеля колючими глазами, дыхание со свистом вырывалось из его открытого рта, голова кружилась.

Он не мог удержаться, коснулся Смирнова двумя пальцами и задушевно сказал:

— Иди, катись, исчезни. К матери, к бабушке, к дочке. Только исчезни.

Фельдфебель отскочил и позвал дежурного.

— Напал на начальника, ударил, — кричал он, подпрыгивая на коротких ножках. — Под суд пойдет, сукин сын, под суд.

Он побежал в канцелярию, написал рапорт, заставил дежурного подписаться. Ротный командир хотел замять дело, но Смирнов не соглашался. Защима был арестован. Когда на следующий день запасные уезжали из казармы, его не было среди них. Он не видел, как с сияющими лицами уходили солдаты после трехлетней унизительной царской службы, на которой они были только нижними чинами, не имеющими никаких прав, быдлом, скотинкой. Не видел, как даже Комаров пел и смеялся.

Через неделю был суд, и Защима, признанный виновным в оскорблении прямого начальника (Загибин показывал, что сам видел, как Защима ударил фельдфебеля), был разжалован в рядовые и приговорен к шести месяцам дисциплинарного батальона.

7

Вольноопределяющийся Петров подошел к Карцеву. Он был задумчив, немного смущен.

— Слушай, Карцев, — сказал Петров, и широкое его лицо сжалось, — звал меня к себе ротный командир, предложил заниматься с его дочкой. Дочке восемь лет. Я, брат, согласился. Но боюсь, что плохо поступил.

— Чем же плохо? — спросил Карцев. — По-моему, хорошо. Платить будут, льготы тебе пойдут. Магарыч ставь, Петров.

— Я не о том, — сплетая пальцы рук и охватывая ими колено, говорил Петров. — Понимаешь, у меня сомнения. Да, да, я не знаю, этично ли это, хорошо ли, что я учу офицерских детей.

— Дурак, — искренно вырвалось у Карцева. — Я этих тонкостей не понимаю. Что же плохого, что ты его девочку учить будешь? Тебе польза, а вреда я тут не вижу.

Простота его слов удивила Петрова.

— Все это так, — ответил он. — Заумничал я. Ладно, буду заниматься у командира.

Он пришел на первый урок с чувством неловкости. Ему отворил денщик, рыжеватый апатичный парень, с золотистыми глазами, в гимнастерке без пояса.

— Тебе чего? — грубо спросил денщик. — Из роты?

— Я к капитану Васильеву, — смущаясь, ответил Петров.

Денщик ушел в комнаты, и Петров слышал его голос:

— Барин, там вас вольный определяющий спрашивает.

Вышел Васильев в стареньком мундире и в войлочных туфлях. Синие глазки глядели недовольно. Увидев Петрова, он расправил лицо и двинулся к нему,

слегка подняв руку, точно хотел ее протянуть Петрову. Но денщик вошел в переднюю, и Васильев, скосив на него глаза, опустил руку.

— Прошу, вольноопределяющийся, — сказал он и шагнул в комнаты.

Петров вошел в большую с низким потолком комнату, видно, служившую гостиной. Мещанский уют наполнял ее. Кисейные занавески, фикусы на подоконниках, белые чехлы на диване и креслах, столик на кривых ножках, масса гипсовых ненужных статуэток на полочках и этажерках, огромная, желтая труба граммофона. Петров стоял, опустив руки, не зная, как себя держать.

— Прошу садиться, — сказал Васильев, — я сейчас позову жену.

Он вышел, и Петров с удивлением увидел, какие у него тонкие и слабые ноги, — в сапогах они казались полнее и крепче. Он вернулся с женщиной, которая была выше его ростом, и Петров встал, пораженный. У маленького офицера была красавица жена, белокурая, с нежным лицом, немного японского типа, с карими, очень живыми и теплыми глазами. Она, улыбаясь, шла к Петрову, и он горячо пожал ее узкую мягкую руку. Он смутно понимал, что она ему говорила, и только слушал ее голос, низкий и такой же теплый, как ее глаза.

— Владимир Никитыч говорил мне, что вы любезно согласились заниматься с Алей.

Кто это Владимир Никитыч? Ах, да это же капитан Васильев... Странно — его высокоблагородие и вдруг имя и отчество. Петров смешливо улыбнулся. То, что офицера звали обычно, как и всех людей, было так же нелепо, как брюки у попов. Петрова в детстве спрашивали товарищи, носит ли его отец брюки: все равно их не видно под рясой.

Он условился о времени занятий и поднялся. Капитанша опять протянула ему руку, и капитан неловко подал свою.

Он начал ходить на уроки. Аля была похожа на мать — те же глаза, то же лицо, но немного испорченное, по мнению Петрова, сходством с отцом, белокурые вьющиеся волосы. Он заметил, что капитан старался не встречаться с ним дома.

Двойственность создавшихся между ними отношений была ясна Петрову.

Васильев был настоящим военным и не любил того, что он называл «штатским» душком. И еще в первые дни пребывания Петрова в роте он сделал ему замечание.

— Как-то вы не по-солдатски держитесь, вольноопределяющийся, — сказал Васильев, — надо вам забыть штатские манеры. Здесь они не нужны и даже вредны.

И вот Петров, солдат, нижний чин, стал учителем дочери капитана, бывал в его доме, жена капитана обращалась с ним, как с равным,— и получилось так, что «штатский душок» не мог не давать себя знать в этих новых отношениях. И Васильев, мягкий, доброжелательный человек, не находил правильного разрешения задачи: в роте он относился к Петрову иначе, чем у себя дома, и это продолжалось довольно долго, пока он не привык к вольноопределяющемуся. И когда он на занятиях говорил с Петровым, и тот стоял перед ним, вытянувшись, Васильев не отличал его как будто от других солдат.

Валентина Сергеевна иногда приходила на уроки дочери. Она спрашивала с застенчивой улыбкой, делавшей ее еще более привлекательной, не мешает ли она, и Петров так горячо и убедительно говорил ей, что ему очень приятно ее присутствие, что она перестала спрашивать и тихо садилась с шитьем в уголок на низенькое кресло. Несколько раз она оставляла его пить чай и с той же застенчивой улыбкой расспрашивала о его жизни. Она говорила ему об офицерской жизни, скучной и неинтересной, где каждый знал всю подноготную про других, и если на какой-нибудь вечер должен был явиться молодой подпоручик в новом мундире, то еще накануне рассказывали, что мундир сшит у такого-то портного в рассрочку. Офицерское ухарство и бряцающие слова о чести мундира звучали для нее так же неполновесно и мишурно, как для спрятанного за кулисами актера звучит пафосный монолог играющего перед зрителями первого любовника.

Он долго не доверял ей. Ему все казалось, что она вдруг может дать ему заметить, что он все же простой солдат, хоть и со жгутиками вольноопределяющегося,

но она обращалась с ним так просто, с таким ясным любопытством слушала его рассказы, что он перестал держаться настороже и говорил ей о себе, о годах, проведенных в семинарии, о своих планах на будущее.

Она кивала головой, привычными пальцами выщипывала нитки из ажурной салфетки и грустно говорила:

— Нет, плохо у нас живут офицеры. Только играют в карты или пьют. Молодежь петушится, хороших книг не читает. Грубые тут, некультурные люди. Не то, что Володя.

Он слушал, боясь взглядом или движением выдать себя. Он осторожно вдыхал ее мягкий, душноватый запах, смотрел на теплую розовую шею женщины и в смятении думал:

«Боже мой, Валентина Сергеевна... Валя, какая вы изумительная, какая чудесная... Неужели вы любите этого маленького, тонконогого человека?.. И все, все громадное счастье принадлежит только ему?»

Она показала на полочку с книгами, висевшую над письменным столом... Петров еще раньше видел эти книги — сочинения Мольтке, Клаузевица, Драгомирова, номера «Русского инвалида» и в хорошем тисненном переплете — «Войну и мир» Толстого.

— Мы получаем «Русское слово», — понизив голос, сказала Валентина Сергеевна. — Знаете, выписывать нам неудобно, ведь офицерам не рекомендуется читать левые газеты, но мы покупаем у газетчика, он их носит не к нам на квартиру, а к моей сестре.

Она с благоговением показывала ему орден Георгия 4-й степени, полученный Васильевым за японскую войну.

— У нас в полку кроме Володи Георгия имеет только полковник Архангельский,— сурово сказала она.— Вы только представьте себе, какая Володе честь! Он ведь очень способный.

И действительно, Васильев был одним из немногих офицеров, которые по-настоящему понимали и любили военное дело. Когда на занятиях в роте он набрасывал на доске мелом карту и рассказывал, оживляясь и теребя левой рукой соломенные усики, о боях, в которых он участвовал, солдаты слушали его без скуки. Васильев загорался, острые огоньки вспыхивали в его

глазах. Но маленький офицер не охватывал всей картины войны. Он избегал говорить о бездарных и нерешительных операциях неспособных генералов, — они как будто мало его интересовали. И Петрову, хорошо знакомому с историей возникновения японской войны и позорным ее ведением, хотелось поговорить обо всем этом с капитаном по-настоящему, но трудно было найти случай, главным образом из-за полуофициальных отношений, которые были между ними.

И только позанимавшись несколько месяцев с «капитанской дочкой», как он шутя называл Алю, и освоившись в доме, Петров стал говорить с Васильевым на частные темы. Капитан, хорошо к нему присмотревшись и, вероятно, расположенный к нему рассказами жены, перестал избегать его и иногда беседовал с ним. Аля, привыкшая к полковой жизни и превосходно знавшая отличия между офицером и солдатом, говорила Петрову, хитро улыбаясь:

— А я ведь знаю, что вы понарошку одеваетесь солдатом. Ведь вы и не солдат вовсе.

И когда Петров отвечал ей, что он солдат, она убеждала его неотразимыми доводами, взятыми ею из собственного опыта.

— Да нет же, солдаты бывают другие, они работают на кухне, таскают помои, им все говорят «ты», и они не имеют права ходить к нам в комнаты.

Петров, хмурясь, спрашивал себя, должен ли он разубеждать девочку в том, что то, что она говорит, нехорошо. И решив, что должен, делал это, впрочем, очень осторожно. Как-то гуляя вместе с Карцевым и Мазуриным, он рассказал им о словах своей ученицы.

— Барская девчонка, — сухо заметил Мазурин, — иначе и быть не могло. Она дышит офицерским воздухом.

Они дошли до реки. На том берегу стояла фабрика. Густой и широкий шум, подобный морскому прибою, долетал оттуда. Огромные освещенные окна зияли, как оскаленные звериные пасти.

Гудок заревел. В фабричные ворота узкими черными струйками потекли люди. Заступала ночная смена. В другом конце города в казарме заиграл горнист.

— К поверке пора, — сказал Петров.

Солдаты повернули к казарме.

Несколько раз на улице Петров встречал штабс-капитана Тешкина, высокого, сутуловатого человека, с вялыми движениями, всегда небритого и неряшливо одетого. И каждый раз офицер смотрел на него как-то сбоку, по-ястребиному согнув голову, круглыми, желтыми глазами, вшитыми как пуговицы в старую ткань его лица.

Однажды он остановил Петрова и спросил, кривя рот:

— Ну что, вольноопределяющийся?

Петров стоял, не зная, что ответить, и Тешкин попытался сказать яснее:

— Ну что, проход в жизнь существует?

— Служу, ваше благородие, — растерянно ответил Петров.

— Тут улица, неудобно,— сердито сказал офицер.— Можете зайти ко мне, живу рядом.

Он двинулся, сутулясь, шаркая ногами, через плечо посматривая на Петрова, точно опасаясь, что тот убежит от него, и остановился перед низеньким разбитым домиком.

— Берлога, — объяснил он, показывая на дом длинной рукой. — Хотел написать: тут берлога штабс-капитана Тешкина. Не позволили.

Он с каким-то равнодушным презрением посмотрел на дом, на коричневые облезлые его стены.

— Берлога, — медленно повторил он и пообещал: — А что еще внутри увидите. Пойдемте.

Сени были темные, низкие, тесные. Они напоминали отверстие русской печи. Паутина пыльными тряпками свисала с черного потолка. Комната штабс-капитана скошенным окном глядела в садик. Вещи в беспорядке раскинулись повсюду и не на своих местах. Скомканные синие шаровары были брошены на книжную полку, а книги лежали на полу, на кровати, на ржавом подносе. Сапожная щетка, свесившись облезлой щетиной, готова была свалиться с деревянного крюка для полотенца, а полотенце серой бахромкой мело пол, лежа на низенькой, обгоревшей с краю скамеечке. Угловатое лицо Достоевского спокойно смотрело из полутемной ниши, а в переднем углу вместо иконы

висел на белом шнурке офицерский погон, непонятным образом попавший туда.

— Не люблю порядка, — объяснил Тешкин, — казарма получается. Я и денщика не держу. Противно, чтобы кто-нибудь мешал моей жизни.

Неуклюжее его тело двигалось тут легко и свободно, он подходил к этой комнате, как подходит старый ключ к своему ржавому замку.

— Садитесь, — сказал штабс-капитан, — будем беседовать. Вот хочу о разном с вами поговорить.

Он сел на стуле между столом и кроватью, не сходя с места, достал из-под кровати жестяную кастрюльку с табаком, со стола папиросную бумагу и свернул толстую папиросу.

— Я пишу,— сказал Тешкин, глядя вниз,— много пишу я, только мне не разрешают печатать.

— Кто же не разрешает? — спросил Петров.

Он поместился у двери на небольшом полированном ящике, служившем неизвестно для чего.

— Командир полка,— ответил Тешкин.— Командир считает, что это не офицерское дело — писать небылицы.

Он курил огромнейшими затяжками, нечесаная голова его дымилась, и черные клочья усов колебались в дыму, точно их шевелил ветер.

— Вы какого писателя считаете полезным? — спрашивал он.— Какой вашу жизнь ведет?

Он смотрел, наклонясь вперед, с острым, мучительным любопытством, сторожа ответ Петрова.

— Толстого,— нерешительно ответил Петров.

Он был в недоумении, даже в испуге.

«Зачем он позвал меня? — думал он.— Что он хочет от меня? Какой странный человек».

— Ненужный писатель, — торопливо сказал штабс-капитан и длинной рукой прочертил дугу в тусклом воздухе комнаты.— Все, о чем он пишет, бывает в жизни. Разве это интересно?

— По-моему, интересно,— ответил Петров.— Ведь целые эпохи можно изучать по Толстому.

Тешкин брезгливо усмехнулся.

— Ну как же вы не понимаете,— убеждал он, с удивлением смотря на Петрова, и темное лицо его осветилось, точно внутри, где-то в черепе, зажегся розоватый

огонь.— Ведь Достоевский выше Толстого,— это умный, злой, человеческий дьявол. Писатель должен писать так, чтоб была язвительность и острота, чтобы виделись новые, незнакомые перспективы, чтобы была мука искательства и рождений в его страницах. Писатель должен щипать, рвать меня, сосать мою душу, как сосут кальян. Тогда он приносит пользу. Он должен уводить меня из моего болота и клозета — все равно куда.

Он беспокойно шевельнулся, скосился весь набок и из-под стола достал запыленную гравюру. Выпятив нижнюю губу, сдул пыль с гравюры и протянул ее Петрову.

Гравюра была старая, пожелтевшая, покоробленная. На ней был изображен человек с всклокоченными волосами, с изогнутыми кверху мефистофельскими бровями и выпуклыми страшными глазами. Горечь и безумие были в этих глазах, и в широком тонкогубом рте, и в тяжелых складках возле рта.

— Кто это? — спросил Петров.— Какое неприятное лицо!

— Теодор Амедей Гофман,— тихо произнес штабс-капитан, и глубокое чувство послышалось Петрову в его голосе.— Его должны читать все провинциалы, все люди, которым трудно и скучно живется на свете. Полезнейший писатель.

Он встал, наполнив комнату своим большим выпрямившимся телом, и говорил, простирая вперед руки, глухим, подвывающим голосом:

— Фантазия — великий путь из подвала нашей жизни. Мучение, ванна из серной кислоты, омывающая тебя, сдирающая с тебя грязную шкуру. Вот видите эту уличку, эти заборы, этот навоз и лужи? Тут проходит моя жизнь, моя бедная жизнь, и отсюда, не брезгая мною, Амедей Гофман ведет меня чудными путями своей фантазии.

И вдруг, присев к самому полу и вытягивая лицо, Тешкин хихикнул и зашептал:

— Скребет меня что-то, душа у меня в дырьях, в царапинах. Понимаете? Ведь и я ненавидеть могу, как полк ненавижу, как военное дело, как всю эту мишурную сволочь, этих тараканов в мундирах.

Он смотрел жадно и выжидающе, нехорошо усме-

хаясь, облизывая фиолетовым языком узкие тропинки губ.

— Странно, что вы стали офицером,— пробормотал Петров.

— Странно, странно,— передразнил его Тешкин.— Ничего тут нет странного. Надо было куда-нибудь ткнуться. Я ленив. Что мне было делать? Наружность у меня плохая. Несимпатичный я человек. Непривлекательный. Людей не люблю. Работать не люблю. А тут все-таки живешь.

И вдруг, сузив глаза, штабс-капитан наклонился к Петрову и шепнул:

— Сладкий грех еще люблю... С фантазией только.

В дальнейшем он говорил стремительно и бессвязно, как человек истерический, долго не имевший с кем беседовать. Он перескакивал с одного предмета на другой, расспрашивал Петрова, как живут мыслящие люди в больших городах, и вдруг рассказал, какой прекрасный публичный дом он посетил в Москве.

— Лучше театра,— убежденно сказал он,— куда там нашему офицерскому собранию! Очень там все культурно, все вежливы, музыка возвышенная. Шопена там играют.

Он достал из полированного ящика тетрадь, на обложке которой грубо и неумело была нарисована женщина, танцующая со скелетом.

— Тут дневник,— объяснил он,— а между прочим ведутся и иные записи.

Он показал Петрову страницы, где столбики цифр чередовались с кривыми строками. Почерк у штабс-капитана был крупный и неуклюжий, буквы сутулились, и Петров невольно подумал, что этот почерк чем-то походит на самого Тешкина.

— Немного вам почитаю,— просительно сказал Тешкин.— Вот слушайте.

«Утром проснулся рано. Курил. Сморкаясь, на платке обнаружил завязанный узелок и не мог вспомнить, зачем завязал его. Таинственно. Из-за ковра на стену выползли два клопа. Долго их не было,— значит, весна, а я и не заметил, что потеплело. Не знаю, что бы такое выдумать: до-смерти не хочу итти на занятия. Зачем учить мне этих болванов маршировке? Не люблю, ах, не люблю военного дела».

И еще, полистав тетрадь, прочел:

«Занимает меня капитан Вернер. Мне нравится, как он обращается с солдатами. Молодец. Здоров кобель!»

Кто-то сильно постучал с улицы в двери. Шаркающие старушечьи ноги прошли по коридору, послышался громкий мужской смех и женский сюсюкающий голос. Дверь в комнату распахнулась, и появился вольноопределяющийся Сергеев в заломленной фуражке, с перевязанным веревкой пакетом в руках.

— Капитан,— закричал он, и его длинный рот раскрылся как шкатулка,— Иван Андреевич, привет вам и честь!

Он увидел Петрова и всем своим видом изобразил сильнейшее удивление.

— Ах, так,— сказал он,— и вы здесь, ну что же, всякое бывает.

И, визгливо захохотав, повернулся к двери.

— Ну, девуленька,— сюсюкая, попросил он,— ну, идите же, у нас же конфеты, у нас шоколад, у нас ласки, ласки...

И, жеманясь и подплясывая, он за руку вытащил из коридора короткую, совсем молодую девушку с толстым безбровым лицом, с крутыми завитками над низким лбом.

— Прошу, прошу,— закричал Тешкин, шумно дыша.

Они вдвоем подняли девушку и посадили ее на постель. Она тупо смеялась. Глаза у нее были крошечные, сонные. Петров выскользнул из комнаты.

9

Однажды, когда Петров пришел на урок к капитану Васильеву, денщик не пустил его в комнаты.

— Сказали, что сегодня урока не будет,— сказал он, вытирая руки о грязный передник.— У них господа офицеры в гостях.

Петров ушел, обиженный и оскорбленный.

«Брошу урок,— думал он,— так не может продолжаться. Они со мной вежливы до поры до времени, но каждую минуту могут меня цукнуть, показать, что я не должен забывать свое место».

Он не пошел к капитану на следующий день, и денщик, придя в роту за обедом, передал ему записку.

«Уважаемый Александр Петрович,— писала Валентина Сергеевна,—не случилось ли чего-нибудь с вами, не больны ли вы? Алечка сердечно вам кланяется. Будем вас ждать».

Записка была ему приятна. Он продолжал уроки. Его встречали ласково. Как-то после урока Васильев показал ему напечатанные главы из дневника Куропаткина.

— Я не читал, но вряд ли он расскажет там всю правду о японской войне,— сказал Петров.

— Почему же он не расскажет? — спросил Васильев.— Он во всяком случае честно делал то, что ему поручали. Не его вина, что война кончилась для нас неудачно.

— Она и началась неудачно,— сказал Петров.— Ведь это же была голая авантюра, в которую вовлекли страну.

Он сдержался, немного испугавшись своей откровенности. Но капитан горячо напал на него. Увлекшись, он рассказывал об отдельных боевых эпизодах, о храбрости русских солдат, о мужестве офицеров. Его синие глазки светились. Бурые пятнышки румянца проступали на щеках.

— Ведь всему миру известно, что японцы, не объявляя войны, предательски напали на наш флот в Порт-Артуре,— говорил маленький капитан.— Их надо было за это наказать.

Петров иронически поглядывал на него. Неужели и офицер не знает того, что знали многие тысячи людей? Или он — узкий, тупой патриот, который считает, что царская власть ведет Россию к славе и победам?

— Простите,— сказал он,— мы с вами говорим тут частным образом. Разрешите мне высказаться с полной откровенностью.

И капитан растерянно ответил, пощипывая усики:

— Пожалуйста, прошу вас.

Петров почувствовал себя гражданином-изобличителем. Он откроет глаза офицеру, он покажет ему, что это была за война, в которой тот проливал свою кровь, где получил почетный орден Георгия.

Он рассказал Васильеву об Александре Михайловиче Безобразове, хитром авантюристе, связанном с биржей и с великими князьями, статс-секретаре его величества. О разбойничьих его делах на Дальнем Востоке, кото-

рые покрывали царь и великие князья, негласные пайщики прибыльных лесных концессий. О проектах захвата Кореи и Манчжурии, осуществление которых, как хорошо знали высокие авантюристы, не могло не привести к войне с Японией.

— А как мы вели эту войну? — говорил Петров.— Русские генералы ничего не могли сделать, русские интенданты воровали, как всегда. Хотели победить иконами. Оскандалились, осрамились перед целым светом. Самих себя высекли. Недаром же эта война вызвала такое возмущение русского народа и привела к революции.

Васильев встал. Он заложил за спину сухие руки, выпятил грудь и сдвинул каблуки. Получилось смешно, так как ноги были в шароварах, узких внизу, и в войлочных туфлях.

— Это мерзко-с,— сказал капитан, надвигая на синие глазки коричневые гусеницы бровей.— Возмутительная, гадкая клевета-с. Это была война русского народа за веру-с, за царя-с, за отечество-с. Извольте-с, прошу вас, все это запомнить.

Его голос дребезжал черствыми начальственными звуками. И Петров встал, возможно, капельку оробевший, но ощетинившийся, презиравший офицера за его патриотическую узость, за тупые его воззрения.

— Виноват,— задыхаясь, ответил он.— Виноват, то, что я вам передавал, вещи вполне достоверные и исторические. Вы мне позволили высказаться, и я это сделал. Не моя вина, что правда оказалась горькой.

Последняя фраза прозвучала неумно, и он сейчас же пожалел о том, что она у него вырвалась. Васильев смотрел зло и надменно, синее холодное стекло покрыло его глаза. Он отошел в угол, потрогал полку с книгами. Чувствуя неловкость и унижение, Петров хотел уйти, но не решался. Он стоял напряженный и вдруг, отчаянным усилием сорвавшись с места, сказал:

— Честь имею кланяться,— и пошел к двери.

Васильев, не оборачиваясь, кивнул головой.

Валентина Сергеевна вышла, удивленная их громкими голосами. Петрова уже не было. Васильев стоял у окна, нервно барабаня пальцами по стеклу.

— Что случилось, Лодик? — спросила она.— Почему вы так громко разговаривали?

Он, не отвечая, подошел к письменному столу, выдвинул ящик и достал квадратный футляр. На пышном малиновом бархате, блистая золотом и белой эмалью, гордо покоился драгоценный боевой орден.

— Валя,— тихо сказал он, и слеза капнула на нос, покатилась по морщине лица и запуталась в соломенных усиках,— Валя, этот орден дают только за высшую боевую храбрость, за доблести дают его, и может ли быть, чтобы его давали нечистыми руками за поганое дело?

— Что ты, Лодик,— ужасаясь его словам, крикнула она,— разве такое возможно? Я не пойму тебя.

— Может ли быть,— продолжал Васильев, как икону подымая орден,— что честные русские офицеры, идя в бой защищать своего царя и свою родину, проливая свою кровь и жертвуя жизнью без всякого страха,— может ли быть, что на самом деле они только способствовали авантюре кучки людей, действовавших против интересов всего государства?

Она перекрестила его.

— Лодик, ты о страшном говоришь, разве мыслимо что-нибудь подобное? К чему ты все это клонишь?

И капитан, всхлипнув, рассказал ей о своем разговоре с вольноопределяющимся.

— Александр Петрович? — сказала она, в удивлении подымая руки.— Но ведь он такой скромный и воспитанный! Неужели же он сказал тебе все это? Совсем на него не похоже.

— Кто их знает, этих студентов,— сурово ответил капитан. — Они все по натуре бунтовщики, люди без всякой морали. Я не знаю, можно ли ему после этого заниматься с Алечкой.

— Ну, с девочкой он же ни о чем, кроме уроков, не говорит, — быстро возразила она. — Он хороший учитель, и мы совсем дешево ему платим. Где найдешь другого в нашем городе? Пусть занимается. Но какой все-таки ужасный человек! Ты, Лодик, не волнуйся.

А Петров долго не мог заснуть.

«Напрасно я все это ему говорил, — думал он с беспокойством. — Ведь он может мне здорово напортить. Может даже доложить командиру полка. Ах, зачем я не сдержался! Проклятый болтунишка!»

Он заснул поздно. Ему снилось, что он приговорен

к арестантским ротам и закован в кандалы. Кандалы гремят при каждом его движении. Он проснулся. Все вставали, и Самохин с грохотом выдвигал из-под койки сундук.

10

Два воскресенья под ряд Карцева не выпускали со двора. Притворяясь равнодушным, Машков говорил ему:

— Возьмешь воскресенье без отлучки. Справнее другой раз будешь.

Было обидно терять дни, проводить их в душной надоевшей казарме. Карцев с трудом сдерживал себя. Но получив затем от взводного не в очередь два наряда только за то, что у него был искривлен каблук на правом сапоге, он рассвирепел.

— Неправильно дали мне наряды, господин взводный, — угрюмо сказал он, в упор глядя в медное пустое лицо. — Мало ли у кого каблук сбит?

— У кого мало, а у тебя много, — издеваясь, сказал Машков. — Береги казенную обувь.

— Жаловаться на вас буду, — заявил Карцев.

— Не можешь, — радостно засмеялся Машков. — А за то, что не знаешь устава, получишь еще наряд, когда эти отбудешь.

И, подняв палец, торжественно прочел:

— Нельзя жаловаться на строгость взыскания, если начальник не превысил своей власти. Что, съел?

Откинувшись на свою койку и хлопая себя по толстеющему животу, он захохотал хрипло и победно.

Карцев сжимался, зная, что тут надо брать только выдержкой. Жизнь помогла ему овладеть великой наукой: в трудных случаях обходиться без посторонней помощи. У него были хорошие нервы. И он читал в эти дни, он держал себя спокойно и ровно, и со стороны трудно было узнать, что он наказан, раздражен и злится на Машкова.

Но иногда он с любопытством разглядывал Машкова, удивляясь, что этот тупой, ненужный и неприятный ему человек имеет над ним такую власть, является его хозяином.

...Он условился встретиться с Тоней, горничной ко-

мандира полка. Но не может уйти из казармы. Машков запрещает. И Карцев с сердитым удивлением размышлял, почему все это так сложилось, почему всегда выходит так, что приходится подчиняться кому-то чужому и враждебному,— человеку, который злоупотребляет своей властью, и все же ничего нельзя ему сделать. И, лежа на своей койке и беспокойно ворочаясь, он не мог отделаться от совершенно ясного ощущения: ему тесно, ему нехорошо. Так было прежде в Одессе, на фабрике, так и теперь в казарме... Нигде не дают жить.

К нему подошел Черницкий. Лицо у него было серое, вялое.

— Скучно,— сказал он, — идут мои бесполезные дни в этом военном сарае. Я решил уехать.

— Черницкий, — попросил Карцев,— увидишь Тоню, скажи, что я без отлучки. Передай, что очень хочу ее видеть.

Гилель Черницкий лукаво улыбнулся.

— Я ей передам, чтобы пока она занималась мною,— сказал он. — Зачем ей Карцев? — И, засмеявшись, обнял Карцева. — Будет сделано, ваше благородие, — отрапортовал он.

Городской сквер был расположен в конце Московской улицы, недалеко от женского монастыря. По вечерам, когда играл оркестр, солдатам вход в сад был воспрещен. В следующее воскресенье Карцев ждал Тоню под вязом недалеко от калитки. Радостная бодрость охватила его, когда он увидел ее. Но Тоня была сдержанна и грустна. Она рассеянно отвечала ему и часто задумывалась. Карцев рассказывал ей о своих столкновениях со взводным.

И вдруг она заплакала. Кругленькие беленькие слезки прыгали по щекам и падали на сжатые Тонины губы.

Карцев, охваченный жалостью и нежностью к девушке, гладил ее руку и говорил:

— Тонечка, не плачьте, не надо, расскажите лучше по-дружески, в чем дело. Вдвоем легче, чем одному.

Она только качала головой.

— Сейчас все пройдет. Ничего не случилось.

— Вы бы поделились со мной горем, — настаивал

Карцев, — я ведь вижу, что вам трудно. А вдруг помогу? Я по себе знаю — без товарищей плохо.

Он сочувственно сжал ее руку. Она искоса глядела на него и тихо ответила, улыбаясь:

— Какой мне солдат товарищ? Солдат — он без корня. Не знаешь, откуда растет.

Но все же она стала откровенней. Ей надо было рассказать хоть кому-нибудь о том, что душило и мучило ее. Максимов пристает к ней. Тискает ее в углах, вчера приходил ночью. Разорвал на ней рубашку, исцарапал. Она едва спаслась от него. Приходится уходить, а куда? Город маленький, все обо всем знают. Будут спрашивать, почему она ушла от полковника, побоятся ее взять на работу, чтобы с ним не поссориться.

— Старый козел,— говорит Тоня, и зрелая ненависть звучит в ее голосе.— Мучитель, подлый человек. Я знаю, что он людей не жалеет. Для него солдат вроде спички. Чирк — и сгорит спичка. Сколько я наслышалась, как он про японскую войну хвалился, как он роты на смерть посылал. И денщика загонял. Иногда ночью от бессонницы встанет и заставит его сапоги чистить. Любит он начищенные сапоги, у него шесть пар есть. Сидит и смотрит, как денщик чистит. Полюбуется на сапоги, попыхтит и идет к себе.

— Вам надо другое место отыскать,— вслух думает Карцев,— нельзя вам там оставаться. — И помолчав, останавливается и говорит: — Мазурин поможет. Тут у него есть знакомства. Выручим вас, Тоня.

Она недоверчиво улыбается. Какую помощь может оказать ей бедный солдат? Но она благодарна ему за сочувствие и, оглянувшись, берет его под руку и прижимается к нему.

Они за городом. Кривая, как обруч, тропинка ведет к лесу. Толстое облачко зацепило белой, мохнатой лапой за деревья.

— Пора,— говорит Тоня,— меня ведь на три часа отпустили. Побегу.

Хорошо держать ее руку. Хорошо, что она живая, теплая, что она идет рядом, что вообще она существует. И Карцев осторожно обнимает ее и, найдя ее правую руку, переплетает свои пальцы с Тониными. И он

сдерживает горячие слова и шутливо дует на ее волосы. Она смеется.

На другой день Карцев рассказал Мазурину о Тоне.

— Я ее знаю, — ответил Мазурин. — Можно ее устроить на некоторое время у одной моей знакомой. Не видал Черницкого?

— Дежурит на кухне. Пойдем туда.

Они молча идут к кухне. Огромная, пропахшая варевом столовая пуста. Дерево столов мохнатится от скребок, которыми их обычно чистят. Под окном кухни вокруг чугунного чана кружком сидят несколько солдат и чистят картошку.

— Черницкого не видели? — спрашивает Карцев.

Маленький рябой солдат ножом показывает на кухню. Они заглядывают в окно. На широком столе режут мясо. Черницкий в переднике, с закатанными рукавами, помогает повару. Его руки по локоть запачканы кровью. Колесников, взводный унтер-офицер десятой роты, дежурный по кухне, всунул между ними свое костяное лицо. А сбоку в очках Егор Иванович, похожий на врача. Он оттопырил толстые губы и коротким пальцем показывает что-то. Повар кивает головой, Колесников смеется, и фельдфебелю подают длинную полосу мяса. Егор Иванович взвешивает ее на руке, прячет под шинель и уходит. Черницкий оборачивается и кивает приятелям. Через минуту он выходит.

— У него хороший вкус, — весело говорит он, — лучше, чем у рядовых. Он любит филейные части. Кости остаются нам.

— Ты не искал меня? — спрашивает Мазурин.

— Уже, — отвечает Черницкий. И, наклонившись к нему, шепчет: — Из седьмой роты будет Голованов. Это чугун. Он придет еще с одним хорошим парнем. Еще придут Балагин и Шарков. А как завтра?

— Завтра поговорим, — отвечает Мазурин.

— Черницкий, — доносится из кухни визгливый голос Колесникова, — куда ты пропал? — и Гилель, махнув окровавленной рукой, прыгает к двери.

По двору идут Чухрукидзе и Ужогло — беловолосый крупный латыш с синеватым коротким лицом. Глаза, нос и губы тесно зажаты у него между лбом и подбородком. Оба плохо говорят по-русски, но это не ме-

шает их дружбе. Они подолгу молчат, а иногда Чухрукидзе долго и горячо говорит что-то по-грузински. Ужогло внимательно слушает, кивает головой и отвечает по-латышски. Тогда слушает Чухрукидзе, сдвинув брови и покачиваясь. Волосы у него немного отросли и черным мысиком врезаются в коричневый лоб.

Увидев Карцева, Чухрукидзе радостно улыбается и идет к нему. Ужогло медленно движется за ним, как баржа за буксирным катером.

— Туварись, — гордо говорит Чухрукидзе, показывая на Ужогло, и поясняет: — Он говорит, я говорю. Хорошо. Про свою жизнь говорим.

Лицо Ужогло неподвижно. Он очень скрытен, мало кому здесь доверяет. Письма домой он пишет тайком и опускает их в почтовый ящик в другом конце города.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВОКРУГ БЫЛ ГОРОД

I

В семь часов вечера со стороны офицерского собрания, расположенного недалеко от казармы, послышались выстрелы. По улице пробежал капитан Вернер. Он бежал так быстро, что рыжая борода прижалась к мундиру. Выстрелы продолжались, и через несколько минут к офицерскому собранию примчались пожарные. Опираясь на палку, прошел полковник Максимов с адъютантом Денисовым. Беглым шагом промаршировал караул с винтовками наперевес. Кто-то долго кричал, и вдруг зашипели твердые, как сталь, струи воды, направленные в окно верхней комнаты собрания. Из рот прибегали солдаты. Пока был отдан приказ никого не выпускать, их набралось около пятидесяти человек. В углу двора, укрытом сарайчиком от верхнего окна, собрались офицеры. Некоторые держали в руках револьверы. Принесли носилки, и санитары кого-то потащили в лазарет. Помощник буфетчика, нестроевой солдат Шлыня, бледный от испуга, рассказывал окружившим его солдатам:

— Это Артемов из третьей роты. Он в передней прислуживал господам офицерам. Вторую неделю как всего из роты. И вот снимает он пальто с капитана Вернера, и тот ему говорит: «Думаешь, что здесь от меня спасешься? Врешь, я тебя завтра же в роту вытребую, тогда узнаешь», — и рукой его за лицо сгреб и на стену... И только он в столовую проходит — слышим выстрел и видим, что Артемов палит в Вернера-капитана, а тот бежит. Прыгает через ступеньки и прямо на улицу. — И засмеявшись — смех неестественно скривил бледное лицо — Шлыня добавил: — Здорово бежал, как олень, ей-богу...

На крышу сарайчика по лесенке взобрался поручик Жогин. Он согнулся, выставив толстые ляжки, ему

подали винтовку, и он, прицелившись, выстрелил в окно. Из окна послышался ответный выстрел, и Жогин скатился вниз.

— Слава богу, кажется, цел,— говорил он, ощупывая себя.— Ах, хам, ах, мерзавец!

В солдатской толпе росло возбуждение.

— Домучили до конца, — нервно подергивая плечами, говорил Сухарев, солдат третьей роты. — Разве вы Вернера-капитана не знаете? Жалко, что Артемов его не убил. Скольких он еще в роте замучит.

Его внимательно слушали. Почти все были недовольны тяжелой службой и начальством, но активно выражали свое недовольство только немногие, а открыто выступали лишь одиночки. И вот такое выступление стало фактом. Солдат решается на него, когда нет другого выхода, когда его довели до крайности. И именно так поняли выстрел Артемова солдаты.

Толстый поручик Жогин осторожно высунул голову из-за стены сарайчика и, сложив у рта ладони, крикнул:

— Артемов, сдавайся, а то хуже будет. Выходи, я тебе приказываю.

Тогда в верхнем окне показался Артемов. Багровая царапина просекала его правую щеку. Он был без фуражки, ворот гимнастерки был расстегнут. Он поднял револьвер, и офицеры бросились под прикрытие. Солдаты стояли открыто. Очевидно, никто из них не подумал, что Артемов может в них стрелять. Не прячась, стоял и караул с винтовками у ноги.

— Братцы, — высоким голосом закричал Артемов,— погубили меня, довели до смертного исступления. Себя не жалко, вас жалко, братцы, что вы на страдания остаетесь. И еще жалею, что Вернера-капитана не убил.

Он вскочил на подоконник. Окно было низкое, согнутая голова Артемова упиралась в верх окна, дыхание с хрипом и свистом вырывалось из его рта.

— Одного убил, пожарного, как будто, сам он на меня лез, не звал я его,— продолжал Артемов,— а теперь вас, братцы, заставят меня брать...

— Стреляй в него,— пронзительно крикнул поручик Жогин,— стреляй. По преступнику пальба взводом. Взвод...

Но караульные не поднимали винтовок.

— Выйди, выйди,— презрительно сказал Артемов.— Нагулял задницу и прячешься. Погоди, получишь свое...

Жогин выскочил и сейчас же бросился назад, увидав, как дернулся револьвер в руке Артемова. Но, не добежав до прикрытия, он запнулся о кочку и упал, ударившись животом о землю. И лежа, поднял к окну синее мертвое лицо и издал низкий утробный звук, как бы в предчувствии смерти.

— Боишься,— равнодушно сказал Артемов.— Твое счастье, офицер, что последняя пуля осталась, для себя берегу... Живым я тебе не дамся.

Он стал на колени, низко поклонился солдатам и крикнул сквозь плач:

— Братцы, прощайте, не хочу я, чтобы вы по офицерскому приказанию в меня стреляли. Помните Артемова.

Он перекрестился, поднял черное дуло.

Глухой крик прошел внизу. Тело Артемова поползло вниз, свесилось головой. Полковник Максимов вышел вперед. Он снял очки, как будто гримировавшие его, и лицо его стало похоже на морду старой жирной собаки.

— Кроме караульных, всем разойтись,— заревел Максимов.— Господ офицеров прошу ко мне.

И, хромая, прошел в офицерское собрание.

Об этом случае много говорили в полку. Капитан Вернер после разговора с командиром полка был отправлен в месячную командировку. Офицеры первое время держались сдержанно, не придирались, как обычно, к солдатам. И по ротам, по разным закоулкам, в эти дни происходило самотеком много солдатских сходок и собраний. Сойдутся два человека, заговорят — и сейчас же разговор перейдет на Артемова. Услышав это имя, к ним подходит третий, четвертый, и разговор становился общим.

Карцев был очень возбужден в эти дни. Ему, как и многим солдатам, казалось, что случай с Артемовым имеет большое значение, и невозможно, чтобы после того, что произошло, все оставалось по-старому. Когда вечером после ужина они собрались в уголке двора, под тем навесом, где Черницкий говорил с Мишканисом накануне его побега,— Карцев, Черницкий,

Мазурин, Петров и еще несколько человек,—и разговор зашел об Артемове, Карцев сказал, не в силах сдержать горячей досады:

— Упустили, ей-богу, упустили! И чего только караульные молчали! Выстрелили бы они в Жогина, в других офицеров, разбежались бы мы все по ротам, расхватали бы винтовки, достали бы патроны в ротных цейхгаузах и овладели бы городом. Подняли бы фабрику, вооружили рабочих и связались с другими городами. Неужели нельзя было использовать такой горячий момент?

Качая головой и сжимая руки, он повторял:

— Ах, как жалко, как здорово жалко.

— Мы бы их били,— свирепо заговорил Черницкий.— Кто знает, что могло получиться? Ведь в казармах после царской выучки не бывает ангелов. Я — не ученый человек, но я понимаю, что если из клеток выпустить всю кучу зверей, которых укрощали кнутами и выстрелами, так они прежде всего бросятся на своих укротителей, и кишки будут летать по воздуху.

Спор разгорался.

— Вы все это очень хорошо расписываете, как началось бы выступление, как стреляли бы в офицеров солдаты,— спокойно и не спеша вступил в спор Мазурин,— забываете только пустячок. Пока все кипело бы да все были озлоблены, дело бы еще как-нибудь шло, а прошел бы первый порыв, и все пошло бы прахом. Весь полк поднять бы не удалось, слабые и трусы отступили бы первые, а остальных похватали бы как кур. Нет, надо такие дела крепче и сильнее подготовлять. Не в один день они делаются.

На фабрике провыла сирена. И один за другим будящие тревогу гудки ворвались в вечер, колебля, расшатывая воздух над казармой, над всем городом.

По двору торопливо прошел дежурный по полку, поручик Западный, желтолицый, всегда раздраженный человек, при шашке и револьвере. За ним немного позади рысил подпрапорщик с медвежьим лицом.

— Загоняй всех,— сердито говорил Западный.— Отдай сейчас же распоряжение по всем ротам. Понял?

— Так точно,— ответил подпрапорщик.— Загоню всех.

И он побежал, водя по сторонам узким лицом, подпрыгивая, как галка.

2

На улицах, в ротах на занятиях Петров видел то, что называлось полком, — две тысячи человек, собранных здесь со всех концов России. Он разговаривал с десятками людей, наблюдал сотни из них, внешне как будто одинаковых, но на самом деле глубоко отличающихся один от другого, и иногда с удивлением спрашивал себя, все ли они так подогнаны под одну мерку, все ли так вымуштрованы и обезличены, что для определения каждого из них достаточно одного слова — солдат.

И видел, что это не так. Видел, что даже тут, в казарме, сдавленные одним прессом и одинаково одетые, они все же бесконечно, тысячами мельчайших признаков отличались друг от друга, жили разной жизнью, разными интересами и мыслями.

Близко держались земляки — крестьяне из одной деревни или волости. Но не всегда. Богатый Павлов не делился ни деньгами, ни продуктами со своим односельчанином Самохиным, он мало водился с ним, да и жилось ему гораздо легче, чем Самохину. В десятой роте пропадал от тяжелой солдатской жизни Чухрукидзе, а в пятой роте его земляк и соплеменник, вольноопределяющийся князь Яшвили, жил превосходно, ночевал на собственной квартире и, по особому разрешению командира полка, обедал в офицерском собрании.

Значит, признак землячества или национальный признак не всегда были поводами для сближения. Чаще солдаты сходились по иным признакам — по общим интересам, по одинаковости положения, по сходным профессиям.

У Загибина почти не было друзей среди солдат. Он вязался к начальству, к взводным, к каптенармусу, захаживал даже к фельдфебелю, заискивал перед вольноопределяющимся Сергеевым. Гилель Черницкий не водился с Кофманом, сыном богатого галантерейщика, своим земляком.

— Мы же из разных районов,— едко говорил он.—

Я с Подола, а он с Крещатика. Он меня не звал к себе в Киеве, так я его не позову к себе в казарме.

Пока полк жил обычной, будничной жизнью, без особых сдвигов и потрясений, различие между солдатами не так резко бросалось в глаза,— оно сглаживалось казармой и внешне одинаковыми условиями их жизни. Но если происходило что-нибудь нарушающее налаженный порядок,— размеренный строй заклепанного в железные рамки дня,— тогда обнаруживалось, что полк, две тысячи людей,— это разнородная масса, совсем не одинаково мыслящая, живущая противоположными интересами, остро сталкивающимися между собой, как сталкивались они и тогда, когда солдаты были штатскими людьми, представителями различных классов и разных социальных групп.

И когда сборный отряд был послан против бастующих рабочих, одни остались совершенно равнодушными, другие были недовольны, смутно сочувствуя рабочим, третьи, хорошо понимая, на какое позорное дело их посылают, все же не знали, как помочь себе и рабочим. И, наконец, совсем немногие — отдельные единицы — понимали, в чем может быть выход.

И когда Артемов стрелял в капитана Вернера, его поступок, взволновавший солдатскую массу, все же вызвал в ней самые противоречивые толки. Это была попытка к бунту, возмущение против жестокого, почти тюремного строя, созданного в казарме, и именно так поняла артемовский выстрел большая часть солдат. Другие жалели, что выстрел Артемова остался одиноким, не вызвал массовых солдатских выступлений. Были и такие, которые никак не отозвались на выступление Артемова. Это были самые темные, самые подавленные и неразвитые обитатели казармы, крестьяне из далеких, глухих и бедных деревень. Но и этих учила солдатская жизнь — суровой, жестокой наукой. Молча приглядывались они к тому, что делалось вокруг, глухие сдвиги созревали в них.

Но как ни сурова и ни точна была военная дисциплина, весь хорошо продуманный строй солдатской жизни, конечный смысл которого заключался в том, чтобы герметически изолировать солдат от всех вредных влияний «вольной» жизни, — это не могло быть целиком осуществлено по целому ряду причин.

Это не могло удастся уже потому, что в казарму приходили на службу живые люди, вырванные из определенной среды и принесшие сюда обычаи, навыки и убеждения этой среды.

Нельзя было сормовского или путиловского рабочего, или ткача с Прохоровки или из Иваново-Вознесенска забить и обезличить так, чтобы он стал подобен вятскому или смоленскому крестьянину. И нельзя было даже щеголя вольноопределяющегося Сергеева сравнить с плебеем вольноопределяющимся Петровым. Первый считал правильным и поддерживал существующий порядок и не желал никаких перемен, а второй думал, что в нем многое надо изменить.

3

Карцев узнал от Мазурина, что на троицу предполагается массовка за городом, где будут солдаты и рабочие. Мазурин спросил его, кого бы он мог пригласить из своей роты. Карцев после долгого раздумья назвал Петрова, Черницкого, Кобылкина, Чухрукидзе и еще несколько имен. Мазурин через Черницкого знал, кого можно пригласить из десятой роты на массовку, и хотел лишь проверить, правильно ли он осведомлен. Он мало знал Кобылкина и в тот же день как бы случайно поговорил с ним.

Разговор зашел об Артемове, потом перешел на другие темы, вызванные артемовским выстрелом, и Кобылкин рассказал, как в пятом году, когда ему было пятнадцать лет, они ходили всей деревней жечь помещика, отставного гвардейского поручика.

— Судился он с нами много,— говорил Кобылкин,— притеснял нас. Оттягал половину наших лугов. Тут ему, конечно, все припомнили. Выскочил он к нам в мундире, с двумя револьверами, и заорал: «Именем государя императора приказываю вам разойтись». Ну, конечно, над ним посмеялись, некогда нам было о царе думать, и порешили поручика.

И укоризненно добавил:

— А Артемов не смог. Один в поле не воин. Тут всем миром надо бы навалиться. Вот оно что.

Карцев в эти дни по-новому подходил к своим то

варищам. Он всматривался в каждого из них и пробовал заводить с ними разговоры. Он говорил и с Шарковым, молчаливым, неуклюжим человеком с вечно заспанным лицом и длинными руками.

Щеки и нос Шаркова были покрыты синими точечками, и когда Карцев спросил, отчего это у него, он ответил тягучим голосом:

— Уголь.

Он был шахтером из Горловки и всегда ходил, согнув спину, как привык ходить в низких штреках. Он казался нелюдимом, и Карцев за все время едва два-три раза разговаривал с ним. Он считал его апатичным, ничем не интересующимся человеком и только позже по-настоящему узнал, что это за парень.

— Ты меня не учи,— чуть усмехаясь тонкими синими губами, посоветовал Шарков Карцеву. — Мы, шахтеры,— меченые. Фасону у нас никакого нет, а на дело мы злые. После такой жизни у нас в груди не сердце, а уголь: сгорает от горя сердце.

Видел Карцев и Орлинского, страдавшего в третьей роте. Обрубленные с висков сиреневые глаза Орлинского глядели подавленно, он как-то завял и плохо отзывался о своих товарищах по роте.

— Там не с кем разговаривать,— раздраженно говорил он. — Ужасно неразвитые люди. И если попробуешь их вызвать на откровенность, они смотрят, как буйволы, икают и идут спать. Быдло.

Его слова удивили Карцева. Орлинского он узнал еще на сборном пункте у воинского начальника, и тот запомнился ему таким, каким показался при первой встрече,— умный, знающий, с правильным взглядом на вещи человек.

— Люди же даром не даются, — ответил Карцев. — Люди — как болванка на станке, их надо обточить. А народ у нас живой, хороший у нас народ. И понимает и чувствует больше, чем иному кажется.

— Не всякую болванку можно обточить, — недовольно сказал Орлинский. — Я лучше вашего разбираюсь в этих вещах, можете мне поверить. Бывает брак, с которым не стоит работать.

Но Карцев не поверил ему. Он не любил и не понимал брюзжащих людей, которые авторитетно говорят

о вещах, не до конца ими испытанных и проверенных. Неужели в третьей роте, где так ненавидели Вернера, не было хоть нескольких человек, с которыми стоило бы хорошенько побеседовать? Ведь там было много недовольных, и скольких из них каторжная жизнь подготовила к тому, чтобы создать из них крепких, разбирающихся во многих событиях людей.

После занятий Карцев взял увольнительную записку и во дворе встретился с Мазуриным. Они вышли на широкую Губернаторскую улицу, через мост ведущую к фабрике. Улица текла, как река. Побережье тротуаров кипело людьми. На фабрику с вокзала везли тугие кипы хлопка, и возчики гикали и ругались, подгоняя лошадей. Рабочий в синем картузе внимательно посмотрел на Мазурина, но не поклонился ему. Мазурин, оглянувшись, кивнул ему головой. Перейдя мост и обогнув фабрику, они вышли в переулок. Одноэтажные домики стояли прочно, как могилы, на досках кривыми буквами были написаны имена и фамилии владельцев, их звания и чины, так же, как это делается на могильных памятниках. Куры рылись в грязи, никогда не просыхавшей здесь. Поперек улицы спал старик в лохматой ободранной одежде, из которой вылезало темное, как копченый окорок, тело, и никто не обращал на него внимания.

Мазурин достал кисет и, не останавливаясь, стал завертывать «собачью ножку». Они уже подходили к концу переулка, когда из ворот зеленого, с резьбой по фронтону домика вышел офицер. Мазурин быстро разжал пальцы, папироса упала на землю, и оба солдата приложили руки к фуражкам.

— Сволочи, — спокойно сказал офицер, — ни на секунду с вас нельзя спускать глаз.

И он подошел к тому месту, где Мазурин бросил папиросу, и наклонился. Синий дымок предательски вился вверх.

— Почему курил на улице? — спросил он.

— Виноват, — ответил Мазурин.

— Доложить ротному командиру, — сказал офицер.

Он стоял перед ними, покачиваясь на толстых ногах, пухлый, с красными чувственными губами, с черными рожками усов. Карцев узнал поручика Юковского,

офицера, заведывавшего полковой лавкой и библиотекой. Его знал весь полк. Солдаты не любили его, офицеры сторонились. Чугуевский юнкер, ленивый и неспособный человек, он не годился для строя и вот уже второй год сидел на своей малопочетной должности. У него было белое глинистое лицо, отекшее книзу, и равнодушные глаза наевшегося кота.

— Марш! — скомандовал Юковский. — Я проверю, доложил ли ты ротному командиру.

Несколько шагов они шли молча.

— Всегда на что-нибудь нехорошее наступишь,— хмуро сказал Мазурин. — Не убережешься.

Над переулком, шумя крыльями, пролетела стая белых голубей. На крыше серого домика показался пожилой человек. Он задрал голову и стал размахивать шестом с повязанной на нем белой тряпкой. Мазурин остановился.

— Хорошо,— мечтательно улыбаясь, сказал он.— Я мальчишкой любил гонять голубей.

И добавил завистливо:

— Я и сейчас бы их погонял.

Они свернули в узенькую улицу. Мазурин незаметно, но внимательно смотрел кругом и, взяв Карцева за руку, повернул его назад, и они быстро вошли в ворота, мимо которых уже проходили. Обитые потрескавшейся клеенкой двери были открыты. Из стоявшего в углу корыта сочилась голубая, мыльная вода. Вторая дверь была закрыта.

Мазурин постучал. Старуха в коричневом платке впустила их.

— Здравствуй, мать,— сказал Мазурин.— Семен Иванович дома?

Старуха молча показала желтым пальцем на угол. Мазурин, кивнув головой, как человек, знакомый с домом, шагнул туда. В углу, обитая теми же обоями, что и стена, была узкая незаметная дверь. Мазурин открыл ее, и они попали в квадратную комнату с окном-фонарем в потолке. За столом сидели двое: старик в блузе и в стальных очках, с острой щетинистой бородкой, и молодая девушка в черном платке с красивым, мягкого рисунка лицом. Она курила.

Карцева поразило выражение ясного спокойствия,

которое было не только в ее лице, но и во всех ее движениях.

— Здравствуй, Семен Иванович,— сказал Мазурин.— Как дела?

Старик молча кивнул головой. Взгляд его скользнул по Карцеву и сейчас же перешел на Мазурина, как будто его совершенно не интересовало, почему сюда пришел Карцев. Он наклонился к Мазурину, и они вполголоса обменялись фразами. Последние слова Семен Иванович произнес довольно громко.

— Нет, Сергей (Карцев подумал, что Мазурина звали Алексеем), все это мы сделали. Литература на вокзале. Завтра мы ее получим.

Девушка потушила о пепельницу папиросу.

— Я получу багаж сегодня,— сказала она с тем же выражением ясного спокойствия, которое было, очевидно, характерно для нее.— Нельзя оставлять его там до завтра.

Старик беспокойно зашевелился. Его живые глаза смотрели на девушку.

— Стоит ли тебе итти, Соня? — сердито сказал он.— Я Марфушку пошлю.

Соня покачала головой.

— Лучше я. Нет как будто опасности.

Семен Иванович посмотрел на Мазурина.

— Если можно, я сделаю,— сказал Карцев.

— Тебе нельзя,— в колебании ответил Мазурин.— Можешь сразу засыпаться.

Соня выпила залпом стакан чая.

— Через час буду обратно,— объявила она, вставая.

— Погоди,— сказал Мазурин.— Уже темнеет. Пока получишь багаж, будет совсем темно. Карцев может ждать тебя в переулке возле вокзала. Только в вокзал пусть не входит. Дай ему пиджак, Семен Иванович, а мы пока поговорим.

Рабочему, видно, понравилось предложение Мазурина. Он молча достал из шкафа длинный пиджак и картуз.

— Ты не думай, что я тебя не знаю,— сказал он Карцеву. — Я тебя, парень, давно знаю.

Карцев благодарно ему улыбнулся. Хорошо, что старик его знал, значит, Мазурин рассказал о нем.

— Не выходи на свет,— учил его Мазурин.— Если с Соней что-нибудь случится там, не горячись, не лезь на помощь. Сам пропадешь, а ее не выручишь. Приходи сюда. Запомнил адрес? Постучи три раза.

Они вышли. Соня задержалась в воротах.

— Я пойду вперед,— сказала она,— вы идите сзади в десяти шагах. Я думаю, что все будет в порядке. Когда я выйду с багажом, сразу не подходите ко мне. Подойдите, когда я кивну головой.

Она шла по улице неторопливо, с выражением самого беззаботного спокойствия. На Карцева ни разу не обернулась. И только входя в вокзал, рассеянно повернула голову, вобрав равнодушным взглядом оставшуюся по ту сторону вокзальной площади высокую фигуру Карцева.

Он стоял в темноте, небрежно надвинув картуз, скрытый выступом забора. Сзади был пустырь, заваленный разным мусором, и он подумал, что через пустырь в случае нужды можно будет уйти.

Карцев был терпелив. Но все же ожидание показалось ему долгим. Он решил, что будет ждать еще полчаса, а потом войдет в вокзал. И сейчас же в освещенном входе вокзала возникла большая фигура станционного жандарма.

Жандарм постоял у двери, оглядывая площадь, и Карцев отступил за забор, хотя жандарм не мог его видеть. Потом показалась Соня с чемоданчиком в руке и что-то спросила у жандарма. Он ответил ей, и она, кивнув головой, медленно спустилась по ступенькам. Жандарм глядел, пока она шла по площади, и ушел в вокзал. Соня не ускоряла шагов, она переложила чемодан в другую руку и прошла мимо Карцева. Тогда человек, лениво вышедший из-за угла, посмотрел на Соню и, перейдя на другую сторону, неторопливо зашагал в одном с нею направлении. Карцев заметил его и мучительно решал два вопроса. Следит ли человек за Соней, и знает ли об этом Соня? Она вела себя безмятежно. Останавливалась, перекладывала чемодан из руки в руку, но когда подымала его, становилась так, что могла видеть улицу сзади себя. И, дойдя до угла, пошла в противоположную от нужного ей дома сторону.

Человек, шедший сзади, пройдя немного вперед, тоже изменил направление и пошел за Соней. Теперь он держался осторожнее, заходил в ворота и увеличил расстояние между собой и Соней.

«Его надо задержать,— волнуясь, подумал Карцев, весь напрягаясь и стискивая руки,— но как это сделать?»

Нельзя было подымать шума, надо было действовать обходными путями. Он пошел быстрее, пьяным голосом запел песню. И, нагнав человека, засмеялся и расставил руки.

— Коля,— забормотал он,— милый мой друг, пойдем выпьем.

— Пошел, пошел,— сердито сказал человек (он был в куцей тройке и в черной косоворотке с белыми пуговицами),— ты у меня выпьешь.

— Н-ну, и пойду,— ответил Карцев и, покачнувшись, упал к ногам человека в тройке, охватив его колени.

— Ах, сволочь! — заревел человек, вырываясь, и сильно ударил Карцева по голове.

Карцев вскочил. Человек сунул руку в карман. Вокруг было темно и безлюдно. И тогда, откинувшись и бешено выбросив кулак, Карцев ударил человека в солнечное сплетение,— удар, которому его научили в одесском порту. И, взглянув на черную, без крика осевшую фигуру, ушел беглым шагом.

Соня была уже дома. Она спокойно курила и улыбнулась Карцеву.

— Вы видели, что за вами следили? — спросил Карцев.

Она кивнула головой.

— Я думала, что вы его запутаете,— сказала она.

Он рассказал, как все было.

Семен Иванович строго посмотрел на него.

— А если бы попался? — сказал он.— Где можно без риску, рисковать нельзя.

— Я все обдумал,— ответил Карцев.— Ей с чемоданом трудно было уйти.

— Хвалю,— так же строго проговорил Семен Иванович, и теплые лучики заскакали в его глазах.— Но только не зарывайся. Получишь литературу. Мазурин тебе обо всем расскажет.

И Карцев с гордостью принял свои первые листки. Он надел гимнастерку, и они с Мазуриным пошли в казарму.

Соня спала, сидя за столом, положив голову на руки.

4

Про речку Гуслянку в городе шутили, что она семь лет течет и семь лет стоит на месте. И в самом деле, речка была мелкая, тихая, противная. Возле фабрики она была загрязнена отходами с фабрики, радужные нефтяные пятна покрывали воду и по деревянной четырехугольной трубе из промывочного цеха весь день в реку стекала густая вонючая жидкость. В воскресные дни солдаты часто ходили гулять в рощу за рекой и там встречались с фабричными рабочими и работницами. Рабочие охотно общались с солдатами, и часто наряду с шутками, играми и ухаживаниями за девушками тут велись и разговоры о жизни на фабрике и в казарме. Среди рабочих было немало запасных, уже отслуживших свой срок действительной службы, и они сочувственно спрашивали солдат о том, как им служится, и жаловались им на свою скверную жизнь, на тяжелую работу, на ничтожный заработок и на суровость фабричной администрации, штрафовавшей рабочих на каждом шагу.

После волнений на фабрике полиция строго следила за тем, чтобы рабочие не встречались и не беседовали с солдатами, и об этом же секретным приказом по полку было объявлено офицерам и фельдфебелям, но солдаты все же продолжали ходить в рощу за рекой. Тогда на мосту поставили городового, но солдаты научились обходить его и переходили речку вброд на версту выше моста. Там, пройдя лужок, они попадали в негустой лиственный лес, в глубине которого находилась овражистая поляна, где когда-то добывали известняк, называвшаяся «Белой Ямой». От прежнего производства здесь остались глубокие и широкие овраги, служившие хорошими убежищами для сборищ, тем более, что вся поляна густо заросла травой, кустами и молодыми березками.

В прошлом году в Белой Яме нашли убитого неизвестно кем стражника, и с тех пор полиция неохотно

сюда заглядывала. Тут в ближайшее воскресенье была назначена большая солдатско-рабочая массовка. Полк уходил в лагери, и многие солдаты в это воскресенье как бы прощались со своими знакомыми. Было условлено, что те солдаты, которые знали о массовке, постараются позвать с собой побольше товарищей из числа тех, кому они доверяли, не говоря им, что прогулка имеет какую-нибудь специальную цель.

Карцев едва не лишился возможности выйти в это воскресенье из казармы. Машков, как обычно, придравшись к нему, сказал, притворяясь равнодушным:

— Возьмешь воскресенье без отлучки.

— Господин взводный,— угрюмо сказал Карцев, давя в себе бешенство,— нельзя ли перенести, ко мне в воскресенье из Москвы приезжает брат.

— Нельзя,— промычал Машков. И, взглянув на чистую, ладную одежду Карцева, злорадно добавил: — Впрочем можно. Ежели хочешь, пойдешь взамен завтра чистить уборные.

— Слушаю,— ответил Карцев.— Пойду чистить уборные.

Чистка уборных была грязная, отвратительная работа, которую ненавидели все солдаты. Уборные были старые, насквозь прогнившие, построенные из дерева. Доски позеленели и были осклизлы, как разложившиеся трупы. Невыносимая вонь исходила от них. И Карцев молча, обвязав рот платком, два часа работал там.

Закончив работу, кашляя и задыхаясь, он выскочил из уборной. В сенях у умывальника он скинул одежду и вымылся. Дневальный, зевая, смотрел на него.

— Давно не были в бане,— лениво вспомнил он.

Наружная дверь чуть приоткрылась. Старый крестьянин в лаптях, с мешком за плечами, боком протискался в дверь. Он снял шапку и низко поклонился дневальному.

— Куда, куда, старый чорт! — сердито закричал дневальный.— Нельзя тебе сюда. Пошел, говорю, пошел.

— Сынок, господин рядовой,— торопливо сказал крестьянин, отступая к двери,— я по родному делу... Сын у меня тут служит, Вася Рогожин... ей-богу... Мы сами тоже служили, при его величестве Ляксандре...

Пусти, господин рядовой. Беда у нас в деревне случилась. С бедой приехали мы.

— Нельзя тебя в казарму пускать,— сказал дневальный.— К нам вольные люди не ходют. Иди, иди отсюда.

— А ты оставь его здесь,— посоветовал Карцев.— Я кликну Рогожина. Нельзя же так.

Дневальный нерешительно поглядел на него. Карцев побежал в казарму. Когда они вернулись вместе с Рогожиным, крестьянин, сняв мешок, сидел на корточках, испуганно посматривая вокруг, сжимая в руках шапку.

— Вася, сын родной,— сказал он, проворно вставая, и, рукой отводя бороду, трижды поцеловал солдата.— Вот ты какой за два года стал.

И он всхлипнул, шапкой вытирая лицо.

Они отошли к окну, оживленно разговаривая.

— Усадить негде,— смущенно сказал Рогожин, жадно оглядывая отца.— Не знаю уж, как быть... Ну, как там у нас живут?

Отец не успел ответить ему. Наружная дверь отворилась, и вошел старший унтер-офицер Колесников. Он посмотрел на крестьянина, и его сухое костистое лицо зажглось негодованием.

— Кто позволил? — закричал он.— Какое безобразие! Вон, лапотник! Марш отсюда!

Рогожин подошел к нему с рукой у козырька.

— Отец это мой, господин взводный,— тихо сказал он.— Разрешите поговорить.

— Иди, иди,— точно не замечая Рогожина, кричал Колесников, толкая старика.— Тоже гость появился.

Крестьянин поспешно и покорно шел к двери. Шапку он держал в руках. Мучительно краснея, Рогожин попросил у взводного разрешения выйти во двор поговорить с отцом.

— По команде надо,— ответил Колесников.— Службы не знаешь. Доложись отделенному. Пускай разрешит тебе ко мне обратиться.

И он важно проследовал в казарму.

Весь это день Рогожин ходил согнутый и печальный. После долгих и унизительных просьб он добился разрешения непосредственно обратиться к ротному командиру. До этого взводный и фельдфебель вымотали

у него душу, так как младшее ротное начальство не любило, чтобы солдаты разговаривали со старшими командирами.

Капитан Васильев с удивлением посмотрел на подошедшего к нему Рогожина: солдаты не часто обращались к нему — за всю свою службу некоторые всего по два или три раза беседовали с ротным командиром.

— Ваше высокоблагородие,— давясь от волнения, сказал Рогожин, вытянувшись и подобрав живот,— помогите, ради христа. Пропадает семья, все хозяйство пропадает. Погорели мы, ваше высокоблагородие, а лесу нет, строиться нечем. Может, написали бы, чтобы помощь какую оказали, отсрочку бы отцу на подать дали...

Он глотнул задушенный голос, глотнул слезы.

— Отец приехал,— почти неслышно сказал Рогожин,— иди, говорит, к командиру, ведь ты, говорит, царю служишь, проси помощи у них, больше не у кого просить.

И подняв набухшие, красные от напряжения глаза, солдат закончил:

— Допустите, ваше высокоблагородие, отца, просить вас тоже хочет.

Капитан смущенно дергал соломенные усики.

— Вот что, голубчик,— ласково сказал он, вздыхая.— Я, конечно, очень и очень сочувствую твоему горю и рад бы тебе помочь. Но что я могу сделать? Средств у нас никаких на помощь нет, написать я никому не могу — скажут еще, что мешаюсь не в свое дело, так как там у вас свое начальство этим ведает... Ну, посуди сам, братец, чем я могу тебе помочь?

И торопливо достав из кармана трехрублевку, Васильев сунул ее Рогожину.

— Вот,— сказал он,— передай отцу. А говорить мне с ним незачем. Что я ему скажу?

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие,— тихо сказал солдат.

5

Полковой адъютант докладывал командиру полка очередные дела. Полковник Максимов читал бумаги, кивал головой, выслушивал объяснения Денисова

и, подписав, возвращал бумаги адъютанту. На одной бумаге он задержался.

— Почему не хочет?— сердито спросил он и снял очки. И, как всегда, очки, как бы гримировавшие его, открыли лицо, похожее на морду старой жирной собаки.

Денисов бегло заглянул в бумагу.

— Рапорт командира одиннадцатой роты, — доложил он. — Сообщается, что рядовой той же роты Грибовский, назначенный в денщики к поручику Зайцеву, по неизвестным причинам просит его в денщики не назначать.

— Почему не хочет итти в денщики?— раздраженно повторил Максимов.— Как может нижний чин отказываться от чести служить своему офицеру?

И, надев очки, Максимов приказал немедленно привести рядового Грибовского. Пока он рассматривал другие бумаги, Грибовский, доставленный ординарцем, уже дожидался в коридоре. В другом конце коридора у полкового денежного ящика неподвижно стоял часовой и смотрел перед собой застывшими глазами. Старший писарь доложил адъютанту о Грибовском; адъютант вышел в коридор и, внимательно осмотрев Грибовского, приказал ему поправить гимнастерку и повел его к командиру полка.

Максимов тяжело сидел на своем кресле.

— Ах, вот ты какой,— грозно закричал он, так оглядывая Грибовского, как будто его вид объяснил ему, почему солдат не хочет итти в денщики.— Так скажи, скажи, голубчик, отчего ты такой гордый, что не хочешь послужить своему офицеру?

Он шумно отодвинулся от стола вместе с креслом, встал и налезал на солдата, как налезает медведь на рассердившую его собачонку. Грибовский стоял, вытянувшись, невысокий, беловолосый (фуражку ему велели снять в коридоре), с тихим невыразительным лицом. Мягкие волосы нерешительно вились на его подбородке.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие,—негромко ответил он.

Максимов, заложив руки в карманы, обходил его кругом.

— Пахнет от него скверно,— с отвращением сказал

полковник Денисову и, повернувшись к солдату, спросил:— Что это от тебя так несет?

— Чистил сегодня уборные,— покраснев, ответил Грибовский.

— Так почему же ты, дурак, не хочешь итти в денщики? Там же работа чище?

Лицо солдата выразило усилие.

— Не соответствую услужению,— с трудом сказал он.— Разрешите остаться в строю, ваше высокоблагородие.

Он поднял голову, и на секунду командир полка увидел твердые, решительные глаза, не опустившиеся перед его взглядом.

— Уберите его,— сердито приказал он.

И, глядя вслед неожиданно быстро и легко сделавшему поворот через левое плечо и уходившему солдату, угрюмо добавил:

— Не разберешь их, сволочей, какие у них там мысли копошатся... Передайте в роту, чтобы его взяли под наблюдение.

— Отец Василий,— доложил Денисов.

Вошел высокий костлявый священник с веселой рыжей бородкой. Максимов приподнялся и принял благословение. Денисов, нагибая лысеющую голову, подошел вторым.

— Садитесь, отец Василий,— сказал Максимов,— слушаю вас.

Священник, не садясь, солдатским жестом распахнул рясу и достал длинную полоску бумаги. Он осмотрел ее, перекрестил и молча положил на стол перед Максимовым. Потом осторожно опустился на стул, не отрывая глаз от лица командира. Полковник придвинул к себе бумажку, прижал ее толстым пальцем и, прочитав, вскрикнул:

— О, что вы говорите! — хотя никто ничего не говорил ему.

— Андрей Васильевич,— сказал он Денисову,— вам придется сейчас же под мою диктовку написать несколько бумажек. Очень, очень важно.

— И я помогу,— кротко сказал священник.

Полковник тяжело повернулся к нему.

— Спасибо, батя,— мягко сказал он,— вы нам и так

сослужили великую службу. Как же это вы так сумели от них все выпытать?

Священник улыбнулся доброй улыбкой.

— Спасаю овец своих от греха,—подымая глаза, ответил он,— как могу допустить их, чтобы плохо помыслили о царе, чтобы нарушили законы его? Кесарево должны они воздать кесарю...

— ... Именно так,—загудел Максимов, хлопая священника по колену.— Хорошо это у вас, батя, получается. Ах, сволочи... Вы ручаетесь за верность сведений, батя?

— Дерзнет ли христианин говорить неправду на исповеди? — с возмущением сказал отец Василий.—Такое не полагаю.

— Ну, ну,— добродушно прогудел Максимов. — Я знаю, что такое кощунство маловероятно... Спасибо вам, батя...

Священник, кланяясь, ушел.

Проходя мимо денежного сундука, он внимательно, даже грустно оглядел его и благословил сундук и часового, охранявшего его.

6

За рекой Карцев встретил Мазурина. Мазурин, громко смеясь, шел рядом с белокурой, некрасивой, но очень приятной на вид девушкой и что-то говорил ей. Она, шутя, ударила его по руке, и он быстро обнял ее. Девушка вырвалась и побежала.

«Какой он молодой,— подумал с удивлением Карцев,— да я совсем не знал его».

Мазурин побежал за девушкой, догнал ее, поднял на руки и посадил на низкую ветку дерева. Она сорвала с него фуражку, и он, схватив девушку за ноги, сдернул ее с дерева.

Девушка вскрикнула, и Карцев видел, как Мазурин, подхватив ее на лету, поцеловал в губы. Вероятно, они давно были знакомы, и Карцев пожалел, что он до сих пор не знал другого Мазурина, веселого и живого, который любит гонять голубей, шутит и целуется с девушками. И он вспомнил про Тоню, которая обещала сегодня тут быть, и оглянулся, отыскивая ее. Она шла от реки в синем сатиновом платье, держа в руке платок. Было радостно видеть ее, смотреть, как быстро и

энергично движутся ее ноги, как сияют ее глаза. И он с таким порывом бросился ей навстречу, что она покраснела и опустила глаза.

— Погоди, Карцев,— сказал кто-то, и Петров почти бегом догнал его. Он запыхался, явное волнение изображалось на его скуластом лице.

— Удрал без увольнительной записки,— объяснил он. — Ну, да все равно.

Он непрерывно оглядывался вокруг. Высокий, очень худой человек со скульптурным, точно гранитным лицом и сухими, насмешливо сжатыми губами, в ситцевой косоворотке, прошел мимо. Его глаза на секунду задержались на Петрове, и он улыбнулся ему. И Петров, радостно сморщившись, протянул человеку руку. Тот пожал ее без всякого удивления, он спокойно смотрел на Петрова и, засмеявшись, сказал:

— Так, стало быть?

— Стало быть, так,— ответил Петров.

Они разошлись.

— Знакомый? — спросил Карцев.

— Нет... впрочем, да,— сказал Петров.— Куда нам теперь итти?

Роща возле Белой Ямы почти наполнена людьми. Много женщин, много рабочих, между деревьями видны зеленые гимнастерки солдат. Вот Кобылкин, а рядом с ним Чухрукидзе и Ужогло, объясняющиеся словами и знаками. Гилель Черницкий машет им рукой, с ним идет солдат с тремя нашивками, незнакомый Карцеву. Значит, и унтер-офицеры сегодня здесь? Ну что же, путь широкий, он вместит многих, и Карцев смеется, охваченный радостью, и крепче сжимает руку Тони.

Петров неспокойно смотрит вокруг. Он чувствует себя так, точно попал на праздник, но странный этот праздник! Беспокойный... Какая масса людей кругом!

Черницкий идет навстречу Семену Ивановичу, пробирающемуся между кустами. Они что-то говорят, и около них растет толпа. Подходят солдаты. Низкие гудящие басы баяна доносятся со стороны. Вот черное платье Сони. Она разговаривает с унтер-офицером, который шел с Черницким. Откуда она знает его? На холмике, спрятавшись в кустах, лежит человек и в бинокль осматривает дорогу, ведущую в город.

Карцев увлекает Тоню за собой, но она останавливается и, повернув голову, слушает.

— ...Вот тогда и сделалось всего страшнее. Неужели будут стрелять? Не могу смотреть на их лица. Глаза у всех пустые, губы скривлены, как в болезни или в страдании. Я же знаю, что им тяжело, но вижу, что не ослушаются — будут стрелять

Говорит пожилая женщина. Около нее два солдата. Они лежат на животах, подняв головы; она сидит рядом и теребит концы своего платка.

— А тут вы не похожие на тех,— продолжает женщина и улыбается, — тут вы другие, простые вы здесь. Что же это такое получается?

— Я седьмого года,— слышится чей-то высокий голос. Говорит небольшой и бритый человек, с узким бледным лицом и зелеными, как бутылочное стекло, глазами.— При нас их и увольняли в запас. Все фельдфебели, все офицеры крестились от радости. Ведь из четвертого года, может быть, половина—сознательные революционеры: все в пятом году в армии служили. Они весь полк подпольным сделали, такую работу провели, какой не было вовеки. Да, золотой это был призыв, девятьсот четвертый годок. Единственный, говорю, был. И от них большие связи остались. Мы их объедками долго кормились.

... Сколько же тут групп? Солнце, проходя сквозь паутину ветвей и листьев, высекает желтые изразцы на земле.

...Слова и речи ложатся так же, как солнечные лучи,— цветными, яркими изразцами. Многие говорят легко и весело, смеются, грызут семечки. Разговоры вспыхивают и перекидываются от группы к группе, как огонь по сухой траве.

Везде зеленые гимнастерки солдат перемешаны с темными куртками и косоворотками рабочих, с белыми блузками женщин. Соня стоит на коленях. Она спорит со скуластым желтоглазым солдатом. Он насмешливо и сердито смотрит на нее.

— Все это будто так, барышня,— отвечает Соне солдат,— а между прочим и не так. Надо побыть в солдатской шкуре, надо нашего житья попробовать. Вот тогда и говорите и сравнивайте.

— А почему не сравнивать? — спокойно говорит Соня. — Ты скажи, откуда ты пришел в казарму?

— Откуда? Известно откуда — мы плотники, зарайские мы.

— А куда пойдешь, когда кончишь службу?

— Все туда же, плотничать будем.

— Значит, работать?

— Известно, без работы не прокормишься.

— Ну вот, до казармы всю жизнь работал, после казармы опять будешь работать. Чего же в тебе больше — рабочего или солдата? И какая между вами разница? Завтра ты будешь на фабрике или где-нибудь еще в этом роде.

— Ну и что же — будем... Конечно, схожая у нас жизнь. Всем горько... Ничего я вам не возражаю, но все же солдат — солдат и есть. В нем другое отличие имеется — подневольный он.

Кобылкин разговаривает с двумя женщинами. Они пригородные крестьянки — вся их деревня работает на фабрике, хозяйство плохое, земля супесчаник, и той совсем мало.

Кобылкин сосредоточенно слушает их и сам рассказывает про свою деревню. Вблизи у них нет фабрик, и заработки совсем неважные, приходится держаться за землю. А что она дает? И он хмуро и злобно перечисляет все свои беды: работает он, работает жена и мать,— а куда вся их работа уходит. Почему ничего у них нет?

Карцеву нравится, что все тут проходит так просто. Никто не говорит специальных речей, но нет, кажется, ни одного солдата, который не поговорил бы с рабочими, не поспорил бы с ними, не излил бы запекшейся горечи, скопившейся в солдатской душе.

Мазурин сидит в кругу солдат, рабочих и работниц. Семен Иванович лежит на земле. Их осыпают вопросами, и живой перекрестный разговор не затихает ни на минуту. И Карцев слышит последнюю фразу Мазурина:

— Как вы не вертитесь тут — мы с вами одного поля ягоды. Нас бьют и давят в казармах, бьют и давят на фабрике.

— Ты говори, говори,—резко возражает коренастый, с карими глазами солдат. — Там другое будет, и здесь,

пока служим, тоже другое обстоятельство. Попробуй, не послушайся. Я погляжу, какой ты тогда будешь.

И спокойный ответ Мазурина:

— Разве тебе говорят, что это легко и просто? Это брат, очень и очень трудно — не слушаться солдату. И все дело в том, чтобы научить нас всех вместе не слушаться, когда придет время. Или ты так доволен, что тебе никаких перемен не надо? Живется тебе очень хорошо?

И женский тихий голос:

— Я тебя видела, когда ты с солдатами приходил к нам на фабрику усмирять забастовку. Ты против меня и стоял. Зеленый ты весь был, с души тебя воротило... Страшные вы, солдаты, бываете... На людей не похожие.

Коршун, распустив рыжеватые, решетчатые на краях крылья, вел кругами над Белой Ямой. Голубь, прижимаясь к лесу, уходил от него. Коршун ударил, промахнулся, и совсем низко, сизым вихрем, голубь пошел к реке.

— Полиция,— сказал кто-то негромко и спокойно.

— Идите, ребята, во все стороны,— сказал Семен Иванович,— на Троицкое, на Суханово, на Барышево, так все и разойдемся.

Соня, улыбаясь, глядела вокруг и, поднявшись, неторопливо пошла в лес. Карцев шел с Тоней. Держась за руки, они побежали балуясь.

Маленький камень, свистя, упал возле них. Карцев оглянулся. Это шалил Мазурин. Мальчишески улыбаясь Карцеву, он сделал жест, как будто прицеливается в него, и пошел со своей спутницей в противоположную сторону.

В версте на запад, поросшая сухими соснами, подымалась небольшая гора. Карцев и Тоня забрались наверх. Река, как синий шрам, пересекала поле. Тяжелые корпуса фабрики неохотно лезли вверх. Трубы стояли на них, точно обгоревшие деревья.

И дальше, в другом конце города, низкими бурыми холмами тянулись казармы.

От реки, уже близко к лесу, длинной цепочкой двигались городовые. Несколько конных стражников тряслись на лошадях в полуверсте справа.

Гилель Черницкий позвал Карцева.

— Иди за ворота в сад, за зеленым домом. Тебя Тоня ждет.— И укоризненно добавил:— Отбил девушку, сволочь ты, Карцев.

Карцев побежал, не отвечая ему.

Тоня сидела, скрытая кустами, на низенькой скамейке и нетерпеливо стучала ногой. Карцев радостно протянул ей обе руки.

— Здравствуй,— сказала она, беспокойно оглядываясь.— Я на минутку, сказала, что в лавку пошла.

— Так ты говори скорее, в чем дело,— добродушно посоветовал Карцев, не выпуская ее рук.

— Вот слушай, Дмитрий, барину прислали срочный пакет. Привез сам Денисов, адъютант. Наверно, что-то страшное. Говорили больше часу, потом раскладывали эти карты с линиями и городами. Я слушала у двери, и вот барин сказал, чтобы сегодня же приготовили приказ, а через два дня выступать. Я боюсь, неужели на войну?

— Войны нет,— ответил Карцев.— Если ты не напутала, то, наверно, на какое-нибудь учение.

— Не похоже,— задумчиво сказала Тоня,— я ведь его знаю. Он спокойный, а тут кричал, волновался. Потом зачем на учение новые гимнастерки? А он велел солдатам новые гимнастерки выдать. Как ты думаешь, зачем это?

— Не знаю,— сказал Карцев,— постараюсь узнать... Спасибо тебе, Тонюшка.

Он нашел ее руку, маленькую, огрубевшую от работы, зажал ее между своими.

— Ничего страшного не будет,— решил Карцев. И вдруг сжался, потемнел и так сильно рванул Тоню за руку, что она вскрикнула.— Нет, может и страшное быть,— сказал он почти с отчаянием,— как же мне это раньше в голову не пришло?

— Неужели война, Митя?

— Это хуже войны... Я побегу, Тоня. Прощай.

Он ушел, и она, подавленная, пошла к себе.

Карцев вернулся в казарму. Беспокойство мучило его. Рота пила чай. На столах стояли громадные медные чайники, в кипяток бросили куски кирпичного чая. Тя-

желые, круглые буханки хлеба, похожие на горки чугуна, резали толстыми ломтями. Павлов и Загибин чаевали за столиком у Машкова — у них был ситный, они пили внакладку, ели колбасу.

Карцев осторожно посмотрел на красное, покрытое потом лицо Машкова. Отпустит на полчаса? Вряд ли... Ну, тогда он рискнет. Он неторопливо вышел в прихожую и оттуда во двор. Мазурина он нашел у себя. Подложив под пуговицы деревянные дощечки с прорезанной в них щелью, Мазурин чистил пуговицы тряпочкой и мазью. Это полезное занятие позволяло ему разговаривать с маленькой кучкой солдат, сидевших около него и занимавшихся тем же делом. Увидев, что Мазурин его заметил, Карцев, не подавая вида, что пришел к нему, незаметно кивнул головой и пошел к выходу. Он стал в тени навеса и прождал долгие две минуты, пока послышались спокойные шаги Мазурина. Карцев рассказал, что ему передала Тоня.

Два дня они провели в волнении. Мазурин пытался узнать что-нибудь в полковой канцелярии у младшего писаря Сурина, члена подпольного солдатского кружка, но Сурин при всем старании не мог ничего выведать.

— Конечно, что-то есть,— раздражаясь от того, что у него ничего не выходит, говорил он Мазурину.— Но делается все в большой тайне. Печатает что-то сам адъютант в секретном отделе, собирали вчера вечером ротных и батальонных командиров у Максимова, и знаю, что готовится поход... Но куда — не мог узнать.

Слух о предстоящем походе нельзя было скрыть. В ротах стало тревожно. В уборных толпились солдаты. Офицеры держались еще более обособленно, чем всегда. Впрочем, младшие офицеры в ротах тоже ничего не знали. В ротные цейхгаузы прислали из полкового склада новые гимнастерки и сапоги. Узкобедрый, белокурый Рязанов, каптенармус десятой роты, с довольным видом возился в своем маленьком помещении, где вещи лежали на высоких полках, а на стенах под самым потолком гроздьями висели сапоги, связанные за ушки. Рязанову удалось что-то выведать у военного чиновника, ведавшего вещевым складом, и он под большим секретом рассказал это сверхсрочным взводным унтер-офицерам Машкову и Колесникову. Оба они ходили с заговорщическим видом, что еще

больше волновало солдат. Неизвестно, откуда ползли слухи, что полк посылают на усмирение. Говорили, что в Питере объявлена всеобщая забастовка, и она перекинулась в другие города. Но некоторые утверждали, что дело не в забастовке, а в крестьянских волнениях. Называли даже место — Зарайский уезд, Рязанской губернии. Там будто бы поднялись три деревни, возмущенные непосильными налогами и отсутствием выгона для скота.

И в эти дни в ротах было тревожно. Некоторые были даже довольны, что полк посылают на усмирение. Среди них были сверхсрочные, желавшие выслужиться, и немногие солдаты, как Загибин, богатый Павлов и вольноопределяющийся Сергеев, мечтавший об офицерских погонах.

Другие оставались равнодушны. Среди них были пассивные неразвитые люди, не разбиравшиеся ни в каких событиях и желавшие только одного: ладить с начальством и не вступать с ним ни в какие пререкания.

И наконец третьи — их было большинство — были взволнованы и недовольны. Среди них были те, кто пришел из города, — рабочие, ремесленники, мелкие служащие, крестьяне, и те, кого в армии называли инородцами, — евреи, латыши, поляки, грузины, которым хуже всего служилось в царской армии и среди которых было немало людей сознательных и развитых. В эти же дни на квартире у Семена Ивановича состоялось летучее совещание. Из военных там были Мазурин, Карцев, Черницкий, писарь Сурин, унтер-офицер Балагин, нескольк других солдат и — совершенно неожиданно для Карцева — офицер, поручик Казаков, рыжеватый сухой человек, странным образом напоминавший саранчу. И все время, пока шло совещание, Карцев не мог отделаться от чувства неловкости из-за его присутствия — ему все казалось, что Казакова надо остерегаться. Из вольных людей были Семен Иванович, Соня и молодой кудрявый рабочий с насмешливыми глазами.

Много курили.

Казаков сидел, согнувшись и положив подбородок на рукоятку шашки, рассказывал:

— Все держится в большой тайне. Нам объявили,

что полк выступает и будет находиться в отсутствии три-четыре дня. Больше ничего нельзя было узнать.

— А ты что предполагаешь? — сердито спросил Семен Иванович.

Карцеву показалось, что офицер обидится на это тыкание со стороны рабочего, но Казаков спокойно пожал плечами.

— Очень трудно сказать что-нибудь наверняка,— ответил Казаков.— Возможно, что это какое-нибудь учение, боевая проверка.

— А если ни то, ни другое,— вмешался кудрявый рабочий,— а если полк в Иваново пошлют?

— Не прыгай, Саша,— строго приказал ему Семен Иванович,— ведь там нет ничего такого.

— Сегодня нет, а завтра будет,— ответил Саша,— там три фабрики волнуются. Вот и готовят им Лену.

— Будет полк в народ стрелять? — тихо спросила Соня у Мазурина.

Он хмуро посмотрел на нее и ничего не ответил.

— Будет стрелять,— как бы про себя произнес Казаков.— Разве полк подготовлен? Тут был бы нужен кроме всего прочего какой-то очень большой толчок со стороны, ну, нечто вроде всеобщей забастовки, восстаний в деревне и так далее. Сейчас же у нас сырая масса, с хорошей, но очень маленькой революционной прослойкой. Так, по-моему, обстоит сейчас дело.

— Повсюду солдаты,— сказала Соня,— искали вчера встреч с рабочими. Расспрашивают их и видно, что чувствуют себя беспокойно и растерянно.

— Сегодня ночью у нас будет триста экземпляров листовки,— сказал Мазурин.— Завтра они будут розданы. Кроме того, ведутся беседы.

Совещание длилось долго. Было решено, что нужно быть наготове и усилить работу в полку, пользуясь волнением среди солдат. Казаков ушел после совещания раньше всех, и только через четверть часа после его ухода поодиночке ушли и остальные.

8

В эти дни в город просилось так много солдат, что встревоженные офицеры отпускали только по два-три человека из каждой роты.

Тогда из казарм стали уходить самовольно, не боясь наказания.

За фабрикой, на расстоянии не больше версты, беспорядочным скопищем черных строений лежала бедная деревня Шуткино, жители которой почти поголовно работали на фабрике. Солдаты нередко ходили сюда. У многих тут были знакомые, некоторые водились с шуткинскими девушками. В это воскресенье в Шуткино пришло около пятидесяти солдат и поодиночке или маленькими группами разошлись по избам. О выступлении полка в поход было известно и здесь — слух об этом еще накануне распространился по фабрике и вызвал там оживленные толки.

Больше всего людей собралось в избе Абрама Курпатова, длинного рыжеватого человека с таким высоким лбом, что он был длиннее остальной части лица. К Курпатову пришли соседи, человек шесть солдат и Саня, молодой кудрявый рабочий, бывший на совещании у Семена Ивановича.

— Ничего мы не знаем, — говорил узкоплечий бледный солдат, поворачивая ко всем худое раздраженное лицо с острым, как редька, подбородком.— Разве нас спрашивают? Идем, как в потемках, пока не расшибем лба.

— Против нас,— горько сказал Кривцов, сосед Курпатова, с пятнадцати лет работавший на фабрике (а теперь ему было сильно за тридцать), и быстро провел ладонью по плоским своим коричневым волосам.— Вот так же, как вы против нас ходили с ружьями вашими, так и против других пойдете.

— А если служба? — истерически кричал солдат, и голубая вена неровно просекла его лоб.— Если уж так заведено? Нас же мильон. Что же мне одному-то поделать? Ведь меня самого убьют, если я против приказа пойду. Что же ты меня такими словами упрекаешь? Возьмут тебя в солдаты, и ты в меня стрелять будешь, и я тебя бояться буду... Не будешь? Нет, врешь — прикажут, так застрелишь.

Кричали и спорили почти все, находившиеся тут. Люди разволновались. Жена хозяина, черноволосая, еще нестарая женщина, с отекшим лицом и большим животом, говорила, не переставая вязать и кивая головой:

— Несчастненькие вы. У вас неволя, как и у нас, все мы горькие.

— Неволю избыть надо, тетка,— сказал спокойный голос, и все оглянулись на Саню.— Плакаться тут не поможет. Тут нужно всем взяться, всем быть заодно. И драться еще крепче, чем в пятом году.

— Пятый у нас был жаркий год,— вмешался пожилой рабочий с тугой серенькой бородкой, до сих пор незаметно сидевший в углу.— Фабрика две недели стояла. Выбрали мы свой рабочий совет, и солдаты не трогали нас. Нет, они в пятом году приказ нарушили, в нас не стреляли. Посылали мы к ним в казармы депутацию, ходили и они к нам, по Московской вместе шли под красными флагами. Мы тогда одного кумача за тыщу аршин на флаги да на лозунги израсходовали. И песни мы с солдатами одни пели, и дело одно с ними делали.

Он поднялся, худой, жилистый; лицо его и шея густо поросли кудлатыми волосами,— и закончил веско и грустно:

— И судили нас — и фабричных и солдат за одно дело. Из полка троих расстреляли, многих в арестантские роты засудили. А сколько наших по Владимирке пошли,— не считали. По осени сочтем. Да.

— Деток с четырнадцати лет на фабрику отдаем,— сказала рябая женщина,— по двенадцать часов работают, а жалованья ребятам семнадцать копеек в день. На хлеб да на тюрю. Лаптей не сплетешь.

— Уж я не знаю,— улыбаясь и оглядывая избу и людей, сказал Рогожин, солдат десятой роты.— Уж я не знаю,— повторил он,— говорить даже не стоит. Солдат из казармы бежит к вольным людям, хочет в ихней свободной жизни отдохнуть, а так выходит, что эта свободная жизнь — та же солдатчина. Какой же выход, какой нам путь? И кто его объяснить может? — Он грустно и вопросительно посмотрел на всех, и минуту в избе было молчание.

Самые смелые солдаты пробирались в казармы, где жили фабричные. Казармы находились недалеко от фабрики, как раз за тем изгибом реки, где в бухточке, у низкого берега, застаивалась вонючая черная вода, зараженная отходами от цехов. Много равнодушия к людям, неуважения к ним и холодной жестокости

нужно было иметь, чтобы построить казармы на этом месте. Длинное низкое деревянное здание было расположено подковой. Двор — внутренность подковы — был неимоверно грязен, залит помоями, завален отбросами. Воду брали из колодцев, и она скверно пахла, так как рядом были уборные, откуда жидкость просачивалась в колодцы. Узкие низкие окна пропускали мало света. Воздух в казармах был застоявшийся, душный. Огромное неперегороженное помещение подпирали круглые деревянные столбы. Койки, шкафчики, столики и сундучки густо и бестолково завалили казарму. Детские пеленки висели на протянутых всюду веревках. Считалось, что левая часть подковы принадлежит холостым рабочим, но на деле и холостые и женатые жили вперемежку, и сотни отдельных жизней и бытов слиплись, перепутались здесь в один клубок. Клопы и тараканы водились тут в изобилии. К ним привыкли, как привыкают каторжники к кандалам и к решеткам в окнах. Бедность и нужда были так велики, люди работали так много и тяжело, что забывали думать о чистоте, об удобствах. Работали отцы, матери, старшие дети, а пятилетние ребята оставались присматривать за грудными. Крошечные грязные человечки ползали по грязному полу, как паучки, играли отбросами. На койке и двух квадратных аршинах пространства возле нее жила целая семья, и все ее тайны и отправления совершались тут же. Это часто вызывало сальные шутки, но в большинстве случаев к этому привыкли и не обращали друг на друга внимания.

Солдатам было строго запрещено ходить сюда. Шпики вились вокруг. Фабричная администрация помогала им. Но солдаты все же, прячась, ходили в рабочие казармы. Они пришли и накануне выступления полка в неизвестный поход. Карцев и Петров подсели к чернобородому, с шапкой спутанных, уже седеющих волос, рабочему. Длинный, свисший нос точно стекал у него на подбородок. Карцев сел прямо на койку.

Петров поглядел на сбитое, грязное одеяло, сшитое из лоскутков, и сел на табуретку, стряхнув ее и тщательно оглядев. Рабочий улыбнулся.

— Грязно, конечно, господин вольноопределяющийся,— сказал он.— Живем вроде свиней.

Петров сконфузился.

— Пришли посмотреть рабочую жизнь? — учтиво спросил у Петрова рабочий и стал разговаривать с Карцевым. А Петров, мучаясь, подумал: отчего это рабочий с Карцевым говорит проще, чем с ним, да и Карцев чувствует себя тут иначе, чем он? Он говорит просто, не подыскивая слов, а у него, Петрова, получались сухие, ходульные фразы, и он долго обдумывал их. Он был уверен, что хорошо знал народную жизнь, но на деле сталкивался с такими вещами, которые показывали ему, что он плохо знал ее. Он смотрел на рабочего, на его ужасное жилище и думал, что все это страшно, что нельзя людям жить в таких скотских условиях и надо им как-то убедительно и просто об этом сказать.

Но он не знал, как это сделать, боялся, что не найдет нужных слов.

Он рассказал об этих своих мыслях Карцеву, когда они вышли из казармы.

— Ты видишь только всю эту грязь, — ответил Карцев, — и тебе кажется, что это самое главное, что это и есть сам рабочий. Но сущность рабочего не в том же только, что он грязен и должен жить, как вот живут бардыгинские рабочие, — в вонючей казарме. Сущность его в том, что он ненавидит хозяина, знает, что хозяин ему враг на всю жизнь, и будет с ним всю жизнь бороться. Да, ты теперь себе представь, что такое этот грязный рабочий, — упрямо повторял Карцев, несмотря на протестующие жесты Петрова. — Ты к Ханаеву побрезговал на койку сесть (я это только к слову, а не сердясь, говорю), потому что там вши да клопы ползают, а можешь ты его другим вообразить? Нет? Так я тебе скажу. Этот самый Ханаев на баррикадах дрался, в трех забастовках был и всегда за себя и за товарищей постоит. Вот в чем Ханаев.

Петров не во всем был согласен с Карцевым. Он считал себя революционным интеллигентом и снисходительно относился к высказываниям Карцева, который не мог быть так развит и культурен, как он. Кроме того, в рассуждениях Карцева была и жестокость, которая его отвращала. Карцев считал, что в драке, в бою нельзя миндальничать, надо бить врага до конца, и с этим Петров не мог согласиться. Нельзя же быть зверями. Неужели всех фабрикантов надо счи-

тать врагами? Ведь многие из них помогали студентам, давали деньги на революцию, как Савва Морозов, а Шмидт, хозяин фабрики на Пресне, не только отдал все свое состояние рабочим, но и сам пошел с ними. Нет, Карцев неправильно считает, будто все фабриканты враги. Надо разобраться в каждом отдельном случае. Нельзя рубить сплеча. Революция — тонкая вещь. Без руководства интеллигенции рабочие не сумеют провести ее.

Карцев ценил и любил Петрова, но иногда ему казалось бесполезным спорить с вольноопределяющимся.

«Жизнь научит,— думал он.— Одними словами его не убедишь».

9

Вечером роту выстроили. Проверили людей по списку, прочитали приказ, пропели молитву, но команды расходиться не подавали. Взводные беспокойно поглядывали на входную дверь. Пришел фельдфебель в сапогах, голенища которых были похожи на толстые кожаные сосиски, затянутый поясом. Дежурный, придерживая штык, бросился к двери, крича: «смирно».

Вошел капитан Васильев, обычной, вперевалку, походкой, подошел к фронту и поздоровался. Посещение его в такое время было необычно, и двести солдатских глаз смотрели на капитана с тревогой и беспокойством.

А он, подергав соломенные усики, сказал:

— Ребята, завтра часть полка выступает под общим начальством полковника Архангельского, помощника командира полка. Из нашей роты пойдет сорок человек. Егор Иванович, зачтите список.

Фельдфебель подбежал трусцой и, похрюкивая, стал читать список. Вызвали Загибина, Павлова, Самохина, Сергеева, унтер-офицеров Машкова и Колесникова и ряд других фамилий. Не вызвали ни одного иногродца, ни одного солдата из рабочих, ни одного из тех, кто был на плохом счету.

И последним в списке стоял Карцев. Фельдфебель прочел его фамилию, снял очки, прочел еще раз и, недоумевая, посмотрел на Васильева. Васильев кивнул ему головой. Тогда зауряд-прапорщик наклонился к нему и тихо сказал:

— Как же это, господин капитан? Ведь Карцев числится у нас **порочным**[1] нижним чином.

И так же тихо Васильев ответил ему:

— Что же делать, где вы наберете в роте сорок солдат без пятнышка? А он спокойнее других, и фигура у него молодецкая. Пускай едет.

Он приказал назначенным солдатам быть готовыми к шести часам утра и ушел.

Рота кипела, как муравейник. Никто не ложился, волнение, страх и любопытство охватили людей. Несомненно, что Смирнов знал о цели похода, но он издевался над солдатами и отделывался от их вопросов острыми, солеными словечками. Торжествующе смотрел Загибин и загадочно улыбался, но его так не любили в роте, что даже самые любопытные не хотели у него ничего спрашивать.

Когда дежурный приказал ложиться, никто не пошел к своей койке. Солдаты были настроены тревожно. Они собирались кучками и тихо разговаривали между собой.

— Нас морочат,—мрачно говорил Черницкий,—ведь известно раз и навсегда, что солдату нельзя ждать ничего хорошего от начальства. Спрашивается, почему лишних три месяца держали одиннадцатый год? Почему нам не объявляют, куда посылают наших товарищей? Хорошие дела не прячут, прячут плохие, и ясно, что этих бедных ребят посылают на горе. Не нравится мне этот неизвестный поход. Заставят стрелять в своих товарищей, которые честно зарабатывают сухой хлеб и несчастную жизнь.

— Не будем стрелять,— беспокойно оглядываясь, говорил Рогожин.— Эх, землячки, скверно же быть под чужой, под вражьей волей. Ох, и скверно же.

— А чем тебе, друг, скверно?— миролюбиво спросил Колымов, солдат второго взвода.

Он был круглолиц, упитан, и узкая полоска лба незаметно проходила у него между шерстяной дужкой волос и тонкими мазками бровей.

— Чем тебе плохо?—убеждающе повторил он, оглядываясь на солдат.— Хлеба три фунта в день, сахару

---

[1] Так в секретных документах назывались политически неблагонадежные солдаты.

два куска, щей хлебаешь вволю, да щи мясные, каша тебе масленая идет, чай пьешь — господи, боже небесный, неужели же плохо?

Серые нолики его глаз выражали искреннее недоумение, и он все оглядывал солдат, спрашивая всем своим видом:

«Чем же вам плохо? А?»

Солдаты хмуро слушали его. И вдруг Самохин, сидевший тупо и смирно, завыл, заляскал зубами и, крестясь, полез под койку. И когда его хотели оттуда вытащить, он заплакал и стал просить, крестясь:

— Братцы, пожалуйста, не надо. Ради христа, миленькие, не надо.

И неожиданно заревел:

— Смирно, не видите, кто говорит?

Впрочем, он сейчас же затих и только, испуганно щерясь, как забитый волчонок, смотрел вокруг. Это был первый припадок у Самохина, который значительно позже вспомнили его товарищи, когда случился к этому повод.

Несмотря на позднее время, приходили солдаты и из других рот. В полку шло смутное брожение, солдаты передавали друг другу тревожные слухи.

Опытный Смирнов не выходил в роту и тихо посоветовал дежурному не очень налегать на солдат. У него было верное чутье, нюх старого опытного укротителя, который знает, что иногда нельзя дразнить зверей и входить к ним в клетку. И если бы расспросили зауряд-прапорщика, спокойно ли он прожил в казарме все эти пятнадцать лет, он ответил бы, подумав, что нет, не спокойно. Правда, он привык — привыкают же и к самой опасной работе, но он помнил, как страшно бунтовали задержанные в Манчжурии после японской войны батальоны, как при нем с красными знаменами шли солдаты, братаясь с рабочими, как по три дня не приходили в роты офицеры и как, наконец, совсем недавно, стрелял солдат в капитана Вернера.

И сейчас, слыша в неурочное позднее время шум в казарме и по-старчески ворочаясь в своей постели возле пухлой, глупой жены, Смирнов испытывал смутную, из большой глубины идущую тревогу.

Как ни хорошо он знал солдатскую массу, как ни ломал, ни гнул, ни увечил отдельных ее представителей, но до конца он все же не понимал ее и потому, что не понимал,— боялся. И так же, как укротитель, работающий со зверями, скрывает свой страх за ударами, за выстрелами и слишком громкими окриками, но не может не помнить о том, что звери его ненавидят и когда-нибудь бросятся и сомнут, так же и зауряд-прапорщик помнил об этом.

«Самая старая шкура в полку»,— с горечью думал он о названии, данном ему солдатами.— А разве он виноват в том, что должен строго обращаться с солдатами? Разве хоть один день держали бы на военной службе такого фельдфебеля, который миндальничал бы с нижними чинами?

Радостный, чисто вымытый и надушенный, подпоручик Руткевич явился утром в роту за полчаса до выхода. Затянутый в походные ремни, бряцая шашкой, он ходил по казарме и с брезгливым удивлением смотрел на прибирающихся солдат.

Руткевич выступал с отрядом и, видимо, гордился этим. Он ясными, полными молодого эгоизма глазами осматривал построившихся солдат, и было видно, что самое важное для него — это то, чтобы ему, подпоручику Руткевичу, было с ними удобно, а для этого все должно быть пригнано, застегнуто и прилажено какими угодно способами. Он не замечал хмурых, настороженных солдатских лиц и весело отдавал команду.

Сборный отряд полка — шестьсот человек — собрался на большом казарменном дворе. Приехал начальник отряда полковник Архангельский, высокий старик с подстриженной бородой, в золотых очках, похожий на профессора, обошел фронт, поздоровался (ему ответили тихо и нестройно), и отряд двинулся к вокзалу. Офицеры велели петь песни, но солдаты пели так плохо, невесело и слабо, что Архангельский с удивлением обернулся и приказал отставить песни.

— Что такое? Бабы идут или солдаты?— сердито крикнул он.— Господа офицеры, подтяните же ваших солдат.

Начался подсчет ноги: раз-два, раз-два, левой, левой... Сотни подметок и каблуков гулко били о землю,

и подпоручики и унтер-офицеры заглядывали вниз — крепко ли и на весь ли след ставится солдатская нога, и шопотом ругали тех, кто плохо шел.

Состав был уже подан: товарные вагоны для солдат и один вагон второго класса для офицеров. Вагонов подали меньше, чем было заказано, и в них стало так тесно, что многим нехватило места сидеть. Унтер-офицеры показывали, куда поставить винтовки, и среди криков, ворчаний и руготни паровоз завыл, и состав тяжело тронулся с места.

10

Был прекрасный майский день, поезд шел по лесу, в свежем аромате трав, цветов и деревьев, среди буйных и огромных скоплений молодой, расцветающей зелени. На станциях солдаты бегали за кипятком, шутили с молодыми крестьянками, которые в коротких ситцевых юбках, толстых шерстяных чулках и в мужских ботинках с торчащими ушками ехали на полевые работы. Самохин, повеселевший от того, что не видел казармы, хохотал и звал девушек в вагон. Он визжал от радости и все время хлопал себя по ляжкам.

Карцев, сидя на деревянной доске, протянутой через весь вагон, тихо разговаривал с товарищами. У него была твердая цель, и он решил, что должен ее выполнить. Вокруг него были свои, хорошо ему знакомые солдаты. Загибин, Машков, Сергеев и другие, кого можно было опасаться, сидели в конце вагона на нарах, которые были наверху, под самыми окнами, и считались лучшими местами в вагоне.

Его слушали молча, лишь изредка вставляя короткие замечания. Он знал, что было еще маловероятно, чтобы солдаты действительно не стреляли, если дошло бы до этого, но все же он бросал семя в рыхлую почву, и какие-нибудь ростки должны будут там взойти.

— Служим и пусть служим,— тихо сказал Рогожин.— Солдатчину мы несем, а зачем нас полицией делают?

Солдаты кивали головами. Карцев, недавно прочитавший брошюры о революционном движении в ар-

мии в девятьсот пятом году, вполголоса под шум и стук идущего поезда рассказывал о волнениях, происходивших в Преображенском полку.

Полк был недоволен строгостями казарменной жизни и полицейской службой, которую его заставляли нести. Созыв Первой государственной думы усилил волнения. Ожидали, что Дума даст крестьянам землю. Из деревни к солдатам приходили письма, в которых упрекали войска, что они стреляют в народ и усмиряют революцию. Письма вызывали большие волнения среди солдат. Они собирались на сходки, многие вступали в военную организацию при петербургском комитете социал-демократов большевиков. Устраивались митинги, на них выступали кроме солдат и многие рабочие. На эти митинги приходили солдаты и из других полков.

...Колеса ровно стучали, вагон раскачивался, вокруг Карцева были напряженные лица, и глухой голос спросил:

— А правда все это? Не врешь ты?

— Все записано теми, кто там был,— ответил Карцев, не только не обижаясь, но радуясь этому недоверию, показывавшему, с каким интересом слушают его рассказ.— И разве еще сейчас мало людей, которые тогда служили? Многие ведь с ними говорили, многие об этом и сами знают. Сколько солдат засудили тогда!

— За что же их судили?

И он говорил, понизив голос и косясь на Машкова, лежавшего в другом углу вагона на нарах:

— Один из фельдфебелей доложил по начальству о сходках, но начальство само тогда боялось солдат. В Гореловском лесу собрался солдатский сход в четыре тысячи человек. Были там и рабочие. Говорили о том, что всем полкам надо выступать вместе. И вот вечером распространился слух, что назавтра придется Преображенскому полку итти в Петергоф для несения полицейской службы. Начались волнения. Особенно были недовольны солдаты 1903 года, которых не отпускали в запас, хотя они давно отслужили свой срок. Солдаты написали свои требования и передали их начальнику дивизии.

— Какие же это требования?— спросили сразу несколько человек.— Помнишь, какие?

— Некоторые помню,— сказал Карцев.— В первом пункте требовали, чтобы начальство по-человечески обращалось с солдатами.

— Правильно,— тихо сказали солдатские голоса.

— ...Освобождение от полицейской службы...

— Правильно, верно.

— ...Отмена принудительной отдачи чести нижними чинами при встречах с офицерами.

— Вот куда загнули!

— ...Улучшить пищу, не вскрывать солдатские письма, свободный доступ всюду, свободное увольнение со двора.

— Ну и солдаты, вот это да! Не мы...

Кучка вокруг Карцева росла. Машков нагнулся с нар, шея у него налилась кровью, и он неприязненно спросил:

— О чем говорите там?

— Сказки говорим, господин взводный,— бойко ответил Рогожин.

— А кто говорит?— подозрительно спросил Машков.

— Я говорю,— ответил Рогожин, знавший, как не любил Карцева Машков.— Об Иване-царевиче, о святых отшельниках, об Еруслане-богатыре.

Взводный, мыча, лег, положив под голову скатку. Он был немного пьян.

Беседа продолжалась. Карцеву не терпелось рассказать о Потемкинском восстании, свидетелем которого он был. Он говорил о том, как солдаты в Одессе ждали сигнала, чтобы присоединиться к восставшим матросам, а перетрусившее начальство попряталось и ни во что не вмешивалось.

Поезд замедлил ход. Подъезжали к станции.

Станция была большая, кирпичная. Усатый начальник в красной фуражке учтиво кланялся полковнику Архангельскому, жандармский офицер пригласил его к себе.

К товарным вагонам приставили доски, скомандовали выходить, и с винтовками и походными мешками отряд выстроился на платформе. Стояли долго, потом

отряд отвели за палисадник станции. Привезли обед, винтовки составили, отвязали от скаток котелки и обедали тут же, сидя на земле. Полковник Архангельский долго оставался у жандармского офицера, и только через три часа по прибытии на станцию скомандовали в ружье. Офицеры стали уводить солдат небольшими отрядами. Шли вдоль железной дороги, по обеим ее сторонам. И, немного пройдя, остановились и начали растягиваться редкой цепью. Офицеры объяснили, что задача полка — охранять железную дорогу и следить, чтобы никто не подходил к рельсам.

Наступал вечер. Красноватые облака наползли на небо. Воздух свежел. Сильнее пахла трава. Унтер-офицеры непрерывно проверяли посты. Грохоча и оставляя за собой едкий дым и копоть, прошел товарный поезд. Кондуктор на площадке заднего вагона с любопытством посмотрел на солдат и, наклонясь, спросил, чего они тут стоят. Солдаты пожимали плечами: они и сами не знали. Машков матерно выругал кондуктора и запретил солдатам с кем-либо разговаривать.

Стало совсем темно. Зеленые фонари, как светлячки, мерцали на путях. Прошел крестьянин, его окликнули, изругали, и он, испуганно оглядываясь, побежал в лес. В клочьях рваных облаков прыгали и щурились звезды. Где-то далеко выл паровоз, точно звал к себе на помощь. Люди стояли в одних гимнастерках, со скатками через плечо. Стояли за двадцать шагов один от другого. Патроны были розданы при отъезде.

В полночь Самохин дико закричал и защелкал затвором. Кто-то огромный, тяжело дыша, лез на него, ломая кусты. Руткевич бросился к нему с револьвером в правой руке и фонарем в левой. Острый луч электрического фонаря выхватил белое лицо Самохина, его винтовку, направленную вперед, и в двух шагах от него задумчивые коровьи глаза и коровью жующую морду.

— Трус, дурак!— резко крикнул Руткевич.— Коровы испугался. Баба, а не солдат.

Сделалось холодно. Кто-то жалобным голосом попросил разрешения надеть шинель. Унтер-офицер пошел на станцию спрашивать разрешения и, вернувшись, велел передать по цепи: стоять в скатках, ши-

нелей не надевать. Ночь проходила нестерпимо медленно. Стучали о землю сапоги. Это солдаты прыгали, чтобы согреться.

В лесу долго и жалобно кричала ночная птица. Деревья дышали тихо и успокоенно, как дышат дети во сне. Вдали сверкнули большие хищные глаза и донесся далекий еще рев и гул. Хищные глаза пропали, блеснули еще раз, ближе, гул ровно нарастал, и, хрипло и торопливо дыша, как грузный одышечный человек, пролетел пассажирский поезд. В темноте освещенные окна промелькнули точно картина на экране, и красный фонарь заднего вагона мигал уже далеко впереди.

Начало светать. Испуганно гасли звезды. В лес бесшумно полетела какая-то большая птица, вероятно, филин. На пути показался сторож с зеленым фонарем. Он неприветливо смотрел на солдат и остановился возле Карцева.

— Землячок, нет ли завернуть? — спросил Карцев.

Сторож поставил фонарь на землю и молча достал бумагу и махорку. Пока они завертывали папиросы, Карцев смотрел на сухое, старое лицо сторожа, на рваный его зипун и стоптанные, разбухшие сапоги.

— Долго еще стоять будете?—недовольно спросил сторож.— Долго еще?

— Тебе лучше знать,— сказал Карцев, подходя ближе.

Сторож хмыкнул.

— Его поезд скоро пройдет,—медленно сказал он,— только точного часа не знаем.

— Чей его? — спросил Карцев.— Чей поезд, отец?

Сторож посмотрел искоса.

— Вам ли не знать?—с иронией и даже презрением проворчал он.— Всю ночь дорогу царскому поезду стережете и не знаете, зачем стоите? Так ли?

Рогожин, стоявший вблизи, тихо охнул.

— Царский,— прошептал он.— Вот оно что...

— Не знали мы, для чего стояли,— сказал Карцев сторожу.— Нам не говорили.

— Так-то спокойнее,— произнес сторож.—Зачем вам о царском поезде знать, войско верное? Так крепче будет, сохраннее. Прощайте, царевы защитники.

Он поднял фонарь к лицу, открыл стекло и задул свечу.

Над лесом, над путями стояло пустое, еще темное, неживое небо. Вдоль путей серели скорчившиеся от холода солдатские фигуры, выплывали втянутые, остро-костные лица, чернели на лицах провалы глаз. От станции торопливо бежали офицеры. Проиграл рожок.

— Смирно! Смирно! Смирно!— неслось по путям, и потом совсем глухо:—...шай на кра-ул!

Солдаты стояли вытянувшись, и винтовки, как длинные коричневые свечи с серыми огнями штыков, были прижаты у каждого к животу и груди. Стояли долго, измученные бессонной, холодной ночью, испуганные, ничего не понимающие. И тогда из леса вынесся поезд с двумя паровозами, прошел, легко волоча длинное кольчатое туловище, зеркальным блеском сверкали широкие окна нарядных, отделанных дубом салон-вагонов. Поезд, не останавливаясь, прошел станцию, и издали донеслась протяжная команда, повторенная офицерскими и унтер-офицерскими голосами:

— К но-ге!..

11

— Вы меня замучили, капитан,— недовольно говорил командир полка адъютанту.— Неужели же вам почти каждый день пишут все эти жандармские управления — губернские, уездные и я не знаю какие еще... Что им, в конце концов, от нас надо? Ведь мы же военное ведомство и никакого касательства к полиции не имеем... Ну, скажите, чего хочет московское жандармское управление?

Денисов, сочувственно улыбаясь, развел руками.

«Кокетничаешь,— подумал он,— ведь ты всегда бываешь рад выслужиться, лебезишь перед жандармами».

— Все те же дела о порочных в политическом отношении нижних чинах, господин полковник,— ответил Денисов.— Жандармское управление просит переслать ему список солдат срока службы девятьсот четырнадцатого года. Управление просит особенно заботливо отметить, кто из нижних чинов работал на фабрике.

— Тоже придумали название — порочный нижний

чин,— ворчливо сказал Максимов.— Еще что там у вас?

— Дела Корунченко, Письменного и Рациса,— быстро, чтобы не утомить командира, докладывал Денисов.

— Да ну их ко всем чертям! — крикнул Максимов, толстой рукой отодвигая от себя бумаги.— Решайте все, что надо, без меня! Пишите, Андрей Васильевич, этим жандармам, устанавливайте надзор за порочными солдатами. Пожалуйста.

— Теперь уже самое последнее,— сказал Денисов, поклоном и выражением голоса показывая, что он отметил и благодарен за то, что его назвали по имени и отчеству,— и больше не буду вас беспокоить. Тут у нас рапорт рядового третьей роты Иванова — денщика капитана Вернера. Просит разрешения вернуться в строй.

— Уже, кажется, у нас было что-то такое, он уже как будто просил об этом?

— Так точно,— объяснил Денисов,— но вы тогда предоставили решение самому капитану Вернеру, а капитан не согласился отпустить денщика. Он доволен им.

— Ну, что же я могу сделать?— задумчиво спросил Максимов.— Неудобно брать у офицера денщика против его желания, в особенности если он им доволен. А чем этому Иванову плохо у Вернера?

Денисов немного замялся.

— Капитан чуть-чуть жестковат,— сказал он,— и очень требователен.

— Зато какая у него рота,— оживленно возразил полковник,— первая рота в полку по выправке и маршировке. Вы видели, капитан, как она прошла на последнем смотре? Прямо, доложу вам, прусская гвардия. Печатали, а не шли. Прелесть! Самая боевая рота!

Он закрыл глаза, чтобы лучше представить себе, как шла третья рота, помахивал рукой в такт ее маршу, шептал «левой, левой» — и, удовлетворенно вздохнув, сказал:

— Нет, я не могу взять у капитана Вернера денщика против его воли. Пойду домой,— сказал он,— пора обедать.

— Мария Дмитриевна уехала, кажется?— почтительно спросил Денисов.

— Да, в Москву поехала, Андрей Васильевич, холостяк я теперь... Соломенный, так сказать.

Усы полковника дрогнули. Он сощурился, засопел.

— Да, да, пора, — сказал он, протягивая Денисову руку.

Спина адъютанта согнулась, как лук, каблуки щелкнули.

Максимов молодцевато шел по улице. Солдаты, неестественно выпучив глаза, вытянувшись и колотя о землю подошвами, сходили с тротуара на мостовую и становились во фронт. Извозчики и купцы снимали шапки.

В маленьком городе Максимов был важной персоной. Многие купцы и подрядчики были заинтересованы в поставках полку, в знаменитых по выгодности работах и заготовках хозяйственным способом, которые так любил производить заведующий хозяйством полка подполковник Чукасов.

Максимов занимал целый домик из семи комнат, принадлежавший купцу Ерыгину. Он с удовольствием думал об обеде, о том, что Тоня осталась одна в квартире, и подмигивал сам себе. Тоня открыла ему дверь и приняла у него фуражку.

— А где Алексей?— спросил Максимов про денщика.

— Он с запиской Чукасова поехал за продуктами,— ответила Тоня.

Максимов ущипнул ее. Лицо его налилось темной кровью.

— Подай умыться,— сказал он.— Кто-нибудь дома?

— Никого,— ответила Тоня и прошла вперед в ванную.

Он шел за ней, осматривая ее с ног до головы, весь закипая густым, бешеным желанием.

Грузный, шестипудовый, боящийся стареющей жены, он давно уже приставал к Тоне и выжидал только удобного случая. Краснея лицом и шеей, задыхаясь, с открытым ртом, Максимов не выдержал, и когда они проходили через гостиную, схватил девушку и, подняв ее, вместе с ней повалился на диван. Похоть душила

его, он стонал и подминал под себя Тоню, сопя, хрипя, хватая ее за ноги, за грудь.

Тоня не кричала. Она сжалась, отчаянным усилием подвела колени к груди и сильным рывком рук и ног отбросила Максимова. Он упал на колени возле дивана, мокрыми губами всосался в ее ногу, а она за волосы отогнула его голову, рванулась и прыгнула к двери.

Стонущий, изгибающийся Максимов видел в окно, как она побежала по улице.

Она не знала, куда пойти. Сердце сильно до боли колотилось у ней, тошнота подступала к горлу. Она все оправляла платье и волосы, ей казалось, что она измята, растрепана и все узнают по ее виду, что с ней только что произошло.

По улице шли люди. Каждый шел по своему делу, имел свой дом и дома близких и родных людей, и, глядя на них, Тоня остро чувствовала свою беспомощность и одиночество.

Ветер со свистом погнал по улице пыль. Серая толстая туча снизу надвинулась на другую—белую и сердито спрятала ее. Упали первые капли, и вдруг вся улица закрылась косой решеткой дождя. Тоня шла, не думая о том, чтобы укрыться от дождя, несчастная, понурившаяся. Потом она увидела знавшего ее приказчика из булочной, шедшего по улице, и, испугавшись того, что он может с ней заговорить, побежала под ворота. Она думала, что ей надо найти Карцева, и вдруг увидела солдата, проходившего мимо, которого она не раз встречала с Карцевым. Она окликнула его, и пока он подходил к ней, вспоминала его фамилию. Не вспомнила, протянула ему мокрую руку и застенчиво спросила, не может ли он устроить, чтобы она повидала Карцева из десятой роты.

Солдат внимательно смотрел на нее, но в его взгляде не было ничего назойливого и неприятного.

— Я вас знаю, Карцев говорил мне про вас,— сказал Мазурин.— Ведь вы служите у полковника Максимова? Что-нибудь с вами случилось? Расскажите мне. Карцев мой друг.

Тоня сразу ослабела. Едва сдерживая слезы, она рассказала ему, что с ней случилось.

— Очень хорошо,— сказал он и конфузливо улыбнулся.— Не то хорошо, что с вами случилось,— пояснил он,— а то, что я вас встретил. Пойдемте со мной. Я вас отведу к своим знакомым, они хорошие люди.

Он предложил ей итти не рядом, а немного позади, и, пройдя два переулка, они вошли в одноэтажный домик и через узкие сени в большую, чистую и светлую комнату.

— Катя,— сказал Мазурин невысокой белокурой девушке, встретившей их,— это Тоня, друг Карцева, она убежала от своего хозяина. Можно ей пожить здесь?

Катя обняла Тоню и отвела ее за занавеску.

— Пускай раньше переоденется,— сказал она,— видишь, она совсем мокрая.

Мазурин сел за стол и стал писать. Девушки тихо разговаривали за занавеской. Мазурин писал бесцветной, как вода, жидкостью между широко отстоящими одна от другой строчками письма, в котором говорилось о семейных делах — о продаже сапог.

Еще до поступления на военную службу он был участником рабочих социал-демократических кружков на Прохоровке, в Москве. На Пресне он вырос. В пятом году подростком дрался на баррикадах возле Зоологического сада и пробирался через Горбатый мост с патронами, запрятанными в поясе. На военную службу он спокойно перенес методы своей работы — свою осторожность и опытность хорошего подпольщика. К нему хорошо относились товарищи за скромность, не требовавшую никаких подтверждений его заслуг, за крепкие нервы и ясную, нетороппливую настойчивость, с которой он проводил все порученные ему дела. Получив партийные явки и убедившись, как вяло и неналаженно шла революционная работа в полку, он медленно и исподволь налаживал ее, завязал связь с подпольной организацией большевиков на фабрике и за два года своей службы сделал уже многое. Его последним большим успехом было то, что ему удалось завербовать писаря Сурина из полковой канцелярии и связаться с поручиком Казаковым, который по решительности и активности своей натуры оказывал организации крупные услуги. Последние события — покушение на убийство Вернера, забастовка

на фабрике, разгон рабочих солдатами и поездка части полка для охраны царя на железной дороге, не говоря уже о нескольких других, более мелких обстоятельствах, создали благоприятную почву для агитации среди солдат. Мазурин ожидал литературу из Москвы, а пока сам заканчивал листовку, которую назвал: царь и народ. Пользуясь тем, что солдаты сами увидели, что царь прячется и боится показаться открыто, он излагал вкратце историю борьбы за освобождение, писал о борьбе крестьян за землю и сжато подчеркивал значение расстрела 9 января и Ленского расстрела, окончательно убедивших народные массы, что царь им враг, и что давно уже надо покончить с легендой, что царь хорош, а только слуги у него плохие.

С Катей он познакомился уже будучи солдатом. Она работала на фабрике и прошла хорошую школу. Ее старшего брата нагайками изувечили казаки, отец, арестованный во время стачки, три года провел в тюрьме. Это была одна из тех не очень редких в провинции рабочих семей, где все — старики, взрослые и дети — занимались революцией так же, как кустари на дому занимаются всей семьей одной и той же работой. И Тоня сразу почувствовала себя хорошо здесь. Она только волновалась, спрашивая, что ей делать, говорила, что не может быть без работы, но Катя и ее мать, худая, еще не старая женщина с насмешливо смотрящими глазами, уверяли ее, что работы ей будет много. Ее радовало, что эти простые, понятные ей люди знали Карцева и хвалили его. Она села пить чай с Катей, ее матерью, младшей сестрой и Мазуриным. Мазурин шутил с Нинкой, двенадцатилетней девочкой, и оба они смеялись. Лицо Мазурина становилось другим, молодым и как бы удивленным, и Нинка, притворно на него сердясь, толкала его под столом ногой и, закидывая голову, отчаянно хохотала, когда Мазурин, двигая в стороны нижней челюстью, обнажал зубы, показывая, что он загрызет Нинку. Он скоро ушел и перед уходом взял Нинку за плечо, отвел в угол, пошептался с ней и передал ей письмо, которое написал незадолго перед тем. Она слушала его тихо, с серьезными глазами и после его ухода, немного выждав и спрятав письмо у себя на груди, ушла.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КАПИТАН ВЕРНЕР И ПРОЧИЕ ДЕЛА

1

Капитан Вернер проснулся. Он спал голым на огромной медвежьей шкуре, покрытой простыней. Он ногами сбросил одеяло и рассматривал длинное, белое, мускулистое тело, поросшее рыжеватой шерстью. Медленно поднял ногу, потом другую и позвал:

— Иванов!

Денщик вбежал, едва капитан назвал его фамилию. Он был высок, белокур, но с узкими монгольскими глазами, с короткими не по росту руками. Верхняя губа у него дрожала. По всей его напряженной фигуре, по застывшему лицу и прилипшим к бедрам рукам было видно, что он не прижился у своего офицера и боялся его.

— Массаж! — приказал Вернер.

Иванов выбежал и вернулся без гимнастерки, с засученными рукавами, с банкой вазелина в руке. Капитан вытянул ногу, упер ее в живот солдата, и тот, подняв брови, начал массировать. Он втирал вазелин в кожу, разминал мышцы руками, хлопал по ним ладонями. Окончив массировать ногу, он осторожно опустил ее и взял другую. Губы его дрожали сильнее, он сжимал зубы и с непобедимым отвращением видел перед собой жесткое большое тело, волнистые гряды мускулов на животе, рыжую капитанскую шерсть. И когда Вернер лег на живот, подставляя денщику спину, Иванов сузившими от ненависти глазами смотрел на него и кусал дрожащие губы, чтобы сдержать крик.

Он уже полгода служил у Вернера денщиком, и все это время было для него таким тяжелым, что, не выдержав, он, несмотря на весь свой страх перед капитаном, просил о том, чтобы его отчислили в роту, и когда Вернер не согласился, по команде подал просьбу об этом же командиру полка. Вернер не бил его, он

даже не так плохо обращался с Ивановым, но было во всем существе капитана что-то такое, чего никак не мог освоить и переносить Иванов. Огромное рыжебородое лицо, выпуклые зеленые глаза, широкопалые волосатые руки, холодный металлический голос,— все это действовало на Иванова так, что он терялся и ничего не соображал. Его тошнило от отвращения, когда он, массируя Вернера, должен был вдыхать запах его тела — густой, звериный запах, пугавший его.

Вернер ничего не говорил Иванову, не упрекал его за то, что он хочет уйти от него. Он смотрел на него пустыми зелеными глазами и усмехался. И это было так страшно, что Иванов весь дрожал и с трудом удерживался, чтобы не закричать, не броситься бежать. У него не было особенно много работы, но все же он был занят круглые сутки, никуда не смел отлучаться без спросу, и часто капитан будил его ночью негромким холодным голосом и приказывал подать папиросы, лежащие тут же, или налить вина (бутылка стояла возле него на низеньком столике), или принести ночной горшок, хотя уборная была тут же в квартире. Видно было, что он ни одной секунды не думал о том, что Иванов может устать. Он обращался с ним как с кнопкой от звонка. Его власть над солдатом была беспредельна, убийственна, и Иванов знал, что всякое сопротивление этой власти должно привести его, Иванова, к гибели. И в наказании, которое Вернер придумал для денщика, было много оскорбительного и унижающего. Он ставил его на кухне под ружье в полной выкладке, но вместо винтовки заставлял его держать на плече кусок заржавелой железной трубы, которая прежде была в уборной. Наказание, кроме того, заключалось в том, что Вернер, зная, что Иванов хочет уйти в роту, не отпускал его и даже заявил ему с издевательской улыбкой:

— Прослужишь у меня всю службу. Работаешь ты исправно. Незачем тебе от меня уходить.

Вернер молча оделся, позавтракал и, не глядя на Иванова, ушел в роту. Он шел высокий, прямой, ставя ногу на весь след, и земля тихо гудела под ним. Увидя его во дворе, кто-то стремительно метнулся в роту, и как только он открыл дверь в сени, пронзительный голос скомандовал: «Смирно!»

Капитан смотрел пустыми глазами на дежурного, по-

ка тот рапортовал ему, и поздоровался с ним. Вернеру не было скучно в роте. У него была своя цель и своя задача — добиться, чтобы его рота была первой в полку. И те усилия, которые он затрачивал для достижения этого, были ему приятны, возбуждали его.

Он обошел солдат, вглядываясь в каждого и иногда задерживаясь на отдельных людях.

Как обычно, он остановился перед Орлинским. Заложив за спину руки, осмотрел его, велел ему выйти из рядов, обошел его со всех сторон и потом, как бы забыв его, заговорил с фельдфебелем. Но, говоря с ним, следил за Орлинским скошенным охотничьим глазом, как большой кот стережет попавшую к нему в лапы мышь. И когда Орлинский шевельнулся, Вернер неожиданно легко для его тяжелого тела повернулся к нему и мягко спросил:

— Ты что же шевелишься в то время, когда тебя вызвал ротный командир? Разве можно?

Он почти мурлыкал, кривые хищные когти прятались в мягких подушечках лап. И он выпускал их не сразу, а медленно, по разделениям, наслаждаясь растущим страхом и нескрытой тоской своей жертвы.

— Проверим, как вы знаете устав,— говорил он, расхаживая перед фронтом крупными шагами.— Скажи мне, Ерлинский,—он нарочно коверкал его фамилию,— имеешь ли ты право итти в театр?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— А не врешь, жидок? Не имеешь права без разрешения. Ну, хорошо, скажем, тебе разрешили, так на какие места ты пойдешь?

Орлинский молчал.

— На галерку пойдешь,— сладостно говорил Вернер,— на галерку, потому что в кресла ходят только благородные люди, и в том числе господа офицеры. Понял? А что ты будешь делать во время антракта?

— Выйду или останусь на месте, ваше высокоблагородие,— с трудом и задыхаясь, ответил Орлинский.

— Врешь, Ерлинский. На месте ты не имеешь права сидеть. Ты обязан встать и стоять до начала действия.

И, глядя холодным взглядом на роту, он говорил веско, отчеканивая слоги:

— Вы не имеете права курить на улице, ездить внутри трамваев и ездить в вагонах первого и второго клас-

са железных дорог, не имеете права ходить в городской сад, когда там играет музыка. Кто ответит — почему? Ты, Ермилов, отвечай.

— Так что, ваше высокоблагородие, потому что уставом запрещено.

— Без тебя, идиота, знаю, что запрещено, а почему запрещено?

И, широко расставив мощные, цепкие ноги, отвечал:

— Потому, что вы нижние чины, нижние, то есть вы низшие люди, низшим нельзя быть вместе с высшими. Поняли?

И, садясь верхом на стул, продолжал:

— Да, вы низшие в отличие от высших, от офицеров, которые являются вашими начальниками. Офицер — это доверенный царя. Его приказы вы обязаны исполнять, хотя бы вы издохли при этом. Власть офицера для вас святая власть, такая же святая, как власть бога, как власть царя.

Он мог так говорить долго. Из устава он выбирал только те пункты, которые говорили об обязанностях солдат и о том, чего они не имеют права делать.

Потом роту выводили на площадь, и начиналась маршировка. Вернер отдавал полевым занятиям мало внимания. Сложные тактические учения, приспособление к местности, решение боевых задач—все это было у него на втором плане. Зато шагистика опьяняла его. Расставив ноги, он стоял, смотря на проходящую перед ним роту, и считал мерно и густо:

— Раз-два, раз-два...

Солдаты знали, что он контролирует каждое их движение. Касаясь локтем друг друга, они подымали ноги, не сгибая их, и с силой опускали на землю. Они косились направо, чтобы ни на дюйм не нарушить равнения в рядах. Они втягивали животы и выпячивали груди.

— Нет звука, нет звука,— спокойно (он вообще никогда не кричал) говорил Вернер.—У всей роты должен быть один удар. Пройдем еще раз. Но раньше пробежимся.

Бег был той пыткой, которую он любил применять. Сам он бегал легко, крупными упругими скачками, как бегает олень. И, становясь сбоку роты, чтобы видеть людей, он протяжно командовал:

— Рота, бегом — м-арш.

Долго бежать в рядах, сохраняя равнение и ногу, с винтовкой на плече, с походным мешком и лопатой, с патронными сумками и фляжкой, было, конечно, трудно. Через две минуты большинство солдат выдыхались, через три-четыре — лица наливались кровью или бледнели, глаза выкатывались, из открытых ртов с хрипом и свистом вылетало дыхание. Но каждому было страшно распуститься, выпасть из темпа. Такой несчастливец знал, что его выведут из рядов и заставят бегать отдельно, на глазах у ротного командира. Кроме того, надо было быть настороже, чтобы по команде «шагом» сильно и всем вместе дать ногу. Если же ногу давали слабо и нестройно, Вернер негромко говорил:

— Плохо. Не вышло. Повторим.

И, дав короткий отдых, опять гонял роту бегом. Самое скверное для солдат его роты заключалось в том, что они боялись его. Его присутствие сбивало их, обращало в растерянных, плохо соображающих людей. И шагистика была единственным успехом третьей роты. Рота плохо шла по стрельбе, по полевой учебе. Никакими усилиями и наказаниями Вернер не мог добиться хорошей стрельбы. Лучшие стрелки мазали в его присутствии, так как боялись его и не могли владеть собой. «Пули отправлялись за молоком», по солдатскому выражению, и у Вернера сатанели глаза. Раз в полковом тире он сел сзади Полярного, ярославского крестьянина, одного из худших стрелков роты, и спокойно сказал:

— Не выполнишь упражнения — убью.

И расстегнул кобур револьвера.

Полярный стрелял лежа, без упора. С синим лицом, весь дрожа, он стал целиться, но винтовка прыгала в его руках. В мишени не оказалось ни одной пули. Вернер жадно смотрел на солдата.

— Ах, жалко, право, жалко,— сказал он,— вогнал бы я в тебя в упор пулю из нагана, чтобы ты, сукин сын, не мазал...

Солдатам было ясно, что он никогда не жалел их, не считал настоящими людьми. И дело было даже не в том, что он тянул их сильнее, чем тянули в других ротах. В конце концов Вернер не делал ничего такого, чего бы не делали и другие командиры. Но он полностью использовал свою власть и свое право быть для них выс-

шим человеком, он всегда давал им понять и почувствовать, что они низшие, бесправные, и что вся система, весь строй, который он для них олицетворял, дают ему полную возможность так думать и так поступать.

2

Приближался полковой праздник. На соборной площади готовился торжественный парад. Полковник Максимов собрал офицеров. Большой зал при штабе полка наполнился людьми. Собрания командного состава происходили редко и всегда вызывали беспокойство у офицеров. Беспокойство вызывалось ожиданием разных неприятных сообщений, а также неумением многих офицеров высказывать свои мысли и боязнью критиковать начальство. Сказывалась здесь и непривычка к товарищескому общению и к обмену опытом. Сходились главным образом на вечеринках—за вином, за закуской и картами. Там было просто и обычно, можно было поболтать и посплетничать, не упоминая о надоевшей всем службе.

Максимова еще не было, и офицеры разговаривали, стоя у стен. Отдельно держались штаб-офицеры, пожилые, грузные люди, высидевшие свой чин пятнадцатью или даже двадцатью годами службы. Вторую группу образовали ротные командиры и старые штабс-капитаны и третью — молодые поручики и подпоручики. И бирюком, ни с кем не разговаривая, стоял штабс-капитан Тешкин, которого не любили и чуждались все офицеры.

Тяжело ступая, вошел Максимов, сопровождаемый Денисовым. Полковник Архангельский подал команду, и офицеры вытянулись, опустив руки по швам.

Бредов пробрался в задние ряды. Туда же бочком помедвежьи подошел Тешкин, очевидно, рассчитывая, что тут никто не будет сидеть, смутился, увидев Бредова, минутку поколебался и, вздохнув, опустился рядом.

—... Мы покажем наш боевой полк,— говорил Максимов.—Пусть увидят его во всей его силе, во всем блеске строевой дисциплины... Нижние чины должны маршировать, как железные, грудь вперед, глаза на начальство... Внимания, больше внимания, господа офицеры, прошу уделять маршировке... Что может быть прекрас-

нее настоящей солдатской выправки? Солдат, который умеет хорошо маршировать, будет хорошо и драться...

Командир закончил. Офицеры молчали почтительно и солидно. На вопрос полковника Архангельского, кто хочет высказаться, не поднялся ни один человек. Все сидели с напряженными лицами, опустив глаза.

— Военные интеллигенты,— услышал Бредов ядовитый шопот своего соседа.—Жучки. Сидят, набрав в рот слюны. А у себя в ротах — орлы, Цицероны...

Поднялся толстый подполковник Телегин. Запинаясь и часто кланяясь в сторону Максимова, он попросил позволения доказать на примере, как важна маршировка, и привел случай, бывший на царском параде в Москве, когда такой-то полк плохо дал ногу, проходя мимо царя, и командиру полка был объявлен выговор в приказе по корпусу, несмотря на то, что полк был первым во всем округе по стрельбе. И господин полковник высказывает глубокую мудрость и знание боевого дела, требуя от офицеров внимания к маршировке.

Потом несколько слов сказал полковник Архангельский, и собрание закончилось. Бредов и Васильев вышли вместе. Маленький капитан недовольно крутил свои соломенные усики.

— Почему же вы не выступили, Владимир Никитыч?— спросил Бредов.— Разве вы согласны с тем, что говорил Максимов?

— Согласен или не согласен — это не играет в данном случае никакой роли,— сердито ответил Васильев.— Полагаете ли вы удобным, что обер-офицер публично выступает с критикой высшего начальника? Да и кроме того, я считаю, что командир полка не сказал ничего страшного. Он только был немного односторонен. Только и всего-с.

Бредов молчал, хотя ему и хотелось поспорить с Васильевым. Мысли его были заняты другим. Он думал о командировке в Петербург, которой он неофициально добивался через Денисова и штаб дивизии. Выйдет или нет?

Во дворе и на плацах целыми днями маршировали роты, готовясь к полковому празднику. В полном упоении работал Вернер со своей третьей ротой, считая,

что он должен занять первое место в полку. Рано утром он выводил роту на плац. Его младшие офицеры — старый штабс-капитан Блинников и поручик Журавлев, известный в полку картежник и пьяница, — являлись позже его, так как в своем нетерпении вымуштровать роту Вернер приходил на занятия раньше положенного времени.

Он ложился на землю впереди марширующего фронта и проверял, одновременно ли, в один ли такт подымаются и становятся солдатские ноги. Ложился сбоку и смотрел, чтобы все сто ног давали, подымаясь, один просвет. Велел протянуть по земле веревку и останавливал роту в тот момент, когда носки солдат опускались на нее. Таким путем он узнавал правильность равнения в рядах. Он извел людей, похудел сам в эти дни, но добивался своего. Он слушал удары сапог о землю, и если звук удара получался неровным, заставлял роту еще и еще раз повторять маршировку. Он отменил боевую стрельбу, которая по расписанию должна была происходить в полковом тире.

— Успеем настреляться, — ответил он Блинникову, напомнившему ему о стрельбе, — тут поважнее дела есть.

...Полк маршировал. Тысячи солдатских ног били землю, тысячи носков вытягивались вперед, печатая шаг, и осатаневшие взводные и отделенные бегали вдоль рядов, бешено и в отчаянии ругались и, пользуясь случаем, били отстающих солдат.

Полк маршировал. Были отставлены полевые занятия, и офицеры вели споры о преимуществах и недостатках прусского шага, и знатоки доказывали, что русская система маршировки лучше германской.

В день полкового праздника занятия не производились.

С шести часов утра солдаты чистили бляхи, пуговицы и сапоги, осматривали винтовки и обмундирование. В восемь часов в роты явились офицеры. Вернер пришел в семь часов и молча обходил солдат, осматривал портянки и каблуки сапог. Швырнул в лицо Орлинскому неправильно скатанную шинель и, когда тот вскочил с побелевшими губами, посмотрел на него сощуренными глазами, точно ожидая, что сделает солдат. Орлинский шатался, покруглевшие сумасшедшие глаза не отрывались от рыжебородого лица офицера. В казарме

стало тихо. Никто не шевелился. Орлинский застонал, его глаза закрылись, колени сдвинулись и руки прижались к бедрам. Вернер отвернулся и скомандовал выводить роту во двор. Целый час он заставлял проделывать маршевые упражнения, остался недоволен и сказал, став перед фронтом:

— Сегодня на параде мы должны быть первыми. Хорошо пройдете — ставлю вам угощение, а если плохо,— он помолчал, оглядывая людей холодными зелеными глазами, так что каждому казалось, что он смотрит на него,— если плохо — загоняю насмерть.

За два часа до начала парада роты уже вывели на площадь. В соборе шло богослужение, добротные купеческие колокола позванивали мягко и густо. Солдатам позволили стоять вольно. Смирнов, туго перетянутый широким желтым кушаком, путаясь в длинной шашке, хозяйственно оглядывал роту и ворчливо указывал солдатам на плохо заправленные гимнастерки. Колокола зазвонили сильнее, и из собора показалось блестящее шествие. Впереди с золотой медалью на черном сюртуке шел городской голова. Командир полка выходил рядом с бригадным — маленьким толстым генералом. А за ними шли купцы, офицеры, чиновники и дамы. Офицеры были в парадных мундирах, украшенных орденами. Заиграл оркестр, офицеры стали на свои места, полк замер, и генерал с полковником Максимовым пошли по фронту. Генерал был известен пронзительным голосом и еще тем, что с солдатами разговаривал только в неопределенном наклонении. Он отрывисто бросал короткие фразы, и Максимов почтительно кивал головой.

— Здорово, орлы,— кричал генерал, и орлы по-ротно отвечали генералу.

Обход кончился. Была подана команда к церемониальному маршу. Генерал важно стал на возвышении. Оркестр заиграл фанфарный марш. Медные сверкающие волны катились по площади, наполнили ее блеском и праздником, и задрожали низенькие провинциальные домики, оживленные бравурной музыкой. Взводными колоннами, упруго подымая ноги, пошли роты. Опьяненные музыкой, маршировали молодые поручики. Капитаны с последней лихостью несли тяжелеющие тела. Подполковники шли впереди своих батальонов, как

тяжелая артиллерия. По синему воздуху плыло полковое знамя. Соборный протопоп высоко подымал золотой крест. Хмель начинающейся весны мешался с хмелем музыки. Толпа смотрела радостными, вытаращенными глазами. Ровные солдатские шеренги шли мимо генерала, офицеры, салютуя, резко опускали горящие на солнце сабли, точно гасили их.

Крепко ставя ногу, шагал Карцев, рядом топал Чухрукидзе, молодецки маршировал Петров, и все они были захвачены властью музыки и ритмом плавного движения сотен людей, из которых каждый ощущал локоть товарища, чувствовал себя единым стоногим существом.

Вот на фланге своей роты Мазурин. Винтовка колышется на его плече, правая рука рубит воздух, и на лице спокойное бездумное удовлетворение — хорошо Мазурину итти под музыку.

Идет третья рота. Вернер на ходу оглядывает солдат и заглушенно бросает в шеренги:

— Просвет! Ногу бросать, как топор... Взводные и отделенные, следить за ногой! Чтоб гудело...

Он идет впереди, как укротитель, как гипнотизер. У солдат каменные лица, их глаза прикованы к огромной фигуре Вернера; они идут, стиснув зубы, их ноги, подымаясь, дают один просвет, а опускаясь, бьют землю, как молоты, и земля гудит под их шагом.

...Здорово идет третья рота! Генерал доволен. Он машет рукой, он вызывает капитана Вернера и перед всем полком благодарит его, — молодец капитан Вернер, он будет отмечен в приказе. Разгорается легкий, вежливый спор о маршировке, о парадах, о том, как лучше надо ставить ногу. Генерал говорит, что никогда не поверит, чтобы та часть, которая не может хорошо пройти, была бы боеспособной частью. Полковник Максимов полностью соглашается с ним... Прекрасно это, когда под музыку идет полк со знаменем... Что может быть лучше?..

— Вот так, петушок мой, всегда бывает, — проникновенно и задумчиво говорил капитан Федорченко своему младшему офицеру, поручику Жогину, возвращаясь с ним с парада. — Обучайте солдат ходить, рвите из них кишки, пока не дадут ножку так, как вы хо-

тите. Это самое важное. На смотру заметят, что ваша рота хорошо марширует, вот вам и награда, вот вас и в приказе отметят. Учитесь, петушок, у старого офицера... Плохому вас не научу.

3

В ротах кончаются занятия, Иванов толчется на маленькой кухне, потом бежит в комнаты и осматривает каждую вещь, каждый вершок пола. Вернер, приходя, беглым, но внимательным взором проверяет все, и малейшая неисправность влечет за собой язвительное словесное издевательство или наказание.

И вот — он знает, что капитан идет. Он вытягивается, его глаза мертвеют. Вернер отдает ему фуражку, медленно снимает шашку. Он незаметно осматривает комнату, косится на Иванова. И солдат вспоминает: за все время своего пребывания тут он ни разу не был спокоен, ни разу по-настоящему не отдыхал. Всегда на-чеку, всегда в напряжении.

Капитан опускается на низкий диван, и Иванов бросается к его ногам — снимать сапоги.

— Белье выгладил? — спрашивает Вернер. — Показать!..

Иванов бежит к шкафу. Вернер, щурясь, осматривает белье. Он аккуратен, он проверяет все сам, все до мелочей. Оттопырив губы, он пишет что-то на узкой бумажке блокнота, вырывает ее и дает Иванову.

— Завтра, — говорит он, — у меня будут гости. Отнести это в собрание буфетчику. Перетаскать сюда все, что он даст. Смотри, не разбить бутылок.

И он валится на свою медвежью шкуру.

На другой день Иванов весь день таскает покупки. Он работает весь день, никто не помогает ему. Он раздвигает добавочные доски стола, накрывает его, подготовляет в кухне запасные батареи бутылок. И когда к вечеру возвращается Вернер, все готово.

В десятом часу приходят первые гости. Это полковой батюшка отец Василий, высокий костлявый человек с желваками на лице и глубоко прорезанным щучьим ртом, и поручик Никитычев, когда-то блестящий гвардеец, переведенный в армию за пьянство

и какую-то темную картежную историю. Они входят, им неловко, что они пришли первыми, и отец Василий опытным взглядом оценивает угощение, выставленное на столе.

Собираются гости. Полковой адъютант Денисов, в котором заискивали офицеры и охотно приглашали его к себе, штабс-капитан Бредов, капитан Любимов, толстый, лысый человек с лицом, иссеченным морщинами, глубокими, как шрамы, и командир первой роты Федорченко, самый старый в полку капитан, грустный, желчный человек с опухшими подагрическими руками. Щеголеватый подпоручик Руткевич и младшие офицеры Вернера — пожилой штабс-капитан Блинников и поручик Журавлев, в старом затрепанном кителе.

Офицеры шумно усаживались, священник пролез первым и, не в силах больше ждать, наливал себе большую рюмку водки. Никитычев лил водку в чайный стакан и, облизнувшись, выпил ее спокойно, не отрываясь, как пьют воду или холодный чай.

— Полегче, батя, — уныло шутя, сказал Блинников, смотря, как мощно и сочно пожирает священник селедку и балык сразу с двух тарелок. Сам он стеснялся есть, боясь, как это часто бывает у бедняков, объесть хозяина. И тихо завидовал Вернеру, который не был стеснен в деньгах и мог устраивать такие пирушки.

Никитычев, много пивший, но не пьяневший, с треском разорвал новую колоду. Журавлев сейчас же поднялся, поглядывая на богатого Руткевича, и, хихикая, стал его звать к карточному столу. Игра разгоралась. Никитычев, искоса посматривая на своих партнеров, держал банк.

— Вам нельзя, — сказал он Руткевичу, — вы еще молоды и, кажется, много выпили.

— М-молчите, суслик,— надменно ответил Руткевич, пытаясь расстегнуть свой китель из золотистого японского хаки.— Ва-банк...

Никитычев улыбался и смотрел на него. Журавлев, открыв рот, гудел от волнения. И после двух кругов банка он тихо свистнул и, хищно нагнув голову, стал следить за Никитычевым. Улучив момент, он накло-

нился к поручику и, глядя на него злыми глазами, шепнул:

— Я в доле... Вот так-с...

Никитычев не отвечал. В банке была груда скомканных бумажек, серебро, золото. Блинников, судорожно перекрестившись, зажмурил глаза и слабым голосом попросил карту. Он выиграл и, обезумев, смотрел на деньги, которые перед ним положили. И вдруг решившись, подвинул стул и сел на краешек. Руткевич, икая и покачиваясь, опустошал свой бумажник. Священник, синея лицом и просунув голову между играющими, смотрел на него и на Никитычева.

— Банк стучит, — резко сказал Никитычев, ни на кого не смотря, но обращаясь к одному Руткевичу.— Прошу, господа.

Блинников, бледнея и закрывая глаза, долго не решался назначить сумму. Он в отчаянии смотрел на груду денег, которые так легко могли перейти к нему, и украдкой поглядывал на свою карту.

Отец Василий заглянул в его карту и, быстро отпахнув полу рясы, достал кошелек.

— Мажу, — хрипло сказал он Блинникову и добавил шопотом: — Ведь у тебя туз, икона, чего смотришь?

Блинников застонал, посмотрел на него заячьими глазами и, почти плача, пролепетал:

— Благослови, батя.

— Дура,—сердито ответил поп,—икона... Гони же...

Блинников, задрожав, двинул все деньги.

— Карточку, — невнятно попросил он.

У Никитычева была семерка. Он прикупил к ней короля, потом даму и, выругавшись, открыл четвертую карту...

— Двадцать одно, — сказал он.

— Двадцать, двадцать было, — прорыдал священник, — к тузу девятка у нас пришла.

Он бросился к бутылкам. Блинников мешком сидел на стуле. У него обвисла челюсть, застыли глаза.

Последним играл Руткевич. Он плохо соображал, но чувствовал себя героем. Все глаза были обращены на него.

— Ва-банк,— прокричал он.

Никитычев медленно достал папиросу и придвинул

к себе блестящий серебряный портсигар. Карты он давал четко, низко бросая их над столом. Проигравшийся Журавлев не спускал с него глаз. Никитычев набрал себе семнадцать очков, подумал, снял еще карту, подержал ее рубашкой вверх и решительно открыл.

— Валет, — ахнули все, — ну и везет!

— Я думаю, довольно, — сказал Никитычев.

Он, не глядя и не считая, небрежными, размашистыми жестами рассовал деньги по карманам. Налил полный стакан вина и выпил залпом. Журавлев, извиваясь длинной, узкой фигурой, пробрался к нему и взял его под руку.

— Надо освежиться, — пробормотал он, задыхаясь, — вот сюда...

Он почти тащил его, и Никитычев неохотно шел за ним.

— Хорошая игра была-с, — нервно сказал Журавлев, извиваясь как угорь, — позвольте закурить.

Но он не взял папиросу, а схватил портсигар, как бы любопытствуя рассмотреть его.

— Приятная работа, — говорил он, рассматривая его. И значительно добавил: — Полезная вещь... хе, хе... Так сказать, полезное соединено с приятным.

И вдруг, достав из кармана карту, подержал ее над портсигаром рубашкой вверх. В блестящей поверхности она отразилась ясно.

— Дама-с пик...— хихикнул Журавлев, близко придвигая свое лицо к лицу Никитычева. — Страшная карта-с. Герман, ежели помните, на ней погиб. Много выиграли?

Они молча смотрели друг на друга.

— Чорт с вами, — тихо сказал Никитычев, — отдайте портсигар. Вам нужны деньги? Двадцать пять рублей могу вам дать. Только не дышите на меня. У вас изо рта нехорошо пахнет.

Прыщи на лице поручика налились кровью.

— Не хочу,— грубо сказал он,— я же вам сказал, что я в доле. Половину — или ничего.

— Где же считать? — устало спросил Никитычев.— Давайте до завтра, а?

— Дураков нет,— прошипел Журавлев.

Он втащил Никитычева в уборную и запер дверь.

— Здесь чисто, — сказал он, опуская сидение стульчака.— Считайте.

Капитан Федорченко обнимал Блинникова.

— Вот уже сколько раз обходят, — жаловался он.— Одиннадцать лет я уже капитан, и все же меня не производят в подполковники. А мне уже пятьдесят шесть лет, скоро уволят по возрасту. Всюду нужны связи и протекция. А где я их достану?

— Мы чиновники, только чиновники, — пьяно бормотал Блинников.

— Врешь, — густо ответил Вернер и встал, руками опираясь на стол, — врешь. Мы не чиновники, на нас держится вся Россия. Кто спас Россию от революции девятьсот пятого года? Армия! А кто руководил ею, кто держал ее в железных перчатках, не давал волю солдатской сволочи? Мы! Русские офицеры. Полковник Мин спас Москву — честь ему и слава. Он сумел заставить семеновцев стрелять в революцию, хотя они не хотели этого.

Бредов разговаривал с Денисовым. Он доказывал Денисову, что наша армия хуже иностранных, потому что у нас мало культурных офицеров, а верхушка армии — большею частью гнилая.

— Ты прогляди книгу, где записаны генералы, — говорил он. — Все князья, все графы, все знатные фамилии. А куда, скажи, девались разночинцы, самые способные и талантливые наши офицеры? Их затирают. И что же получается? Всюду косность, живут старым, поклоняются не живому человеку, а его фамилии. Разве у нас есть полководцы? Гриппенберг, Каульбарс, Стессель, Куропаткин — вот они, современные Суворовы! Ах, до чего мы пали, Андрей, в каком болоте мы живем!

Поздно ночью пришли денщики, за которыми бегал Иванов, и потащили и повезли домой осовелых, бесчувственных офицеров.

4

Иванов рос, как обычно растут бедные дети в деревне,— на картошке, черном хлебе, пустых щах. Животастым мальчишкой пас стада, ходил в ночное. По праздникам водили его в церковь, раз в год он говел. Слышал, как в недород батюшка утешал крестьян,

обещая им какую-то помощь с неба. И теперь, испробовав все пути уйти от Вернера, он вдруг вспомнил про полкового священника.

И он решил пойти к священнику просить его помощи. Неспособный на ухищрения и весь измученный, он упал в ноги отцу Василию, покорно поцеловал его руку и, стоя на коленях, тихо, как на исповеди, рассказал ему, зачем он к нему пришел. Отец Василий слушал его, почесываясь под рясой. Потом с недоумением спросил:

— Почему же ты ко мне за этим пришел? Такие дела меня не касаются. Тут, брат, по команде подавать надо.

— Подавал, — печально ответил Иванов, — отказали мне, батюшка. Я и командиру полка подавал. Не хочет меня капитан Вернер отпускать.

Священник сердито мял бороду.

— Вот и дурак, — ответил он. — Что же ты хочешь, чтобы я сильнее командира полка был?

— Думал, батюшка, что вы попросите барина отпустить меня в роту.

Отец Василий хотел покричать на него, но выражение лица Иванова остановило его.

«До предела дошел,— подумал он,— привел его, видно, Вернер к отчаянию. Это он может... Прогонишь его, а он решится еще на нехорошее, бунтовщицкое».

И, привычно откинув широкие рукава рясы, он начал убеждать Иванова, что тот должен потерпеть. Бог послал ему трудное дело, чтобы испытать его. А присяга обязывает его верно исполнять всякую службу. Грешно роптать солдату и христианину.

И он велел Иванову читать утром и вечером «Отче наш» и «Верую» и смириться в мыслях, ибо господь не любит гордых.

Иванов слушал с мертвым лицом, принял благословение священника и вышел. Котелок был с ним, он пошел в роту за обедом. С горькой завистью он смотрел на шумно разговаривающих, смеющихся солдат, и их жизнь показалась ему легкой и прекрасной жизнью. Так арестант, истомившийся в одиночке, завидует арестантам, сидящим в общей камере, потому что они могут разговаривать и общаться друг с другом. Он присел к общему столу, ему не хотелось итти отсюда.

Он завидовал солдатам вернеровской роты, а они, завидовали солдатам других рот, где командиры были лучше и жилось легче, чем им. Иванов в тоске смотрел вокруг — неужели же никто не может помочь ему? И вдруг простая мысль пришла ему в голову. Он убежит. За побег полагается арест, — ну что же, он отсидит хоть месяц, это все же легче, чем быть у Вернера денщиком. И Иванов встал и вышел из столовой. Он был в таком состоянии, что не мог думать ни о чем другом, кроме того, что он не вернется к Вернеру, как человек, истомленный бессонницей, не может думать ни о чем другом, кроме сна. Котелок был у него в руке. Он сдал его на кухню, попросил повара оставить его у себя до завтра. И пошел, нагнув голову, из казармы, из города.

Улицы по-новому мелькали перед ним. Каждая улица была частью пути, уводившего его от Вернера. У него не было никаких колебаний, он не принимал твердых решений. Он шел бездумно, усталый до того, что не мог себе ничего представить, кроме того, что он отдохнет от Вернера. В городе у него не было знакомых, и город был слишком близок к тому месту, от которого он уходил. И он шагал, шагал вперед, пока не кончились последние дома и перед ним открылись лес и поле, дорога и узкие, поросшие травой тропинки. Темные массы хвои на горизонте казались густым зеленым дождем, тонкие стволы берез сверкали серебряными столбиками, и дальние просеки белели, как развешанные в лесу рубахи. Иванов сошел с дороги, углубился в лес и так шел, стараясь забраться поглубже, подальше.

Ему захотелось отдохнуть, и он лег под сосной на кучу прошлогодних, побуревших игл. Тут было так тихо, так хорошо, так спокойно, что он засмеялся от счастья. И смеясь и улыбаясь, повернулся на правый бок и уснул.

Три дня он бродил по лесу, изголодавшись, выходил в соседние деревни за хлебом, а потом его арестовали и отправили в полк. Ему дали десять суток ареста, и, отсидев, он был отправлен обратно к капитану Вернеру, который заявил, что не хочет другого денщика, кроме Иванова.

5

Полк переехал в лагери. Лагери были расположены в нескольких верстах от города в тенистой тополевой роще. Широкие аллеи, посыпанные песком, шумящая свежая зелень деревьев и белые горбатые палатки придавали лагерю красивый, нарядный вид. И те, которые приходили сюда со стороны, штатские, вольные люди, могли подумать, что в этом нарядном лагере живется легко и весело. На деле было не так. На деле этот лагерный сбор 1914 года был одним из труднейших сборов за последние годы, так как частые инспекторские смотры, происходившие тогда, выявляли крупнейшие недочеты в боевой подготовке армии, в состоянии ее вооружения, санитарной, продовольственной и транспортной части. Инспектора заставляли в своем присутствии проводить боевые стрельбы, сложные тактические учения, ночные наступления и на разборах упрекали командиров частей в отсталости, в непонимании того, что представляет собой современный бой, и в плохой подготовке рядового, унтер-офицерского и офицерского состава.

Инспектор, ревизовавший полк, был худой, желчный генерал генерального штаба. Проводя учение на стрельбище, он потребовал, чтобы взводы десятой роты, наступавшие уступами так, что одни взводы находились сбоку и сзади от других, стреляли боевыми патронами. Учение проводилось с участием запасных, призванных на поверочный сбор, и капитан Васильев доложил генералу, что он не ручается за последствия, и что могут быть несчастные случаи.

— Ну, конечно, я так и знал, — ответил желчный инспектор, — ни одна часть не соглашается проводить боевую стрельбу в таких условиях. Что же будет в настоящем бою? Вы думаете, что немцы будут с вами церемониться, будут ждать, пока вы научитесь по-настоящему с ними драться?

Васильев молчал, стоя перед генералом с рукой у козырька. Он знал, что бесполезно говорить о том, что запасные, пополнившие роту, отсырели за годы мирной жизни и никуда не годятся как боевой материал. Генерал все равно накричал бы на него и был бы по-своему прав. В его задачу входило обследовать

десятки тысяч людей, и одна ничтожная рота не могла привлечь его внимания.

Полковник Максимов, нахмуренный и вспотевший, стоял возле генерала.

Он не учился в академии генерального штаба и думал, что инспектор, не доверяя ему, больше поэтому придирается к нему. И когда вернеровская рота, бывшая в резерве, выдвинулась на боевую линию, Максимов расцвел и, со значительным видом наклонившись к инспектору, сказал ему:

— Лучшая моя рота, ваше превосходительство, на смотрах всегда первая.

Генерал кивнул ему и подозвал к себе Вернера.

— Неприятель там, — резко сказал он, показывая на темную кудрявую кромку леса. — Примерно две тысячи шагов. Разведка донесла вам, что у него около роты. Он поддерживает редкий ружейный огонь. Местность холмистая—учитываете? Ваша рота должна его выбить. С левого фланга вас поддерживает вторая рота, с правого—четвертая. Ваше исходное положение— вот эта роща. Итак, прошу, капитан. Начинайте.

Вернер повел наступление. Его взводы наступали отдельными отрядами, первый и второй — рассыпавшись в цепь, третий и четвертый, резервные — колоннами. Первый взвод сразу выдвинулся вперед на открытое место, второй, руководимый Журавлевым, перебегал неуклюже, целыми отделениями, далеко оторвавшись от первого, и, сбившись тесной кучей, топтался на открытом месте под неприятельским обстрелом. Вернер, потеряв управление взводами, кричал и ругался, перебегал с места на место и, махая шашкой, звал людей к себе. Штыковой удар он начал на слишком большом расстоянии от неприятеля, и было ясно, что рота будет уничтожена еще раньше, чем она пробежит половину отделяющего ее от противника пространства. Вернер, бравируя, бежал впереди роты с обнаженной шашкой и кричал «ура».

— Что он делает? — в отчаянии повторял генерал.— Боже мой, что он делает? Это же чорт знает что такое.

И когда операция кончилась, и офицеры собрались вокруг него, он строго и печально оглядел их и сказал, нервно поглаживая желтые усы:

— Совсем плохо, господа. Удручающе плохо. Страшно воевать с такой армией. Я хотел бы обратить ваше внимание на действия третьей роты. Первая ошибка ее командира в том, что он неправильно расположил боевой порядок. Два взвода у него в цепи, два в резерве в то время, когда лучше было оставить только один — и под огнем эти взводы все же идут колоннами. К местности он применялся совсем плохо. Перебежки под сильным огнем неприятеля надо было вести в одиночку или звеньями, у него же перебегали целыми отделениями, совсем почти не пригибаясь. Залегая после перебежек, солдаты не окапывались — это значит, что половина из них была бы перебита. Наконец штыковой удар начался без подготовки огнем и с такого расстояния, что если бы даже солдаты и не задохлись от бега на эту дистанцию, то их перестреляли бы всех. Только две-три роты, в первую очередь десятая, действовали неплохо, остальные же совсем слабы.

Прибыл начальник дивизии генерал Потоцкий. Вокруг инспектирующего генерала стояли командир полка, его помощник, начальник дивизии, его адъютант. Разговор шел о результатах инспектирования, которому генеральный штаб придавал очень большое значение.

— Трудно и ужасно подводить итоги, — говорил желчный генерал.— Имея своим вероятным противником такую высококвалифицированную армию, как германская, мы постыдно отстали в военной учебе. Многие живут еще тем, чем жили в японскую войну. Держатся линейной тактики. Артиллерия хороша, но действовать вместе с пехотой не умеет. Придается преувеличенное значение штыковому удару, забывая о том, что огневая сила настолько возросла, что преждевременная атака смерти подобна. В частях много времени отдают шагистике в ущерб полевым занятиям.

Инспектор считал, что сверху плохо руководят боевой подготовкой армии и неверно представляют себе ее действительное состояние. Очень скверно изучен опыт последней войны. Не учтены многие важнейшие положения, которые в иностранных армиях уже получили высокое развитие. Не понимают совершенно изменившееся по сравнению с прошлыми войнами зна-

чение огня в современном бою. Драгомировское учение о силе штыка имеет еще многих поклонников. Мало внимания уделяют одиночной подготовке бойца, а ведь солдаты у нас превосходные...

Инспектор, не старый человек, бывший недавно военным атташе в Германии, имел много неприятностей в Петербурге, когда вносил свои предложения по реорганизации русской армии. Добившись аудиенции у военного министра, он указал ему, что теперешнее состояние армии внушает серьезнейшие опасения. Министр, генерал Сухомлинов, красивый надушенный старик с седыми усами и генерал-адъютантскими вензелями на погонах, посмотрел на него с выражением скуки и сожаления и ответил:

— Предоставьте нам все знать и обо всем заботиться. Могу вас уверить, генерал, что армия находится в блестящем, великолепном состоянии и обеспечена всем необходимым.

Начальник генерального штаба встретил генерала еще суше. Про него было известно, что он больше администратор, чем строевой генерал, и он поэтому тем ревнивее относился ко всем критическим замечаниям о своей работе. Кроме того, он был опытный бюрократ (как и министр и другие) и знал, что при существующей системе самое важное заключается не в том, чтобы хорошо работать, а в том, чтобы поддерживать нужные, высокие связи и быть в курсе всех придворных интриг.

Беспокойный генерал был послан в провинцию инспектировать армию, и оттого, что он действительно видел, что все делается плохо, и от чувства обиды на своих начальников, он фрондировал и критиковал военное министерство.

На обеде у командира полка за вином он стал еще откровеннее и, желчно улыбаясь, рассказал о том, что недавно армии было отказано в совершенно необходимых средствах на увеличение числа пулеметов, но зато утверждены штаты на содержание церковных причтов в полках.

Полковник Максимов, плохо разбиравшийся в вопросах политики, напыщенным голосом сказал, что, вероятно, нам придется бить не только немцев, но

и англичан, которые заодно с немцами завидуют могуществу России.

Инспектор, маленькими глотками попивая вино и с пренебрежением глядя на провинциального полковника, ответил, что вряд ли нам придется воевать с Англией.

И, оглянувшись, он рассказал о новых корпусах, которые должны быть сформированы, и значительно добавил, что очень важно провести увеличение армии еще до того, как Германия нападет на нас.

— Значит, скоро война, — сказал полковник Максимов, с удовольствием вспоминая, что тогда генеральские погоны он получит раньше, чем в мирное время.— Ну, что же, мы готовы.

Генерал посмотрел на него. И, уходя, думал о том, что этот грузный недалекий командир полка ни к чорту не годится, но он все же петушится и заявляет, что готов к войне.

II

Ночь была тихая. За дорогой пропали желтые лагерные огоньки. Шли под откос, в черную круглую бездну, казавшуюся морем, по которому темными волнами плескался теплый воздух. Винтовки были взяты на ремень, люди двигались тесно, некоторые осторожно простирали вперед руки, чтобы не наткнуться на передние ряды, и когда сверкнул откуда-то острый, недобрый луч прожектора, пробивая толщу тьмы светлым, холодным копьем, на мгновение показался строй штыков, похожий на невиданный посев серых толстых колосьев. Капитан Васильев, глухо посвистывая, шел впереди своей роты. Бесшумно ставил он во весь след ноги, передвигал их легко и упруго, поглядывал вокруг и, хотя ночь была черная как деготь, шел уверенно и спокойно, очевидно, не боясь сбиться. Только раз он на минуту остановил роту. Лег на землю, с головой покрылся плащом и, засветив электрический фонарик, бегло поглядел на карту. Потом встал, отряхнулся от приставшей к коленям и локтям пыли и тихо скомандовал переменить направление. Приказ шопотом передали по взводам. Бредов прошел к командиру, и попрежнему ощупью люди двинулись

вперед. Что-то большое совсем низко пролетело над ротой, от него пахнуло ветром, и издали, оттуда, где должен был быть лес, донесся резкий ухающий звук.

— Филин, — вполголоса сказал кто-то.

Незаметно разошлись тучи. Теперь можно было различить молодую всходящую рожь и чуть сереющую полосу дороги, точно выстланной суровым полотном. Лес оказался близко. Он темнел, как гора с неровными готическими зубцами. Прошли еще немного и опять остановились. Послышался шорох, Васильев приложил к уху согнутую ладонь. Кто-то быстро и легко бежал сквозь шуршащую рожь, и вдруг, со свистом рассекая воздух, косматая тень упала сверху, тоненький, жалобный крик донесся до людей, и, тяжело ударяя крыльями, большая птица полетела к лесу, унося в когтях бьющегося зайца.

Васильев, вслушиваясь в тишину ночи, ходил по дороге. Скоро вернулись первые разведчики. Унтер-офицер Колесников тревожным шопотом докладывал командиру, рукой показывая на юго-запад. Васильев сердито сказал:

— Что ты путаешь, братец? Откуда там может взяться противник? Он находится совсем в другом направлении (он ткнул пальцем на северо-восток).

Колесников, почтительно сутуля костлявые плечи, еще раз доложил, что им замечена колонна, движущаяся как раз на десятую роту, и Васильев, оставив вместо себя Бредова, решил сам выяснить положение. Петров, взволнованный этим первым ночным походом, в котором он участвовал, с интересом и некоторым страхом следил за тем, что происходит вокруг него. Ему казалось, что сейчас случится какая-то неожиданность, что всех их внезапно окружат и прекрасная ночная игра кончится быстро и скучно. И он невольно подался вперед, когда Васильев медленно проходил мимо, и капитан, остановившись возле, приказал ему и Рогожину следовать за ним.

Они шли гуськом — впереди Васильев, за ним Петров и сзади Рогожин. Капитан тихо подозвал Петрова, и тот, напрягаясь от готовности выполнить все, что ему прикажут, подошел к офицеру.

— Видите там дерево? — сказал Васильев, показывая рукой. (Петров упорно смотрел и ничего не ви-

дел.) — Ну, все равно, идя в этом направлении, вы на него наткнетесь, примерно, через триста шагов. Осторожно обследуйте местность шагов на двести впереди дерева и скоренько возвращайтесь сюда. Рогожин пойдет в другую сторону. Я иду прямо. Сбор здесь через двадцать минут. Берегитесь, чтобы вас не заметили.

Петров, нагнувшись, крался вперед. Ту же радостную и жуткую взволнованность испытывал он, когда в детстве играл с ребятами в казаки и разбойники. Млечный путь серебристой мутью протекал над ним. Какой-то крошечный зверек шмыгнул из-под самых его ног в рожь. Дерева не было видно, хотя он прошел больше трехсот шагов, и в ту минуту, когда он хотел уже свернуть в сторону, он услышал тихие голоса и, испуганно остановившись, увидел неясные контуры дерева совсем близко от себя. Голоса доносились из-под дерева. Там, очевидно, сидели двое, и голос одного из них показался Петрову очень знакомым. Он пополз, прижимаясь к земле, правой рукой поддерживая винтовку.

— Да ну вас к чорту,— сказал сердитый голос,— говорил же я вам, что мы взяли гораздо правее, чем надо было. Теперь выпутывайтесь.

Ему ответил петушиный голосок:

— Но ведь вы согласились со мной. Я и повел роту...

— Согласился, согласился,— прервал его первый голос.— Доверился молодому офицеру... наполеончику... Эх, вы... перо...

Петров уже полз обратно. Потом вскочил и, низко пригибаясь, на цыпочках побежал, широко открывая рот, чтобы не было слышно его шумного (как ему казалось) дыхания. Рогожина не было. Васильев шел ему навстречу. Петров прерывающимся голосом доложил, что слышал голос поручика Жогина, разговаривавшего с кем-то под деревом.

— Первая рота?—задумчиво сказал Васильев.—Куда же они зашли? Им надо быть за три версты отсюда.

Он велел Петрову итти за ним и пошел к дереву. Они встретили всю первую роту. Васильев, подойдя к старому капитану Федорченко и отозвав его в сторону, тихо стал ему что-то говорить. Петров, стоявший не-

далеко, слышал, как Федорченко, склоняясь к Васильеву, умоляюще говорил ему:

— Ну, голубчик, с кем греха не бывает? Ну, заблудился малость. Только уж вы, покорнейше вас прошу, не говорите никому... Уж пожалуйста...— И добавил заглушенным голосом:— Карта, она, сволочь, подвела. Ночь, темнота египетская... Уж вы, родной мой, проверьте со мной вместе, куда нам теперь итти. А то опять собьемся.

И капитан Федорченко зажег свой электрический фонарик (свет на секунду выхватил щербатый мысок носа, усы и напряженно сжатые губы) и следил за пальцами Васильева, двигавшимися по карте.

Рогожина Васильев послал к Бредову, и они остались вдвоем с Петровым.

— Подождем немного,— сказал Васильев, садясь на низенький межевой столбик.— Садитесь, вольноопределяющийся!

Петров опустился на землю и положил винтовку возле себя. Его отношения с Васильевым уже утратили ту напряженность, которую они приобрели после разговора о японской войне. Васильев благожелательно встречал его и иногда добродушно спрашивал, как занимается его дочь. И Петров с готовностью отвечал:

— Чудесно занимается. Очень хорошая девочка.

Несколько времени они молчали. Ночью, в темноте, молчится легко. Они слушали, как тихо потрескивало в траве какое-то насекомое, как грустно и будто удивленно засвистала в лесу птица и почти неслышно, сонно шелестела молодая рожь. Густой сыроватый грибной запах шел от земли, и Петрову было приятно вдыхать его.

— Вы замечали,— спросил капитан,— как успокаивающе действует природа? Первую минуту кажется скучно, а потом человека понемногу засасывает очарование. Редко это случается и потому действует сильнее на городских людей, как я, например.

— Тишина, спокойная ночь и война,— ответил Петров, следуя ходу своих мыслей.— Мы крадемся и подстерегаем противника — где же тут быть таким спокойным, чтобы почувствовать красоту ночи?

— Напрасно вы так думаете,— привычно теребя уси-

ки, сказал капитан.— Наоборот, чувство опасности обостряет в нас и другие чувства. В войне тоже много своей красоты, несмотря на всю ее жестокость. Там можно творить, комбинировать. Там нужна неумолимая точность и четкость действия, там хорошо проверяется человек.

— Но ведь страшно,— извиняющимся голосом произнес Петров. — Вечно, должно быть, мучит страх смерти, боязнь, что тебя могут искалечить...

— Ну, без этого нельзя,— спокойно ответил Васильев. — Какая же это иначе война? И потом не всех же убивают. Это большая, очень большая игра... И люди от нее не откажутся. Потребность войны заложена в человеческой природе. Мы происходим от воинственных народов, вся жизнь которых, вся их государственная судьба сложилась благодаря войнам. Чем стала бы Россия, если не сумела бы отбиться от татар, от поляков, от шведов, от французов? Наши русские солдаты — превосходнейшие солдаты. Они, как и весь русский народ, храбры, просты, способны на героизм, могут переносить труднейшие лишения. Вспомните, как они с Суворовым Альпы переходили, как Фридриха Великого, как Наполеона били. Да, вольноопределяющийся, превосходнейшие солдаты.

Он замолчал. Кто-то бежал к ним напрямик через рожь. Тяжелое, стонущее дыхание слышалось еще издалека, и черная тень быстро возникла перед ними.

— Ваше высокоблагородие,— задыхаясь, прокричал Рогожин.— Их благородие просят вас скорее до роты. Разведка вернулась.

Они шли молча. Васильев, пригнувшись к земле, шагал легко. Бредов ждал на дороге. Его высокая тень закрыла Васильева — казалось, что стоит один человек. Позвали взводных и отделенных, они окружили офицеров. Петров был тут же. Командир говорил тихо, но отчетливо, каждое его слово доходило до слушателей.

— ...Противник предполагается на фронте Воронцовка — Прушаново — Грады. Можно считать, что он захочет обойти наш правый фланг и в этом случае выделит часть сил в направлении на Сидоровку. Тогда ему придется двигаться через лес, который находится перед нами. Как показала разведка, он так и движется.

Начальник отряда нами предупрежден. Надо полагать, что правый фланг будет обеспечен выдвижением восьмой и девятой рот с батареей. Мы попробуем зайти противнику в тыл... Конечно, будем двигаться очень осторожно, вытянув вперед щупальцы. Ночь за нас... Вряд ли нас там ожидают. Скорее всего, что мы застанем их врасплох. Рассмотрим наш маршрут (щелкнул спуск фонарика, и длинный белый луч выскочил из стеклянной башенки и скользнул по карте). Мы можем не бояться даже превосходных сил. Главное — это, чтобы инициатива и внезапность были на нашей стороне. Двигаться в полной тишине. Не разговаривать, не курить. Капитан Бредов, высылайте разведку и связных. Поиграем, господа, поиграем с вами в жмурки.

Васильев расцветал, он был увлечен интересной игрой, и многим передавалось это увлечение. Редко бывало, чтоб солдаты знали цель операций, хотя этого и требовал устав; чаще всего они действовали вслепую, не понимая, куда и зачем идут, и теперь, когда им стало известно, что от них требуется, они шли бодро и весело, принимая участие в игре.

Беловатые кружева облаков настилались на звезды. И вдруг сразу сделалось темнее, сухая ветвь хрустнула под чьей-то ногой, и свежая, душистая, пахнущая травами и смолою сосен волна воздуха донеслась до роты. Шли, растянувшись, но не теряя связи друг с другом, поддерживали винтовки, чтобы не лязгали, столкнувшись, штыки, и переговаривались тихим шопотом. Дороги не было видно. Васильев шел впереди. На перекрестках лесных тропинок он останавливался, сверялся с картой и компасом и вел роту дальше. Раз заколебался и он, ворча и оглядываясь кругом, и тогда из-под деревьев выступила тень и подошла к капитану. Это был связной, оставленный разведкой, и он повел роту дальше. Показался просвет, широкая чуть светлеющая просека прорубала лес, и два человека побежали в сторону. Их легко поймали, так как ветви трещали под их ногами, показывая направление их бега. Это оказались разведчики противника, и Васильев с ласковой хитростью расспрашивал их. Солдаты отвечали растерянно, видно было, что они боялись офицера и не знали, как себя держать.

— Дураки,— сердито сказал Васильев, отходя в сторону,— ну как воевать с такими,— ведь все рассказали, выдали своих. Не понимают, как должен держать себя солдат на войне. Знают, что маневры, видят, что допрашивает офицер, и жарят себе все, как на исповеди... Я бы их ротного командира вздул за такое воспитание бойцов.

Теперь двигались еще осторожнее. Рассыпались широкой цепью. Взяли правее. Послышались голоса, стукнула копытом о дерево лошадь, и Васильев пополз вперед. Недалеко залаяла собака, узенький, медный огонек пробился сквозь ночь.

— Сидоровка,— тихо сказал Васильев,— разведчики, за мной.— Он легко поднялся с земли, и солдаты, согнувшись, пошли за ним.

Деревня не была занята противником. Рота бесшумно двигалась по горбатой улице. В крайней от леса избе Васильев велел разбудить хозяина. Вышел лохматый крестьянин и с выражением испуга на лице низко кланялся Васильеву, Машкову и солдатам. Люди проснулись и в других избах, но никто не выходил на улицу. Солдаты заходили в избы, спрашивали молока, и Петрова поразил страх, с которым народ относился к военным. Все робко и коротко отвечали на вопросы и старались поскорей скрыться. Старуха, у которой Петров и Карцев попросили продать молока, не отвечая им и пряча лицо в платок, принесла крынку и поставила ее на стол.

Роте скомандовали собраться. Васильев поспешно что-то говорил Бредову и Руткевичу, и взводы уходили в темноту. Только что вернувшиеся разведчики стояли возле ротного командира. Он повел свой отрядик, шел по-охотничьи легко, внимательно поглядывая вокруг и прислушиваясь к неясным ночным шумам. На краю деревни наткнулись на группу мужиков. Увидав солдат, они торопливо разошлись. Один отстал и, прихрамывая и взмахивая руками, как подбитая птица крыльями, побежал к плетням.

Вошли в лес. Вдали белым, ярким кружком вспыхнул свет и сейчас же погас. Васильев поднял руку.

— Ну, теперь внимание,— шепнул он,— никаких разговоров. Противник перед нами.

Лес поредел. В ветвях пискнула птица. Воздух заметно свежел, нежная упругая синева едва-едва проступала в еще темном, еще ночном небе. Снова вспыхнул свет, послышались выстрелы и крики, и на лесной дороге показался черный, длинный предмет, быстро приближавшийся к отряду. Несколько лучей загорелись там, обшаривая дорогу, и белые камни по краям дороги, как собаки, побежали вперед. Солдатская цепь с поднятыми винтовками перегородила дорогу, и маленькая фигурка Васильева стала перед цепью.

— Прошу сдаться,— ясно и немного торжественно сказал Васильев,— объявляю вас пленными.

Тогда кто-то выехал вперед и, налезая лошадью на Васильева, закричал низким, сердитым голосом:

— Кто вы такие? Прошу с дороги... Вы знаете, с кем вы разговариваете?

— Ваше превосходительство,— ответил Васильев, сразу узнавший по голосу заносчивого генерала Гурецкого, командира бригады,— мы являемся противной стороной... Мы захватили неприятеля... прошу, ваше превосходительство, условно хотя бы... удостоверить, что вы захвачены...

— Ну, ну,— игриво сказал генерал,— пустяки какие. Маленькое недоразумение, не больше. А теперь позвольте нам проехать.

Васильев крепче прижал руку к козырьку фуражки.

— Ваше превосходительство,— умоляюще начал он,— я не могу этого сделать. Я покорнейше прошу разрешить считать вас пленным.

И он загородил дорогу генеральскому коню.

— Мальчишка,— заревел генерал,— да как вы смеете?— И, воспользовавшись растерянностью Васильева, он ударил коня нагайкой и ускакал вместе со своим штабом.

Бледный, озлобленный Бредов подбежал к Васильеву.

— Надо жаловаться,— стискивая кулаки, сказал он,— это чорт знает что такое!

— Да, да,— устало ответил ротный командир.— Но что из этого выйдет? И, пожалуйста, не так громко, прошу вас. Ведь кругом солдаты.

И, сутулясь, он медленно пошел по дороге.

7

28 мая 1914 года в Баку вспыхнула всеобщая забастовка, охватившая свыше пятидесяти тысяч рабочих. В это время стачечное движение по всей России приобрело необыкновенную силу, и казалось, что страна стоит на грани новой революции. Первыми ответили на бакинские события путиловцы в Петербурге, за ними поднялись и другие заводы. Движение перебросилось на Ригу, Москву и другие города. Эта волна рабочих забастовок хотя и слабо, но все же отразилась на армии. Многие воинские части должны были выступать против рабочих, и это вызывало среди солдат глухое брожение. Несколько раз в ротах находили листовки и прокламации. Максимов приказом по полку запретил солдатам встречаться и разговаривать с рабочими. Но полк ежедневно выставлял пикеты на фабрике, где было неспокойно и происходили мелкие забастовки, и было почти невозможно уследить за тем, чтобы рабочие, особенно работницы, не разговаривали с солдатами. В полку служило около полутораста рабочих из Москвы, Тулы, Петербурга, Одессы и Твери, и они, как закваска, подымали других солдат. Несмотря на все строгости, почти ежедневно несколько десятков солдат присутствовало на летучих рабочих собраниях, и больше сорока человек сидели на полковой гауптвахте за нарушение приказа Максимова и другие, подобные этому, дела.

Мазурину было совершенно необходимо на три дня отлучиться в Москву по партийным делам, и он нетерпеливо обдумывал, как это устроить. У него были важные сообщения об усилившемся движении в полку, и, кроме того, он хотел на месте узнать о том, что происходит в России, о бакинской забастовке, которая разгоралась, о выступлении петербургских и рижских рабочих и получить литературу. Но ехать ему пока нельзя было, и тогда, так как поездка была совершенно необходима, он решил послать Тоню с письмами. Девушка казалась ему вполне подходящей для такого поручения. За то время, что она прожила у Кати, он хорошо узнал ее; она была спокойным и неробким человеком, и в ней было много инстинктивной нена-

зисти ко многим явлениям жизни, которая жестоко трепала ее и часто ставила в тяжелое положение. Она работала на дому, шила солдатские рубахи, которые брала у подрядчика, и в эти дни много общалась с Катей, Карцевым, Мазуриным и людьми, приходившими в дом. Она с величайшим удивлением узнавала, что есть люди, которые хотят изменить жизнь и уничтожить тот строй, который позволял маленькой кучке людей душить и держать в нищете весь народ. Посылать ее было очень удобно, и она сейчас же, как и думал Мазурин, согласилась ехать в Москву. Мазурин тщательно проинструктировал ее, и она поехала под видом кокетливой горничной, возвращающейся к своим хозяевам. И когда через три дня она вернулась, выполнив все, что от нее требовалось (и что показалось ей невероятно легким), гордость ее была так же велика, как и радость Мазурина, получившего нужную литературу.

В это время в полку происходили события, которые, как будто не связанные между собою, в самом деле вызывались и двигались одними и теми же причинами — плохой жизнью солдат, увеличением строгостей и репрессий по отношению к ним и заметным ростом влияний, приходящих извне. Страшная и громоздкая система, давившая армию и вместе с ней всю страну, была слишком сильна, чтобы ее можно было сразу разрушить или даже сильно расшатать. Но отдельные вспышки и взрывы все же показывали, что не все в порядке и возможны всякие неожиданности. Эти вспышки были особенно заметны в крупных промышленных центрах, так как, несмотря на все попытки правительства целиком изолировать армию от народа, это было невозможно, и огромная волна рабочих волнений каким-то своим краем задевала армию.

Несколько солдат попались с листовками. Следствие велось с нарочитой жестокостью. Солдат допрашивал военный следователь, внешне благожелательный человек, с белыми нитяными усами и тонким хрящеватым носом. Следователю очень хотелось добиться раскрытия большой подпольной организации, но допрашиваемые показывали, что листовки они нашли на улице у ворот казармы, никаких связей ни с кем не имели и ли-

стовки оставили у себя как бумагу на курево. Их держали в темном карцере, давали им только хлеб и воду и на допросах били и грозили каторгой. Следователь полагал, что революционная работа ведется через фабричных рабочих, и Максимов, узнав об этом, написал в своем докладе начальнику дивизии, что солдат так часто назначают охранять фабрику от рабочих волнений, что они поневоле общаются с рабочими и набираются от них революционного духа. Начальник дивизии вызвал полковника к себе. Генерал обладал чрезмерно длинной фигурой, носил рыжую эспаньолку. Нижнюю губу он оттопыривал, в глазах было запальчивое выражение, точно он всегда сердился.

— Представьте себе, полковник,— говорил он,— что мы проиграли бы внутреннюю кампанию 1905 года. Понимаете, какие страшные последствия это имело бы для России, для дворянства, для всего высшего офицерства? Кадеты и жиды завладели бы нашей родиной. А?

Начальник дивизии, еще когда он служил в генеральном штабе, за полную неспособность к военному делу был представлен к увольнению с военной службы, но так как у него были крупные связи, то его только перевели в армию и дали дивизию.

Он грозно и вопросительно посмотрел на Максимова, и тот, соглашаясь с ним, почтительно кивал головой и хмурил брови.

— А вот,— продолжал генерал,— мы проиграли внешнюю, японскую кампанию,— и ничего. Живем, слава богу, и даже опыт военный приобрели.

И, оживившись, он стал рассказывать Максимову о плане новой дислокации войск на западной границе, в разработке которого он принимал участие, когда работал в генеральном штабе.

— Глубоко секретно, полковник,— говорил он,— пусть все это умрет между нами. Вы знаете о том, что наша идея — развертывание главных сил на передовом театре — фактически привела к тому, что обширные промышленные районы империи, опасные в революционном отношении, были недостаточно защищены. И я вместе с генералом Сухомлиновым отстаивал ту мысль, что в целях успокоения страны необходимо отвести назад линию стратегического развертывания и равно-

мерно дислоцировать войска по всей империи. Ведь все равно для подавления революции в 1905 году приходилось брать войска из передового театра. Но тогда гораздо спокойнее и безопаснее оккупировать всю страну сетью воинских частей, усиливая их в промышленных районах. При такой дислокации мы сумеем подавить революцию в любом месте, где она осмелится вспыхнуть.

И он гордо добавил:

— Его императорское величество всемилостивейше изволил согласиться с этой идеей. Согласился он также с необходимостью упразднения резервных войсковых частей, как наиболее поддающихся революционному влиянию. Да, да, полковник, смею вас уверить, что победа над внутренним врагом гораздо важнее для России, чем победа над внешним.

И сделав такой потрясающий вывод, генерал орлиным взглядом посмотрел на полковника Максимова и, наконец, отпустил его, дав на прощание твердый приказ беспощадно пресечь всякие революционные веяния во вверенном ему, Максимову, полку.

8

Серое колючее одеяло покрывает соломенный тюфяк. Солдат откидывает его ровным широким движением и ложится. Он лежит в палатке на нарах, и рядом с ним спят товарищи. Но он не может заснуть. Полы палатки закинуты и крест-накрест пристегнуты к вбитым в землю колышкам. Свежий вечерний ветерок толкает брезент, и бессонному Мазурину кажется, что стоит кто-то там снаружи и балуется. Мысли по-ночному прозрачны, как-то особенно легко вспоминается прошлое, и Мазурин так близко видит небольшую беленую комнату и Федю Рагозина, сидящего возле него, что хочется вытянуть руки и притронуться к Феде. Вот нагорный Предтеченский переулок на Пресне и приплюснутое четырехстекольное окно. Когда подымаешься по трем ступенькам крыльца, вторая обязательно скрипнет под ногой. Сколько хороших часов прошло здесь, сколько спорили, учились! «Дядя Миша, можно, я к тебе завтра попозднее забегу?» — говорит Мазурин и

вздрагивает. Зачем он тут, в этой палатке? Солдатская служба. Эх, дядя Миша, неплохо бы с тобой, как прежде бывало, поговорить... И Мазурин, может быть, в первый раз за всю службу, чувствует себя одиноким и оторванным от друзей, от большой родной жизни. Он ворочается, ему душно, нехватает дыхания. И, закрыв глаза, он упорно вызывает в памяти знакомые переулки, близких людей. Дядя Миша смотрит серыми глазами. Голос его спокоен и нетороплив, слова у него тяжелые, продуманные, он отмеряет их скупо. Но вдруг он тревожно оглядывается.

— Беги, парень,— торопливо шепчет он и толкает Мазурина в плечо,— но только слов моих не потеряй, беги же.

Рука его все крепче стискивает плечо, Мазурину больно, он делает резкое движение и подымает голову.

— Тише, — говорит чей-то голос, — одевайся без шума.

Мазурин открывает глаза и не может разглядеть человека, наклонившегося над ним. И только выходя из палатки, он узнает своего фельдфебеля.

— Куда это, господин подпрапорщик? — спрашивает Мазурин.— Что случилось?

— Молчи,— безучастно отвечает подпрапорщик. — Ведут тебя, значит, иди. Незачем тебе больше того знать, что начальство скажет.

Широкая темная аллея уходила под деревья. Вероятно, недавно прошел дождь, так как особенно свежо и горьковато пахло рябиной и мокрой травой, и влажный песок упруго подавался под ногами. На повороте ярко горел керосино-калильный фонарь, тихое шипение исходило из него, и в белом свете, точно посеребренные, блестели листья, и глядели мелкие, оранжевые кисти вызревающей рябины.

Мазурин больше ни о чем не спрашивал подпрапорщика. Мучительное беспокойство овладевало им. До сих пор его не трогали. Он был так осторожен, что за два года службы его ни разу не заподозрили, не знали о подпольной его работе. Неужели теперь что-нибудь стало известно начальству? Выдал, проговорился кто-то? Проследили его? А может быть, за чем-нибудь другим зовут его? Вряд ли. Ночью, да еще через

фельдфебеля (другому не доверили), не будут подымать по легкому делу. И он решил, что будет все отрицать.

«Главное — это спокойствие, спокойствие»,— подумал он. Радостно ощутил, как привычное умение владеть собой возвращается к нему.

Они проходили лагерь второго батальона. Палатки стояли по сторонам аллеи, как большие белые звери. Дневальные сонно сидели под грибами. Штабс-капитан Блинников дежурил по полку. Рыхлый и старый, он имел далеко не воинственный вид, несмотря на шашку и револьвер. Сердито и испуганно он оглядел Мазурина.

Мазурин был доставлен в штаб дивизии, пробыл до утра на гауптвахте, а утром его повели на допрос. В маленькой комнате за письменным столом сидел офицер и писал. Царь в широкой красной ленте, наискось пересекавшей грудь, молодецки отставив ногу, глядел со стены. Офицер писал довольно долго. Почесывал концом ручки лоб. Смотрел в окно. Рассеянно барабанил пальцами по столу. Даже прошелся по комнате, почти задев солдата. Но на него не обращал внимания. Не видел его. Мазурин терпеливо ждал. Он знал, что все это — известный прием, имевший целью смутить допрашиваемого, вывести его из равновесия. Он отошел к стене и стоял там, вытянувшись, изображая собой серого, забитого солдата. И офицер, повернувшись к нему, увидел напряженные глаза, полные привычной готовности.

— Подойди ближе, голубчик,— сказал офицер.— Как твоя фамилия?

Он расспрашивал небрежно, с большими паузами, и весь его вид показывал, что он ведет допрос только потому, что это ему поручено, а сам же он не придает всему делу никакого значения. Он позевывал, подходил к окну и выглядывал в сад, опускал голову на стол, точно засыпая, и, потянувшись, пожаловался:

— Работа замучила. Давай-ка мы с тобой быстро разберемся и пойдем по своим делам. Ведь тут пустячок какой-то. Правда? Ты где до службы работал?

Незаметно он изучал лицо солдата, он медленно подбирался к важнейшим вопросам, прикрывая их ку-

чей других, совершенно как будто посторонних, и несколько раз Мазурину казалось, что на него из густых кустов выскакивает крупный, с оскаленной пастью, хищник. Он старался отвечать быстро и без заминки. Его ответы были просты и бесхитростны.

Офицер минуту посидел молча. У него было лицо ученого — высокий, выпуклый лоб, глубокие, живые глаза с теплыми искорками, мягкая улыбка, темные небрежно причесанные волосы.

— Из твоих книг,— спросил он,— какие ты захватил с собой? Брал ли ты «Коммунистический манифест» или оставил его в Москве?

Вопрос был брошен так внезапно, что Мазурин принял его как удар. Живые, теплые офицерские глаза ловили его, не выпускали теперь ни на секунду, и он понимал, что офицер не верит в его тупость и простодушность, хочет его разгримировать. Но не опустил глаз; он, как это полагается по уставу, ел начальство глазами и ответил медленно, с недоумением:

— Книгами я, ваше высокоблагородие, мало занимаюсь. С собой я их не брал.

Офицер опустил глаза. Складки резче обозначились у его губ.

— Ты скрытничаешь, дружок,— тихо заговорил он.— Надо же тебе понять, что мы с тобой служим одному делу, что оба мы русские, православные люди и интересы и цели у нас одни. Я тебе не только начальник, я тебе друг и старший товарищ. Я о тебе обязан заботиться, должен следить, чтобы душа твоя и тело были чисты и здоровы. Почему же ты не поможешь мне? Почему прячешься от меня? Я ведь не грожу тебе, не приказываю говорить, хотя имею на это право. Я душевно, открыто прошу тебя: помоги мне разобраться во всем.

Он близко подошел к солдату, положил руки на его плечи и глубоко заглянул ему в глаза.

— Вот ты был в мае на... на гулянке возле Белой Ямы. Что же тут особенного? Ну был, ну говорил там с рабочими разными. Почему тебе с ними и не поболтать, если ты сам бывший рабочий? Никто тебя за это не накажет. Ты скажи лишь, кто тебя туда позвал, какие там еще твои товарищи были...

...Казалось, что густая, вязкая струя течет из его горла и обволакивает солдата. Черные пушистые гусеницы его усов тихо двигались. Глаза мерцали синим, успокаивающим светом. Теплые токи исходили из его рук, лежащих на плечах у Мазурина.

— Покорнейше благодарю за ласку,— ответил Мазурин.— Мне от вашего высокоблагородия прятать нечего. Особых гулянок не было у нас. Конечно, ходили мы по молодому делу,— доверчиво понижая голос, добавил он.— С девками баловались... ну, а больше ничего не было.

— И речей, говоришь, не было? И листовок не раздавали? — спокойно спросил офицер.

— Какие на гулянках речи? — охотно сообщил солдат.— Песни поем. А давать — никто мне ничего не давал.

— Не так, все не так,— заговорил офицер.— Неужели ты думаешь, что нам ничего не известно? Разве мы тебя первого вызываем? Все твои товарищи полностью нам рассказали и о массовке, и о кружках, и о твоем участии во всех этих делах, и я просто хотел проверить твою правдивость, узнать, честный ли ты человек. Все остальные сказали мне правду, и я отпустил их. Пойми же, что ты портишь себе, скрываясь от меня. Ведь я и без тебя все знаю. Ну?

— Ничего от вашего высокоблагородия не скрываю,— ответил Мазурин.— Только как же я вам скажу то, чего не было?

Офицер вынул платок и уронил его. Мазурин торопливо нагнулся. Выпрямляясь, встретил прищуренный взгляд. Офицер, как бы в рассеянности, не брал платка. Мазурину было неловко. Он стоял с протянутой рукой, в руке был платок — белая мятая горка тонкого полотна.

— С какого же ты года в социал-демократической партии? — шопотом спросил офицер.— Ну! — и его пальцы сжали протянутую руку Мазурина.— Ну, раз-два... три...

— В партии не бывал,—с вялым недоумением ответил Мазурин.

Скулы, как подводные камни, обозначились на офи-

церском лице. Глаза холодно и зорко стерегли Мазурина.

— Ты солдат, ты присягал государю императору,— сказал он.— Его именем спрашиваю тебя в последний раз. Скажешь правду?

— Говорю правду,— ответил Мазурин.

Офицер неторопливо повернулся и пошел к столу. Мазурина увели.

Как-то утром, во время подъема, Самохин не встал вместе со всеми и, сидя в палатке на своих нарах, приказал Карцеву почистить сапоги. У него было важное, недовольное лицо, и Карцев, засмеявшись, посоветовал ему поскорее одеваться, если он не хочет получить наряд на кухню. Но Самохин, выпятив грудь и махая рукой, стал на него кричать.

Солдаты хохотали, но Карцев внимательно посмотрел на него. Самохин никогда не шутил, он был слишком забит и несчастен для этого, и то, что он делал сейчас, не было похоже на шутку. Пустые, воспаленные глаза смотрели отсутствующим взглядом, осунувшееся бледное лицо было сердито.

Машков, застав неодетого Самохина, за шиворот стащил его на землю и, ударив ногой, дал в неочередь два наряда. Самохин съежился и, испуганно глядя на Машкова, быстро оделся. Но припадки, во время которых он воображал себя другим человеком, чаще всего офицером, начали у него повторяться. Машков избивал его и давал внеочередные наряды. Тогда Карцев хмуро доложил ему, что Самохин болен и его надо отправить в околоток.

— Околотков на таких нехватит,— грубо ответил взводный,— пошел к чорту, не твое дело.

Но однажды Самохин накричал и на него и велел называть себя «вашим светлым благородием». Смертельно испугавшись такого кощунства и боясь, что ему придется отвечать за Самохина, Машков отправил его в околоток. В околотке его держали неделю, потом перевели в госпиталь, и врачи, решив, что ему надо переменить обстановку, дали ему двухнедельный отпуск.

Карцев и Чухрукидзе провожали его на вокзал. Чухрукидзе жалостно смотрел на равнодушное, вялое лицо Самохина и тяжело вздыхал.

— Ты знаешь, Самохин, куда ты едешь? — спросил Карцев, взяв его за холодную тяжелую руку.

— Домой,— сонно ответил Самохин и, морщась, сказал: — Голову давит. Точно железными обручами сдавили.

— Знаешь, на какой станции тебе вылезать? — настойчиво спрашивал Карцев.

Самохин оживился.

— Нашу станцию да не знать? — ответил он.— Поныри называется. Хорошая станция. Всегда там народ, торгуют, чем хочешь, настоящий базар всегда. До нашей деревни пятнадцать верст, всегда довезут до дома. Много на станции народу.

Они посадили его в вагон. Всю дорогу он был радостен, много разговаривал и смеялся. Родной дом, отец и мать рисовались ему так заманчиво ярко и нарядно, что он тут же рассказал попутчикам, как хорошо они в деревне живут, какое у них хозяйство, какая просторная, светлая изба. Он придумывал разные несуществующие подробности этой хорошей деревенской жизни, богатой жизни, которую он никогда не знал, так как его бедный запуганный мозг искал чего-то прекрасного, успокаивающего, что можно было противопоставить злой, замучившей его казарме И он, сияя, слез на своей станции, победно оглядел знакомый перрон, садик за оградой и высокую четырехугольную водокачку.

Было уже поздно, не было никого из знакомых крестьян, и он пошел пешком. Все вокруг радовало его, все казалось чудесным, ни с чем не сравнимым по красоте и по тому чувству покоя, которое он испытывал, когда шел по дороге и смотрел на лес, на поле и на тоненькие коричневые огоньки, светившие ему издали. Глубокое круглое небо тихо и спокойно расстилалось над ним, по его синему мягкому, с переливающимся ворсом ковру были ловко нашиты звезды, где-то далеко ласково пел женский красивый голос, и Самохин остановился, растерянный, борясь с каким-то нахлынувшим на него чувством и, не поборов его и не по-

нув, лег на траву на край дороги и заплакал. Он не знал, о чем плачет, может быть, даже не сознавал, что плачет, но ему было грустно и в то же время как-то особенно легко. Он медленно, желая как можно дольше не расставаться и с этим небом, и с ночью, и с дорогой, шел к своей деревне, к своему дому.

Все уже спали, когда он подошел к родной избе. Он стучал долго, пока не послышались медленные шаги босых ног, и отец открыл ему дверь. Он равнодушно посмотрел на сына, как будто его приезд после долгого отсутствия был обычным делом, и только кивнул ему головой. В тесной, прокопченной избе было невыносимо душно. Маленькие окна были по-зимнему наглухо закрыты и замазаны. Скупой свет лампы с обломанным, черным от копоти стеклом, которую зажег отец, неохотно показал убогую обстановку. У самых дверей лежала куча мусора, обрывки соломы валялись повсюду. В углу на сене свернулся тяжело дышавший ягненок. На печи стонала больная мать. Младший брат и сестренка лежали на полу у печи, прикрытые рваным тулупом. Закопченный образ глядел из угла темными подстерегающими глазами. Кучки тараканов, сойдясь в круг, головами внутрь, совещались на стенах и на потолке. После короткого разговора легли спать.

Но Самохин не мог уснуть. Впервые, за долгое время, он думал спокойно и ясно. В избе было так душно, что даже он, выросший здесь, с трудом дышал. Мать, не переставая, кашляла и стонала. Ягненок издавал сосущие звуки и вдруг начинал хрипеть и задыхаться.

Было что-то нудное, смертельно печальное во всей этой нищей почерневшей избе. И Самохин, приподнявшись на локте, со страхом слушал хрип, кашель и стоны людей, трудное дыхание ягненка и в тоскливом недоумении оглядывал избу.

Точно впервые он увидел ее такою, какой она была на самом деле,—грязной, нищей, похожей на миллионы таких же изб русской деревни. Он, живя здесь, никогда не замечал ни этой грязи, ни этой нищеты. Ему было трудно понять то, что мучило и давило его, тревога и печаль овладевали им все крепче, гнули его, тянули куда-то вниз, в черную, злую ночь.

Утром мать, охая, разводила маленький позеленев-

ший самовар сосновыми шишками. Едкий пахучий дым застлал избу. Пришли соседи, узнавшие о приезде солдата. Было воскресенье, народ не выходил в поле.

Самохин уныло сидел за столом. Прежняя тяжесть сковала голову. Железные обручи давили ее, и лоскутья неясных размышлений паутиной вились в мозгу.

Его о чем-то спрашивали, и он с трудом улавливал смысл слов. Вздохнул и спросил:

— Ну, как вы здесь живете?

— Так живем,— сказал маленький кривоплечий крестьянин, мохнатый от темных волос, которыми заросли его лицо, и шея, и голова.— Так живем,— повторил он, придвигаясь к Самохину и пытливо смотря на него. Потом сурово оглядел всех, сидящих в избе, и сказал: — У нас что — вчера были голы, сегодня голыми сидим, завтра голыми будем. Блох у нас много, это верно, блохами мы богаты. Ты вот нам расскажи, солдат, про новое, что слышно в городе.

— Служу,— уныло ответил Самохин.

— Служи, служи,— сдержанно посоветовал высокий, худой домертва крестьянин, с тонким и острым носом.— Ни себе, ни нам никакой радости не выслужишь.

— Война, говорят, будет,— угрюмо сказал первый.— С турками, либо опять с японцами. Не слыхал?

— А про землю нет закона? — настойчиво спрашивал глухой старик в серых, похожих на пыльную паутину, волосах.— Земли не прирежут нам?

Солдат сидел сгорбившись, пустым взором глядя вниз. Он плохо слушал, плохо соображал. Вчера на станции и в дороге происходило с ним что-то хорошее, освобождающее его от той тяжести, которая мучила его, но с того момента, когда он увидел отцовскую избу, отца, мать и всех этих людей, таких жалких, ободранных, угрюмых, мысли его спутались в темный густой комок, и с каждой минутой он чувствовал себя все хуже и тревожнее.

Что-то не осуществилось из того, что он ждал тут, не было ему, Самохину, никакого облегчения, никакого покоя в родной деревне. Вокруг сидели люди, которых он хорошо знал, сидели отец и мать, но все они оста-

вались как-то вне его, ничего не могли ему дать, не могли помочь.

Тоска и тяжесть в черных стенах, в черной жизни кругом.

... Все они смотрят на него, взгляды их тяжелы, как гири, и нет сил их сносить...

— Пауки,— тихо говорит он,— ой, пауки.— И, заметив недоумевающие взгляды окружающих его людей, испуганно замолкает.

Опять на секунду вспомнилось что-то светлое,— он выбрался из казармы, он едет домой,— вспомнилось и потухло. Он в казарме. Нудная, медленная болотная смерть. Машков, Руткевич, хрип ягненка, кашель отца. Глиняные босые ноги спящих на полу ребят. И прямо перед собой он видит желтое, очень широкое, расплюснутое лицо с горячими дырами глаз. Тогда он торопливо застегивает сверкающий мундир и рукавом трет золотые пуговицы, чтобы они ярче блестели.

— Смирно,— грозно командует он,— слушай мою команду,— и важно всходит на стол.

— Спортили человека,— сказал кривоплечий крестьянин,— вези его, Ефим, обратно к царю. На что он тебе такой? Вези...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

С РАЗНЫХ ТОЧЕК

1

Бредов все еще не верил, что в самом деле едет в Петербург. Он с нежностью и любовью думал о Денисове, который устроил ему эту чудесную командировку. Волнуясь, он перекладывал свои вещи в тесном купе второго класса и несколько раз выходил в коридор курить (купе было для некурящих). В конце коридора он увидел офицера. Это был невысокий, плотный человек лет пятидесяти, со свисающими украинскими усами, с маленьким шрамом на правой скуле. Глаза у него чуть косили, и это придавало им ласковое и немного насмешливое выражение. Он внимательно смотрел на Бредова, облокотившись на открытое окно. Ветер уносил дым его папиросы.

— Сережа Бредов, кажется? — мягко спросил он.— Не узнаете?

Бредов подошел ближе, с напряженным лицом, как это бывает у людей, которые поставлены перед внезапной задачей, и вдруг глаза его сузились от смеха, и он радостно протянул офицеру руки.

— Дядя Костя,— закричал он,— виноват — господин полковник... Константин Иванович.

— Эге ж,— ответил полковник,— можете звать дядей Костей. Сколько лет прошло с тех пор, когда вы были юнкером и ухаживали за Зиночкой, моей племянницей?

— Кажется, десять,— краснея, ответил Бредов,— или одиннадцать. Помните ночные разговоры в вашем кабинете?

Через несколько минут, узнав все, что хотелось узнать друг о друге, они начали говорить о другом.

— Сейчас Петербург в большой горячке,— сказал полковник, стряхивая мизинцем пушистый пепел с папиросы.— Мы приедем туда к началу интересных событий.

Дула орудий перекрещивались на его погонах. Он был артиллерист и работал в Петербурге в Главном артиллерийском управлении.

— Какая же горячка? — спросил Бредов.— Разве в самом деле ожидается что-нибудь серьезное?

Офицер посмотрел на него спокойно и благожелательно.

— Я возвращаюсь с обследования,— негромко сказал он.— Приходилось бывать в самой, так сказать, середке тех приготовлений, которые идут у нас в спешном порядке. Дело, по-моему, просто. Мы накануне войны.

Бредов удивленно посмотрел на Константина Ивановича. Косящие глаза глядели на него умно и внимательно, тоненькие насечки морщин сбоку придавали им выражение усталости.

— Пойдемте ко мне, Сережа,— предложил артиллерист,— я один в купе.

Он задвинул дверь в коридор, и они сели на диваны — друг против друга.

— У каждого свое болит,— сказал артиллерист и, наклонившись, дружески положил руку на колено Бредова.— Честный хороший офицер чувствует также и иную боль — ему дорога русская армия, ее мощь, ее доброе имя.

Он вопросительно посмотрел на Бредова умными глазами, и штабс-капитан горячо ответил:

— Совершенно правильно, Константин Иванович. Я дрался с японцами. Я готов еще раз драться за славу русского оружия. Но пускай дадут нам возможность учиться военному делу. Пускай поставят армию на должную высоту...

— ...Высота, высота, — сердито и печально сказал полковник, закуривая (курите,— предложил он, протягивая Бредову портсигар),— утверждают, что мы стоим на самой что ни есть высоте боевой подготовки. Вот, не угодно ли?

Откинувшись на спинку дивана, он достал из сетки большой коричневый портфель и извлек оттуда аккуратно сложенную газету.

— Прошу внимания,— сухо произнес он,— статья заслуживает этого.

Он читал выразительно, подчеркивая голосом некоторые места, иногда мельком поглядывая на Бредова:

«Мы получили из безупречного источника сведения, не оставляющие сомнения, что Россия, по воле своего верховного вождя поднявшая боевую мощь армии, не думает о войне, но готова ко всяким случайностям. С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне, России не страшны никакие окрики... Россия готова... В полном сознании великодержавной мощи нашей родины, так нелепо оскорбляемой зарубежной печатью, мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время... Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу, весьма поднятому по сравнению с прежним. Нынешний офицер получает не только военные знания, но и военное воспитание (тут Бредов сделал резкое движение).

...Русская полевая артиллерия снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким орудиям, но и во многих отношениях их превосходящими. Осадная артиллерия организована иначе, чем прежде, и имеется при каждой крупной боевой единице. Уроки прошлого не прошли даром (дальше полковник читал, подчеркивая каждое слово).

В будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов. Артиллерия снабжена и большим комплектом и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов».

Он повел шеей, как будто воротник давил его, и продолжал читать...

Дочитав статью, полковник отложил газету. Он искал спички, лежавшие возле него, и не видел их.

— Это очень смелая статья,— тихо сказал Бредов.— Какую огромнейшую ответственность берет на себя тот, кто написал ее. Конечно, он опирался на самые достоверные, на самые проверенные сведения. Кто же автор?

Артиллерист не отвечал. Косящие глаза неспокойно

шарили по стенам, обитым коричневой клеенкой. Он курил глубокими затяжками и пожал плечами, точно сам себе отвечая на невысказанную мысль.

— Не берусь во всем оспаривать правильность этой статьи,— вполголоса сказал он.— Несомненно, что она преследует высокую политическую цель. Ее прочтут во всем мире. Она должна показать, кому следует, что с нами нельзя шутить. Хотя вряд ли военная разведка наших возможных противников даст себя провести. Поверьте, что сведения о наших вооружениях у них имеются самые последние и самые точные. Но у нас-то, у нас, в России, тоже ведь прочтут эту статью. Повторяю, что в целом я не опровергаю статьи. Но в той части ее, которая касается артиллерии, тут карты в моих руках. Да, да, это чистейшая правда, наша полевая артиллерия — лучшая в мире и наши артиллеристы — молодцы.

Он провел рукой по седеющим волосам и вдруг улыбнулся нежно и ласково.

— Превосходнейшая артиллерия,— мягко повторил он,— но чем она будет стрелять через два месяца после начала войны, я не знаю. На легкое орудие мы имеем норму в тысячу снарядов. Фактически у нас нет и этой нормы. Киевский округ имеет только по 600 снарядов. И Главное управление генерального штаба считает эти цифры достаточными, исходя из опыта японской войны. Как будто за десять лет ничего не изменилось, и то напряжение, которое нам понадобится против Германии, и должно быть, и против Австрии, можно сравнить с тем, что было с японцами.

— Все же не так уж мало приходится на одно орудие,— неуверенно сказал Бредов.

— Чепуха!— сердито крикнул артиллерист.— Это мизерная, гибельная цифра, особенно если учесть тот факт, что наши заводы не могут сильно увеличить выработку снарядов. Еще Николай Первый, который огня терпеть не мог, и тот для своей гладкоствольной артиллерии тогда, тогда еще—шестьдесят лет тому назад — имел норму в пятьсот выстрелов на орудие. Так неужели наша скорострельная артиллерия может обойтись тысячью снарядов на орудие? Да и их, говорю, повторяю вам, нет в наличности. И вообще, о каком порядке

может итти речь, если обследование показало, что в одних гаубичных дивизионах нет снарядных ящиков, в других нет ни парков, ни снарядов паркового запаса, а тяжелый дивизион одного пограничного округа совсем не мог мобилизоваться из-за полного отсутствия материальной части... И это все в первоочередных частях. Во второочередных же парках совсем нет снарядов.

Лицо у него сделалось жалким и посерело, по-старчески отвисла нижняя губа.

— Вот тебе «наша артиллерия никогда не будет нуждаться в снарядах»,— жалобно сказал он.— Тяжелая артиллерия значится у нас в боевом расписании, а у нее совсем нет боевых комплектов,— пожалуйста, воюйте при таких обстоятельствах, заявляйте на весь мир, что Россия готова к войне.

— Кто же мог решиться написать такую статью? — спросил Бредов.— И как разрешили ее напечатать?

— Кто? — иронически ответил полковник и яростно посмотрел на Бредова.— Вам хочется знать? Извольте. Автор сей статьи — его высокопревосходительство военный министр Российской империи генерал-адъютант, генерал от кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов. Он печатает ее в «Биржевых ведомостях» после того, как комиссия генерала Поливанова, его помощника, в которой по несчастью работал и я, признала все эти гибельные нормы достаточными, признала, что на винтовку можно обойтись 880 патронами, и число всех запасных винтовок определила в 740 тысяч. Чем же, спрашивается, будут вооружены пополнения, чем будет заполнена убыль в винтовках, неизбежная во время войны? Наконец откуда возьмутся патроны даже к этим винтовкам, если все наши заводы могут изготовлять в год только по 250 патронов на каждую из имеющихся в наличии винтовок? Вот как мы готовы к войне.

Он жевал мундштук папиросы и выплевывал его по кусочкам, очевидно, не замечая того, что делает.

Вагон от быстрого хода поезда покачивало. Деревья и телеграфные столбы проносились в окне. Бредов смотрел на косящие глаза, на частые насечки морщин под ними, переводил взгляд на окно, и вдруг странное

ощущение овладело им... Всего этого не было. Не было Константина Ивановича и его страшных, ломающих привычные понятия слов. Не было поезда, идущего в Петербург. Не было никакой командировки. Никто не читал статьи военного министра. Есть полк — десятки офицеров, тысячи солдат, тысячи винтовок — один из многих, подобных ему, и все эти полки, и сотни орудий артиллерийских бригад, и дивизии кавалерии образуют великую непобедимую русскую армию... Петр Великий, Полтава, Суворов, Кутузов, разгром Наполеона, Скобелев, Плевна, Карс, — вот она, гремящая победами и музыкой доблестная история этой армии. Какой сладкий, холодящий трепет охватывал его, когда в Москве в храме спасителя он читал имена героев, золотыми буквами начертанные на мраморных досках! Когда на Бородинском мосту видел на каменных обелисках бессмертные фамилии тех, кто спасли Россию в двенадцатом году. Вот это и есть армия, родная, храбрая, победоносная русская армия. Что же за кощунственные слова говорил Константин Иванович? Разве мог так говорить старый штаб-офицер? Нет, нет. Дикая шутка. Мираж.

Бредов поднялся. Молча отодвинул дверь, вышел боком, не глядя на полковника. Залез к себе на верхнее место и долго лежал лицом к стене. Было тяжело, неудобно. Пугали и мучали новые, непривычные мысли.

2

Никто не знал, куда пропал Мазурин. Ротное начальство не беспокоилось о нем, но на вопросы солдат не отвечало или отделывалось неопределенными словами.

Больше всех тревожился Карцев. Он боялся, не случилось ли что-нибудь плохое с Мазуриным, и кроме того, Мазурин был ему очень нужен в эти дни. Он впервые узнавал, что такое настоящее подполье. Раздача листовок, посещение нелегальной квартиры, беседы со многими солдатами и с офицером Казаковым — все это было для него новой, прекрасной работой. Эта работа пролагала путь в иную жизнь, и Карцеву иногда казалось, что слишком тихо и кропотливо движется все вперед. Он знал, что план рассчитан на многие годы, что нельзя торопиться, но все же нетерпение

часто охватывало его. Медленно и тяжело осваивал он, что подполье имеет свои будни, свою повседневную, незаметную работу.

В версте от лагеря, вблизи от путей железной дороги, в квартире железнодорожного рабочего Куропаткина (товарищи в шутку называли его генералом Куропаткиным) была устроена подпольная читальня для солдат. Куропаткин жил изолированно, и ходить к нему можно было без особого риска. Здесь через несколько дней после исчезновения Мазурина Карцев узнал о его судьбе. Сказал ему об этом поручик Казаков, изредка появлявшийся у Куропаткина, и о подпольной работе которого из солдат знали несколько человек — в том числе Балагин, взводный унтер-офицер седьмой роты, уральский рабочий. Казаков сообщил, что Мазурин находится под арестом и числится за следователем Ермаковым, специалистом по политическим делам.

— Я еще не мог выяснить, что они нашли,— сказал поручик.— Думаю, что тут какая-то внешняя, не особо важная зацепка, потому что пока никого из руководителей наших не арестовали и квартиры не нашли. Но надо быть вдвойне осторожным.

Поручик был неспокойный, подвижной человек, рыжеватый, с узким лицом, на котором с трудом помещался широкий рот и неожиданно-большие карие, очень красивые глаза. Он работал на доставке нелегальной литературы, переправлял и получал письма и литературу через границу. В это время ему пришлось отбывать воинскую повинность, он служил вольноопределяющимся, и ему было поручено остаться на военной службе, чтобы оживить ослабевшую после 1908 года в армии подпольную работу. И несмотря на отвращение, которое он испытывал от общества юнкеров, большею частью поверхностных и мало развитых людей, он окончил училище и стал офицером. Не желая навлечь на себя подозрение в неблагонадежности и тем самым сорвать свое дело, он держался выдержанно и осторожно, не фамильярничал с солдатами, тихонько прощупывал офицеров и, связавшись с фабричным социал-демократическим комитетом, куда он имел явки, понемногу организовывал ротные и батальонные кружки.

В июньские дни 1914 года, когда начались рабочие забастовки, солдатские кружки усилили свою работу. Отсутствие Мазурина сказывалось настолько заметно, что Казаков и унтер-офицер Балагин, посовещавшись между собой, решили просить у фабричного комитета опытного агитатора, знакомого с местной военной жизнью. Балагин считал, что положение сейчас очень выигрышное, и нельзя им не воспользоваться.

Унтер-офицер все больше нравился Карцеву. Высокий, с золотистыми волосами, чуть рябоватый (рябины не портили его), он хорошо рассказывал о Екатеринбурге, о большой стачке, в которой он участвовал.

Пробовали привлечь к работе Орлинского, но с первых же встреч должны были с ним сражаться. Орлинский не соглашался вести беседы с солдатами о значении рабочих забастовок и о классовой борьбе. У Казакова хранился, как редкость, двенадцатый номер подпольной социал-демократической газеты «Казарма», издававшейся в Петербурге в 1907 году. В газете (ее редактором был Ярославский) была напечатана статья «Должна ли армия заниматься политикой и должны ли быть военно-революционные организации партийными», в которой подчеркивалось преимущество партийных военных организаций над иными видами организаций. Казаков очень ценил эту статью и, размножив ее на гектографе, роздал руководителям кружков. Орлинский был против обсуждения этой статьи среди солдат и советовал выписать из Петербурга меньшевистскую газету «Луч». Карцев с большим вниманием слушал, как спорили Казаков и Орлинский.

— Где вы видите революцию? — сердито и пренебрежительно говорил Орлинский. — По-моему, ею нигде и не пахнет. Забастовки происходят часто, но от них до революции — тысяча верст. Это случайные эпизоды — не больше. Это мутные, неразумные вспышки, не приводящие к цели. Воспитывайте раньше рабочих...

— То, что вы предлагаете, никуда не годится, — сдержанно отвечал Казаков. — Несомненно, что мы стоим перед большим революционным подъемом. Почитайте хотя бы газеты, если не верите другим источникам. В Баку, в Риге, в Петербурге, в Иваново-Вознесенске и в других городах бастуют сотни тысяч рабо-

чих. Какое у них боевое настроение! Как здорово они держатся! Кто знает, может быть, мы стоим перед повторением девятьсот пятого года? Значит, надо из всех сил агитировать армию, в которой работа ведется совсем слабо.

Куропаткинская квартира превратилась в центр подпольной работы в полку. Фабричный комитет присылал сюда своих лучших агитаторов. Больше других до своего ареста работал Мазурин. Мазурин знал, как туго воспринимают солдаты, в особенности крестьяне, обычные агитационные речи, если в них, в этих речах, нет ничего, что затрагивает их жизнь, самые наболевшие их нужды. И свою работу он строил на том, что брал для бесед самые близкие и известные солдатам события и, обсуждая и объясняя их, переходил к обобщениям, наталкивая своих слушателей на ясные и простые выводы. Так, он подробно разобрал покушение на Вернера, арест ефрейтора Защимы, побег Мишканиса, причины сумасшествия Самохина. Он любовно выкапывал из самых отдаленных мест подпольную военную литературу девятьсот пятого и шестого годов, полную настоящего революционного огня, хорошо освещавшую солдатскую жизнь и во многом свежую и не устаревшую еще и сейчас. Кропотливо он подбирал газетные вырезки о забастовках, номера «Правды» и подробно рассказывал, почему и с кем борются рабочие и какая связь существует между ними и солдатами. Он, морща от радости губы, смотрел, как приходили в читальню новые, приглашенные своими товарищами солдаты, как, смущаясь от непривычки, они неловко садились, читали, разговаривали, неуклюже и робко задавали вопросы, спорили.

Было бы бесполезно занимать солдат тем, что может быть через двадцать или тридцать лет. Они хотели знать, что будет завтра, их занимали вопросы и мелочи своей, повседневной жизни.

Раза два приходил к Куропаткину и Петров. Он похудел, был угрюм. С ним происходило что-то неладное. Карцев заботливо расспрашивал его, но он отделывался пустыми фразами.

Однажды, гуляя по лагерю, Петров услышал знакомый хрипловатый голос, окликнувший его. В дверях маленького барака в расстегнутом кителе стоял штабс-

капитан Тешкин. Петров избегал его со времени первого посещения. Тешкин казался ему большим, мохнатым насекомым с узенькими липкими щупальцами, тянувшимися из черных, нехороших глаз.

— Почему же не заходите? — спросил штабс-капитан.

— Был занят,— ответил Петров.

— Интересная сегодня газета,— вяло сказал Тешкин и кивнул на номер «Русского слова», лежавший на скамейке.— Сербы укокали австрийского эрцгерцога вместе с женой.

Он отступил в глубь барака. Как и городская квартира, его барак носил следы грязи и беспорядка. Наливая вино в стакан, он предавался дрянненькой своей философии.

— Убили наследника. Нарушили этим убийством какой-то жизненный принцип? Вряд ли! Что такое жизнь? Медленное умирание. Тихое гниение на корню, ползание навстречу смерти в ее логово. А тут сразу. Надо рассматривать такую смерть, как просто ускорение затянувшихся событий.

И, исподлобья посмотрев на Петрова, тихо спросил:

— Вы никогда не думали о том, что надо было высшей силе, управляющей нами, дать нам право сразу истратить весь запас наслаждений, отпущенный на всю жизнь, с тем условием, чтобы ощущения возросли пропорционально к быстроте их расходования?

Он изгибался, он был весь какой-то клейкий и казался невыразимо противным Петрову — длинный, скользкий человеческий слизняк.

Петрову не хотелось с ним спорить. Он попросил газету и ушел. В палатке он прочитал коротенькую телеграмму, не выделявшуюся среди других сообщений, об убийстве в Сараеве австрийского престолонаследника сербским гимназистом Гаврилой Принципом. Убийце было девятнадцать лет.

«Какая странная фамилия»,— подумал он.

3

Уже несколько дней Бредов жил в Петербурге. Он не был здесь два года — со времени своих последних (неудачных) экзаменов в академию генерального штаба.

Как и прежде, он с восхищением рассматривал великолепные улицы столицы. Он стоял под аркой Главного штаба, обозревая величественное здание, царственную перспективу дворцовой площади и тонкую, стройную колонну, увенчанную ангелом с крестом, подымавшуюся посреди площади — символ великой, могущественной России. Строгая роскошь Английской набережной особенно привлекала его. Он выходил на Сенатскую площадь и долго разглядывал позеленевшего вздыбленного коня, ногами топчущего змею, и темную, мускулистую руку всадника, протянутую к Неве. Медленно шел обратно, любовался темнокрасными корпусами Зимнего дворца и по Конногвардейскому бульвару возвращался домой.

...В первый раз он вошел в помещение генерального штаба. Он был подавлен — все здесь казалось ему значительным, полным особого значения. Массивная мраморная лестница, колонны, как в храме,— и быстро и легко несутся по коврам украшенные аксельбантами жрецы этого храма.

Ах, как горько сознавал провинциальный армейский офицер, штабс-капитан Бредов, свое ничтожество. Кто он, что он представляет собой? Может ли он надеяться, что когда-нибудь будет командовать дивизией, ну, хоть полком? Нет, нет. Вот этот стройный капитан, так уверенно идущий по самой середине ковра, он будет командовать дивизией. Он — будущий полководец, академия раскрыла перед ним свои высшие тайны, передала ему святая святых военного искусства. Как гордо смотрят его глаза! Как спокойны его движения. Завтра будет война, и широкая дорога славы откроется перед ним. Рота, батальон, штаб дивизии, блестяще выполненная тактическая задача, ордена Анны и Владимира с мечами, Георгий и золотые зигзаги генеральских погон — высшая честь, высшая награда!

Бредов входит в кабинет, сутулясь, охваченный слабостью. Рассеянно прочитывают его командировку, ни одного взгляда на него, красный карандаш пишет наискось на бумажке несколько слов, и равнодушный голос говорит:

— В комнату через коридор. К капитану Новосельскому.

В комнате капитана Новосельского его ожидал при-

ятный сюрприз. Капитан учился вместе с ним в юнкерском училище. Он сразу узнал Бредова и протянул ему обе руки. Новосельский был добродушный, полноватый человек с мягкими, карими глазами и светлыми, вьющимися волосами. Портили его только чересчур крупные и частые зубы.

— Люблю случайности,— весело сказал Новосельский,— конечно, лишь тогда, когда они приятны. Расскажи, как ты попал ко мне?

Они быстро договорились, и Новосельский пригласил Бредова пообедать с ним в ресторане. Через полчаса они вышли из штаба.

— Счастливый,— говорил Бредов,— тебе удалось то, над чем я напрасно бился. Я должен сознаться — завидую тебе.

— Не в чем завидовать,— медленно ответил Новосельский.

Он нахмурился, и Бредову показалось, что его приятель не хочет договаривать своих мыслей. Новосельский долго закуривал папиросу, и некоторое время они шли молча. Морская кипела шумным, густым движением. Экипажи проезжали длинной вереницей и сворачивали с Морской на Невский. Широкие тротуары Невского были залиты толпой. От Морской до Садовой толпа двигалась сплошным, многоцветным потоком. Люди шли тесно, торжественно, подчиняясь тягучему ритму, усвоенному ими за долгие дни гуляний. Они равнодушно, приветливо, ревниво или снисходительно оглядывали ряды гуляющих, разговаривали, смеялись, шутили, раскланивались со знакомыми. Офицеры вошли в ресторан. Высокий, бородатый швейцар, кланяясь, принял у них фуражки. Метрдотель, похожий на министра, подошел, привычно нагнув лысую голову, оправил крахмальную скатерть и положил перед Новосельским меню в роскошной с золотыми тиснениями букв папке. Заказ у них принял лакей с бачками под Александра Второго. Новосельский рассеянно оглядывал публику, раскланивался со знакомыми. Они уже ели суп, когда мимо них прошел, направляясь в глубь ресторана, плотный, в золотом пенсне, генерал. Новосельский быстро встал, ловко склоняя в поклоне голову. Генерал чуть кивнул ему, Бредова (тоже поднявшегося) не заметил.

Бредов жадно и настойчиво расспрашивал его, как

проходит работа в генеральном штабе. Последние достижения военного дела, реорганизация армии особенно интересовали его.

Новосельский пил вино и, прищурившись, смотрел куда-то в сторону.

— Да, как тебе сказать,— неопределенно ответил он.— Рекомендую тебе шато-икем. Очень хороший.

— Ну, как не стыдно,— укоризненно сказал Бредов, наливая себе золотистое вино,— ведь ты сидишь у первоисточника. Господи, Леонид, я столько лет мучительно добивался этого. Тебе ли быть недовольным?

Новосельский медленно наполнял свой стакан, лицо его принимало насмешливое, немного даже страдающее выражение.

— А я вот подумываю о том,— негромко начал он,— что не плохо было бы послужить в армии, в одном из тысячи медвежьих уголков, о которых ты говоришь.

И, резко двинувшись всем телом, он наклонился к Бредову и положил на его руку свою — широкую, белую, с блестящими, выхоленными ногтями.

— Со стороны все это кажется иначе,— как бы объясняя самому себе какую-то новую мысль, говорил он.— Ну, да, существует генеральный штаб, который поставляет для армии полководцев, создает и питает самую передовую военную науку, использует самое драгоценное из прошлого боевого опыта, совершенствует искусство управления войсками, выдвигает свежие, талантливые силы, проявляет творческую инициативу... так, по-твоему, обстоит дело?

— Да, да,— горячо подтвердил Бредов,— я с тобой совершенно согласен, таким мне и кажется генеральный штаб. Новые идеи, новые знания. Ах, как хочется вырваться из провинциальной нашей трясины! Я допускаю, что у вас в штабе есть свои слабые стороны, есть плохие работники, но если брать в целом, все же весь свет идет от вас. Скажи, чем вы сейчас живете, кто из молодых выдвигается у вас?

— ...Вам со стороны все это кажется проще,— повторил Новосельский,— выпей еще вина. Вино у нас в Петербурге действительно хорошее. Кстати, тебе подвезло. На-днях приезжает Пуанкаре. Я тебе достану билет.

Они расстались у Казанского собора. У Бредова было

свободное время, и он решил побродить по городу. Он прошел по Невскому до Садовой, потом сел в трамвай. Вылез где-то на окраине и остановился в удивлении — казалось, что в несколько минут его перенесли в провинцию, так не были похожи эти низкие, грязные домишки, плохо мощеная улица, бедно одетые пешеходы на блестящий центр столицы. Он миновал величественную арку Нарвских ворот и медленно шел по узкому, заросшему по краям травой тротуару, досадуя на себя, что забрался в такую дыру. Улица упиралась в желтый двухэтажный дом и под крутым углом заворачивала вправо. Глухой шум вырвался оттуда, и Бредов увидел вдали красные корпуса и тяжелые черные трубы. Толпа колыхалась возле завода, крики доносились громче, и штабс-капитан подошел к воротам. Слева от завода показался трамвай, он шел медленно и как бы нерешительно. И Бредов увидел странное зрелище. Толпа загородила трамваю дорогу, видно было, как из вагона выбегали люди. И вдруг, тяжело качнувшись, облепленный с одной стороны плотной массой людей, вагон начал медленно валиться и рухнул с грохотом и визгом.

— Что такое, с ума я сошел,— пробормотал Бредов. Он увидел городового, жавшегося к стене, и подозвал его.

— Бастуют, ваше благородие,— пояснил полицейский,— уже третий день бастуют. Разгоняют их, а они опять собираются. Отчаянный народ эти фабричные. Сейчас наряд приедет. По телефону сообщено.

Бредов смотрел, глубоко пораженный. На его глазах строилась баррикада, красный, похожий на вымпел флаг взвился над ней, чей-то голос, ясно и точно отчеканивая слова, начал говорить, и толпа сразу затихла. Бредов ясно услышал последние слова оратора: «Товарищи бакинцы, мы с вами. Ваша победа — наша победа».

«Кто такие бакинцы? — подумал Бредов.— Ах, да, ведь в Баку забастовка... Значит, все они заодно — и в Баку и в Петербурге?»

И у них в городе было неспокойно, когда он уезжал. Неужели беспорядки захватили всю Россию? Почему бастуют рабочие? Чего они хотят? Чем недовольны?

И, подумав, он должен был сознаться, что по-настоящему ничего не знает об этом... Живет где-то рядом

целый многочисленный народ, идет своими, какими-то чужими и непонятными ему путями, и трудно узнать, что движет им, что скрывается в темной его толще. Он ближе подошел к воротам завода. Они были закрыты, и слышно было, как во дворе шумела большая толпа. Сторож выглянул в окошечко и торопливо отворил офицеру узенькую калитку, очевидно, приняв его за полицейского. Бредов нерешительно вошел, дверь сейчас же закрылась за ним, и через табельную он прошел во двор, уже жалея, что попал сюда. Его поразило огромное скопление людей, слушавших нескольких ораторов. Тут было не меньше десяти тысяч человек. И Бредов со смятением смотрел на решительные, взволнованные лица... Такие лица бывают у солдат перед боем, тем боем, которого они ждут... И опять слово «Баку», несколько раз повторенное, достигло его слуха... Вероятно, митинг кончился, толпа хлынула к воротам, но ворота не открывались, и возле них, все больше сгущаясь и напирая друг на друга, люди кричали, волновались от растущей тесноты и стучали в ворота... И вдруг ворота открылись. Конная полиция галопом бросилась на толпу, пешие отряды городовых, с поднятыми шашками, появились сбоку, вероятно, уже раньше спрятанные на территории завода. Бредов слышал, как с визгом опять закрылись ворота, видел, как шашки и нагайки мелькали в воздухе, как кони, храпя, напирали на толпу, метавшуюся по двору, не знавшую, куда спрятаться. Где-то пронзительно и страшно крикнул высокий, совсем мальчишеский голос, и выстрелы, и крики, и вой сразу наполнили двор. Камень ударился в стену возле Бредова. Недалеко от него стоял помощник пристава и, наклонив толстую, вздрагивающую шею, стрелял в гущу людей из никелированного револьвера.

Бредов очнулся на улице. Почти бежал. Потом узнал, что был на Путиловском заводе. Это был день шестнадцатого июля, день расстрела путиловцев.

4

Газеты мало писали о рабочих забастовках. Девяносто тысяч человек бастовали в одном лишь Петербурге, каждый день происходили столкновения рабочих с по-

лицией, но все это отмечалось на задних страницах газет короткими заметками, набранными петитом. Зато передовые статьи, длинные корреспонденции и жирные заголовки извещали о предстоящем визите президента Франции Раймонда Пуанкаре. В начале июля четырнадцатого года в Ревеле и в Петербурге гостила английская эскадра под флагом адмирала Битти. Теперь вторая дружественная держава демонстрировала крепость своего союза с Россией. Императорская Россия казалась в зените своей силы и славы. В прошлом году династия праздновала трехсотлетие своего царствования, и новые события словно подтверждали и укрепляли ее блеск. И пока иностранных моряков водили по улицам столицы и кормили обедами, дипломаты ставили последние точки в своих соглашениях, превращая тройственное согласие — Англии, Франции и России — в тройственный союз. Еще за год до сараевского выстрела русский посол в Бухаресте в интимнейшей обстановке уверял румынского министра иностранных дел, что Россия отдаст Румынии Трансильванию, если Румыния вместе с нею выступит против Австрии. Сазонов не уставал спрашивать Англию о Дарданеллах, и Бьюкенен советовал ему терпение и терпение, утверждая, что проливы от России не уйдут. Проливы за гибель морского могущества Германии, дерзко залезавшей в лучшие рынки Англии, миллиарды франков и Галицию за Эльзас и Лотарингию — никогда еще перспективы войны не казались так заманчивы для России, никогда еще так горячо не работала военная партия при дворе. Столица видела у себя в прошлом и позапрошлом году толстого, усатого человека, с красным лицом сангвиника, которого с великим почетом принимали русские генералы. Жоффр позволял себе многое. Он инспектировал планы русского генерального штаба, указывал, в постройке каких стратегических дорог на германской границе заинтересована его страна, и даже определял, сколько германских корпусов должна задержать в Восточной Пруссии доблестная русская армия. Его указания основывались на могущественных аргументах. В секретных бумагах генерала хранились копии писем де-Варнейля, председателя комиссии парижских биржевых маклеров, к руководителям российской финансовой и иностранной полити-

кой — к министрам Коковцову и Сазонову. Де-Варнейль, от которого крепкие нити шли к крупнейшим французским банкам, к королям тяжелой промышленности и к пушечным заводам Шнейдера—Крезо, гарантировал России ежегодный выпуск в Париже обязательств на полмиллиарда франков. Эти деньги давались под двумя условиями, которые председатель парижской биржи поставил по предложению генерального штаба.

1) Россия немедленно приступает на своих западных границах к постройке стратегических железных дорог, признанных необходимыми для будущей войны на совещании французского и русского генеральных штабов.

2) Мирный состав русской армии будет значительно увеличен.

Жоффр приезжал как посланец военной силы, но фактически он был посланцем французской биржи, руководимой металлургическими магнатами: наряду со многими другими борьбами началась и борьба между двумя металлургическими концернами. Столицей одного был Париж, другого — Берлин. Подогревая патриотические настроения своих соотечественников и давая деньги на увеличение русской армии, биржевики думали о саарском угле и лотарингской руде, без которых не могла развиваться французская металлургия.

Обе империалистические коалиции — Антанта и центрально-европейские державы — лихорадочно готовились к войне, которая давно уже подготовлялась всем ходом событий. В Германии и в Австрии тоже делали все, чтобы ускорить неизбежную войну. В Германии считали, что настоящий момент очень благоприятен для выступления. Боеспособность России там расценивали очень низко, новые корпуса еще не были сформированы, и молодому германскому хищнику, позже других вступившему в борьбу за мировые рынки и за колонии, грезилась свободная дорога на Багдад, прорубленная победным германским мечом, владычество на Ближнем Востоке и далее — угроза Англии в ее наиболее уязвимых местах. В Берлине хорошо знали, что поддержка венского ультиматума Сербии — есть война и шли на это. Опасаясь, что

Сербия может принять австрийские требования и тем самым предотвратить войну, Вильгельм бешено толкал своего союзника на неуступчивость (тут он, впрочем, ломился в открытую дверь, так как Австрия с неприкрытой поспешностью сама ускоряла события). Его замечания на полях доклада германского посла в Вене Чиршкого хорошо раскрывают воинственные настроения последнего Гогенцоллерна. Он придумывает требования, совершенно невыполнимые для Сербии.

«Очистить Санджак! Тогда свалка немедленно налицо»,— пишет он. Ему не терпится скорее иметь войну. Выступление Англии казалось сомнительным, а план войны на два фронта — против Франции и России, выработанный графом Шлиффеном, при наличии мощной военной индустрии и подготовленной армии, сулил близкую победу.

Круппы и Стиннесы жаждали войны, обещавшей им невиданные еще прибыли, и Мольтке уверял, что никогда не будет столь выгодного момента для выступления, как сейчас. В военном ведомстве были столь предусмотрительны, что даже заручились согласием вождей социал-демократии не выступать против войны. Все было готово. Начиналась разбойничья война, в которой обе стороны стремились ограбить своих противников, неся гибель и разорение народам воюющих стран, но прикрывая свои грабительские стремления высокими лозунгами о защите отечества. Россия мечтала о Галиции и проливах, Германия о богатых колониях Англии, Англия о новых колониях, об уничтожении морского могущества Германии. Все они стоили друг друга, все действовали, как разбойники на большой дороге.

Двадцатого июля президент на крейсере «Франс» прибыл в Кронштадт, встреченный там императором, а на следующий день его ждали в Петербурге. Городская дума готовила президенту исключительный по пышности прием. Из Ниццы были выписаны живые цветы, заказаны обеды на тысячи приборов, украшены набережная и улицы, по которым должен был проехать президент. Газеты соревновались одна с другой в восхвалении президента, в описании его миролюбивости и любви к цветам и животным.

С тревогой и опаской везли президента по петербургским улицам устроители торжеств. Каждую минуту ожидали неприятностей. Второй Петербург—рабочий— не встречал президента. Он был занят другими делами. С утра двадцатого июля — дня приезда Пуанкаре — Петербург принял облик, напоминающий дни пятого года. Кроме казенных заводов, все остальные бастовали. Сто пятьдесят тысяч рабочих вышли на улицы Петербурга с красными флагами. Стачка, начавшаяся из солидарности с бастующими бакинцами, стихийно разрослась после происшедшего шестнадцатого июля расстрела путиловцев. На улицах останавливали и валили трамваи, строили баррикады. Все усилия полиции сводились к тому, чтобы не допустить рабочих на Невский к моменту проезда Пуанкаре.

...Центр города был празднично спокоен, окраины же полыхали огнем. Бредов поехал в Сестрорецк к знакомым. Он сидел у окна, читая газету, когда вдруг послышались крики, и поезд остановился. Несколько человек, испуганно оглядываясь, побежали в сторону от полотна дороги, и оттуда, где был паровоз, донесся пронзительный свист и шипение, как будто выпускали пар из котла. Бредов выскочил из вагона. Во все стороны бежали пассажиры. Толпа рабочих с красными флагами окружала поезд, возилась возле паровоза и вагонов. Старый машинист, с измазанным копотью лицом, сходил с паровоза, не сильно сопротивляясь двум рабочим, легко подталкивавшим его.

— Ваша сила, ваша сила,— громко и как будто весело говорил машинист, вытирая руки паклей.— Сам я машины не оставлял.

— Что вы делаете? — сердито спросил Бредов, подходя к паровозу.— Прекратите сейчас же это безобразие. Ведь вы мешаете движению.

К нему повернулось несколько человек. Лица у них были разгоряченные и решительные, как во время боя.

— Почему же безобразие? — со спокойным недружелюбием сказал пожилой рабочий (пиджак был узок его широким, круглым плечам) и внимательно оглядел Бредова.— Война это, господин офицер, война.

Бредов почувствовал себя нехорошо: с совершенной ясностью ему представилось, что он стоит среди чужих,

непонятных ему людей. Они такие же русские, как и он, но они живут и думают совсем по-иному; в их массе, как в вулкане, скрыто глухое, опасное брожение больших сил, и непонятно, что движет эти силы, заставляет их бороться со старой, налаженной веками жизнью. Он хмуро посмотрел кругом, увидел твердые, обращенные к нему лица и медленно пошел прочь.

В городе не ходили трамваи, и обозленный Бредов, только пройдя несколько улиц, мог найти извозчика.

5

Извещения о мобилизации были развешаны по городу. Появились тысячи пьяных, какие-то подозрительные личности носились с царскими портретами, заставляли всех встречных петь гимн, избивали тех, которые недостаточно быстро снимали шапки. К Зимнему шли тысячи горожан. Полиция стояла перед дворцом в достаточном числе, держалась вежливо, но слишком близко к ограде не подпускала. Народ, даже патриотически настроенный, был все же подозрителен — на то он и народ,— и десяти лет не прошло еще с тех пор, когда на этой самой площади стреляли в толпу, как и теперь, идущую с царскими портретами.

Офицеров приветствовали на улицах. Орущие краснолицые люди окружили Бредова на Суворовском проспекте возле академии и стали его качать, высоко подбрасывая в воздух. Толстый человек, по виду лавочник, и другой, в очках, с шатеновой бородкой на интеллигентном, высоколобом лице, держали его за плечи (было больно, неудобно и стыдно) и кричали вместе с другими:

— Да здравствуют русские офицеры! Да живет русская армия!

А человек с бородкой визгливо добавлял, влюбленно стискивая Бредова:

— Живио Сербия!

В день объявления войны Германией самая многолюдная манифестация направилась к Зимнему дворцу. Было известно, что царь прибыл в Петербург. Во дворце шел молебен, громкое пение хора доносилось через открытые окна на площадь. Потом крики толпы уси-

лились, в разных местах нестройно запели гимн и «Спаси, господи, люди твоя». Широкая двустворчатая дверь на балкон распахнулась, и вышел царь. Толпа опустилась на колени. Непрерывное «ура» перекатами катилось по площади.

Бредов стоял впереди. Он ясно видел лицо царя, его глаза, бородку и усы. Он жадно и потрясенно разглядывал это лицо, искал в нем отражения тех великих чувств и настроений, которые как в фокусе должны были быть собраны в нем: ведь вся Россия смотрит на него, верит ему, и одно его слово, один росчерк пера определяет судьбу народов и стран.

Бредов видел равнодушные, табачного цвета глаза с невыразительным взглядом, туповатый нос, мягкие, нерешительные губы, рыжеватую бородку. Царь часто моргал, как будто ему было больно смотреть на толпу. Он шевельнулся и беспокойно оглянулся, потом опустил голову и стоял, вяло отставив ногу. На балкон вышла женщина в белом платье и остановилась немного позади царя. Он обрадованно кивнул ей, и в его лице Бредов ясно заметил явное выражение облегчения, как будто ему одному было не по силам стоять перед народом. Бредова поразило лицо царицы. Очень белое, оно было неестественно напряжено, тонкие губы были сжаты, глаза смотрели не на толпу, а вверх, застывшим немигающим взглядом. Царь шагнул вперед и неловко поднял руку на уровень плеча. Казалось, что он хочет говорить, но, постояв, он поклонился и торопливо ушел вместе с царицей.

Чувство недоумения и горечи осталось в Бредове. Он проводил в Петербурге последние дни — надо было скорее возвращаться в полк. С глубоким удивлением он сознавал, что не испытывает особого подъема. Что-то грызло его, мешало отдаться, как и следовало русскому офицеру, патриотической радости. Война была ему приятна — она раскрывала перед ним заманчивые перспективы, но вдруг (это чаще бывало ночами) в голову лезли ненужные обрывки мыслей. Тут было и воспоминание о царе на балконе, и о насмешливых разговорах Новосельского, и о высказываниях Константина Ивановича, встреченного им в поезде, и еще что-то неосознанное, и все это сосало штабс-капитанскую душу, тревожило ее. С отчетливой неприятностью

вспоминался ему и следующий случай: 31 июля он наблюдал патриотическую манифестацию у Николаевского вокзала. Манифестация понравилась Бредову: она шла стройно и ровно, без грубых выкриков, в ее рядах было много студентов и людей интеллигентного вида. И вдруг с противоположной от Невского стороны Знаменской площади, захлестывая стремительным сильным движением памятник Александру Третьему, выдвинулась другая демонстрация, совершенно неожиданная здесь. Красные флаги почти закрыли грузную фигуру чугунного всадника, и пение «Марсельезы» смешалось с пением гимна. Какой-то человек проворно залез на цоколь памятника и звонко крикнул:

— Долой войну, долой самодержавие! Да здравствует революция! — и он бросил в толпу толстую пачку листовок, разлетевшихся во все стороны. Его встретили свистками и улюлюканьем. Патриотически настроенная толпа бросилась к памятнику. Через несколько минут появились казаки. Бредов машинально подобрал одну листовку. Он был поражен. Эта демонстрация против войны (из газет он потом узнал, что ее организовали среди рабочих социал-демократы большевики) казалась ему кощунственной в дни общего национального подъема и единения перед лицом страшного врага. Многие места листовки он находил вздорными, не имеющими никакого смысла.

«...Ко всем рабочим, крестьянам и солдатам,— читал он.— Товарищи, кровавый призрак веет над Европой. Жадная конкуренция капиталистов («...какая чепуха — при чем тут капиталисты?»), политика насилия и захвата толкает правительства всех стран на путь милитаризма... Долой войну! Война войне — должно катиться мощно по градам и весям широкой Руси. Рабочие должны помнить, что у них нет врагов по ту сторону границ («...да ведь это измена, открытая измена!..»). Царское правительство заявило себя «покровителем и освободителем славянских народов», но мы здесь видим не покровительство, а жажду захвата новых владений... Правительство угнетателей русских рабочих и крестьян («...неправда, скольким крестьянам прекрасно живется, есть немало богачей среди них»), правительство помещиков не может быть освободителем: всюду,

куда оно ни проникает, оно несет с собой кабалу, нагайку и свинец. Еще не успели смыть рабочую кровь с петербургских мостовых, только вчера весь рабочий Петербург, а с ним и вся трудящаяся Россия объявлены «внутренними врагами», против которых пускали диких казаков и продажную полицию — теперь их призывают к защите отечества («...да, да, но ведь вы русские, и перед грозной опасностью извне надо забыть все споры — не выдавать же родину на поток и разграбление...») ...Солдаты и рабочие, вас призывают умирать во славу казацкой нагайки, во славу отечества, расстреливающего голодных крестьян, рабочих, душащего по тюрьмам своих лучших сынов. Нет, мы не хотим войны! Мы хотим свободы России...»

Под листовкой стояла подпись: «Петербургский комитет РСДРП».

На другой день он закончил все свои дела, простился с Новосельским и поехал на вокзал. Город кипел. Толпы возбужденных людей наполняли улицы. Люди спорили, кричали, размахивали руками. Незнакомые останавливали друг друга. Пели хриплые голоса. Веяли трехцветные флаги: красное полотнище внизу, синее посредине и белое вверху. По Знаменской площади метались газетчики. Босой мальчишка сунул Бредову газету. Через всю полосу тянулись жирные буквы:

«Англия объявила Германии войну. Да здравствует благородная Англия, владычица морей».

Он уезжал полный сумбурных мыслей, сильно потрепанный всем тем, что он видел, узнал и пережил в Петербурге. И когда он приехал к себе и увидел маленький тихий городок, полк и товарищей, которые готовились к войне, услышал их разговоры, такие простые и бесхитростные, услышал их высказывания о войне и ее причинах, которые показались ему наивными и провинциальными, он вдруг загрустил. Ему казалось, что он отравлен, что вся эта толща страшных наступающих, как грандиозный смерч, событий не так уж проста и понятна. Мало того, что он — штабс-капитан Бредов — пойдет на войну, драться за царя («...какой он был на балконе Зимнего дворца... хоть бы слово сказал тогда...»), за родину, за веру («а верю я в бога?») — мало. Ах, все это не так просто, как думают

его товарищи, как, может быть, думал он сам до поездки в Петербург. И он на минуту, горько улыбнувшись этой мысли, подумал, что, может быть, было бы лучше не ездить ему в Петербург!

6

Был обычный лагерный день. После полевых занятий и стрельбы роты с песнями возвращались в лагерь, поднимая белую, похожую на дым пыль. Впереди своей роты шел Васильев. Он весело оглядывался на солдат, довольный сегодняшним учением.

«Надо будет Карцева и Петрова произвести в ефрейторы,— подумал он,— не забыть завтра написать рапорт об этом».

Он остановил роту, скомандовал «бегом по палаткам» и, улыбаясь, смотрел, как, обгоняя друг друга, солдаты бежали с винтовками в руках.

Чухрукидзе и Ужогло были в одной палатке. Возле них помещался Гилель Черницкий. Все они торопливо обтирали винтовки, отвязывали от скаток котелки, спеша на обед. Черницкий, стаскивая потемневшую на спине и подмышками от пота гимнастерку, вспомнил, что вечером надо итти на кухню чистить картошку, и сердито поморщился: наряд дал фельдфебель не в очередь за то, что, читая полученное из дому письмо, Гилель не заметил его и не отдал чести. Он побежал мыться. У умывальников было шумно. Солдаты живо перекидывались словами, и кто-то недоверчиво с досадой сказал:

— Болтают, болтают, а где правда? Опять брешут.

— Побрешут тебе,— насмешливо отвечал голый до пояса рыжеватый солдат, вытиравшийся грязным бязевым полотенцем.— В поход пойдешь — и то верить не будешь. Сказано тебе, что снимаемся на зимние квартиры. Шутишь, что ли?

Новость подвергалась яростному обсуждению. Из газет, из разговоров знали о том, что было тревожно, знали о мобилизации Австрии против Сербии, но казалось, что от этих событий до войны далеко.

— С кем воевать-то будем? — спросил небольшой, с яйцевидной формы головой, солдат.— С австрияком?

Так зачем нам? Пускай он себе с сербом путается, нам-то что?

— Прикажут, вот тебе и что. Ты и будешь распутывать.

— Какая, братцы, война, скоро хлеб убирать, кто же в деревне останется?

— Все же я никак не пойму. Тихо все, погоды хорошие стоят, хлеба зреют, никакой у нас обиды ни к кому нет, и вот тебе — война. К чему она народу?

— Так народ и спросили,— тут, брат, не народное дело.

— Вот она, горя солдатская... Мне же осенью домой итти, а тут на свадьбу зовут. Эх, землячки-братцы... кому горше солдата живется? Горя, горя...

Заиграли на обед. Из палаток выбегали солдаты, строились по-взводно и торопливо шли к столовой — к рядам длинных столов под навесом. Обед был хорош — жирные мясные щи, которые хлебали досыта, раза два бегая за добавком, и гречневая каша, заправленная говяжьим салом. После обеда пили кислый сухарный квас и, разговаривая, расходились по палаткам.

Карцев остановил Черницкого:

— Полежим в поле, Гилель, душно в палатках.

Они медленно пошли к дороге, проходившей близко от лагеря, перешли на другую сторону и легли в тени кустов. Закурили, и зеленоватый дым махорки пополз, цепляясь о листья, как разорванная паутина.

— Читаю «Русское слово»,— говорил Карцев,— каждый день теперь читаю. Знаешь, какая каша заваривается? Сволочи эти австрийцы. Жмут они сербов до отказа. Пользуются тем, что маленький народ, и притесняют. А чем сербы виноваты, что Принцип убил наследника? Разве может весь народ отвечать за одного человека? Обидно за сербов. Бедный народ.

— Бедные все хорошие,— пробормотал Черницкий.— Я только ни разу не мог найти хорошего богача. Говорят, что их совсем нет на свете.

— Выбил я сегодня на «отлично»,— говорил Карцев,— неужели же придется по людям метиться?

Черницкий поднял голову.

— Есть разные люди, — сказал он, — можно стрелять и без войны. Мазурин читал нам, как в Баку и в Петер-

бурге стреляли в рабочих. Тебе обязательно нужны австрийцы? Зачем нам итти за границу стрелять? Это можно сделать гораздо ближе. Первая мишень — капитан Вернер. Если даже будет война, он умрет от русской пули.

Он скоро уснул. Карцев лежал, подложив под голову руки, смотрел в бледное, точно выцветшее от солнца небо. Было тихо, спокойно, жарко. Война представлялась ему далекой, неопределенной, похожей на маневры. Она не вязалась с чувством ленивого покоя, овладевшим его телом, с безоблачным небом, с сытым мычанием коров, доносившимся из соседнего хуторка. Зачем, кому нужна война? Конечно, нельзя верить газетам, но все-таки нехорошо, что Австрия прижала маленькую Сербию... нехорошо.

Он уснул.

Утром все было необычно в лагере. Отменили занятия. Приказали солдатам собирать свои вещи и затем разбирать палатки. Офицеры ходили возбужденные, тихо переговариваясь между собой. Впрочем, они по-разному держали себя. Молодежь бравировала своей храбростью, до поздней ночи кутила в ресторанах. Молодые подпоручики, воинственно выпятив грудь, маршировали по улицам. Старые офицеры были сдержанны, некоторые даже печальны.

К вечеру лагерь представлял необычный вид. Брезенты, снятые с палаток, горбато, как отдыхающие верблюды, лежали на земле. Всюду валялось военное имущество, груды деревянных щитов, цинковые коробки с патронами, выданные для предполагавшейся на следующий день стрельбы, учебные винтовки и мишени. Солдаты, растерянные и настороженные, собирались кучками, выбитые из колеи обычной жизни, испуганные тем новым и неизвестным, что готовил им завтрашний день. Хотя все знали, что полк идет на зимние квартиры, чтобы мобилизоваться, официально об этом солдатам не сообщалось. Еще больше, чем всегда, офицеры держались обособленно от солдат, не объясняли им значения надвигающихся событий.

Заиграли сбор, и полк в полном походном снаряжении выстроился у разрушенного лагеря. Оркестр стоял возле первой роты. Подъехал на гнедом коне полковник Максимов, поздоровался с солдатами и сказал:

— По приказу государя императора мы идем на зимние квартиры. Там будем ждать новых распоряжений. Время для России тревожное. Немцы грозят нашей великой родине. Им мало того, что они имеют, они хотят совсем нас задушить. Они натравили австрийцев на наших братьев сербов, насмехаются над православной верой. Мы им покажем, что такое святая, богатырская Русь, покажем, как колет русский молодецкий штык.

Он грозно посмотрел кругом и закричал:

— Ура государю императору!

Солдаты смотрели хмуро, вяло кричали «ура».

Максимов подал команду, и полк по-ротно двинулся к станции. Заиграл оркестр. Офицерские жены и дети и толпа посторонних людей провожали солдат. На другой день полк уже был в казармах, а еще через день начали прибывать первые запасные. В помещении десятой роты, где жило меньше ста человек, теперь скучилось двести пятьдесят. По всему коридору, одни на тюфяках, другие прямо на полу, лежали запасные. Большинство из них состояло из пригородных крестьян, но было немало и фабричных рабочих, несколько служащих, чиновников и интеллигентов. По городу происходили манифестации, торговый люд, которого много было в городе, вышагивал по пыльным немощеным улицам с иконами, царскими портретами и флагами. Среди запасных было много уже не молодых — между тридцатью пятью и сорока годами — людей. Попадались среди них и унтер-офицеры, но всех их, хотя там были и георгиевские кавалеры, участники японской войны, зачислили рядовыми под команду молодых ефрейторов. Карцев, которого Васильев представил к ефрейторскому званию, был назначен отделенным командиром. Среди четырнадцати человек, подчиненных ему, оказался и один старший унтер-офицер, бородатый, почти сорокалетний человек, любивший говорить длинно и вразумительно, но характера приятного и доброго. Его фамилия была Голицын, и он тут же подробно рассказал Карцеву, что дед и отец у него были крепостными князя Голицына, и эта фамилия перешла к ним. Он хозяйственно расположился в углу, застелил тюфяк какой-то пестрой тряпкой, повесил на стенку образок

Серафима Саровского и сказал, оглядывая расположившихся вокруг него запасных:

— Скушно мне без сундучка. Сундучок — он как дом, солиднее с ним, а так, как перышко — куда ветер, туда и я.

Карцеву он говорил шепотком, чтобы не слышали другие:

— Плохо это начальство решило — унтер-офицеров рядовыми зачислить. Понадобимся мы им потом, да поздно будет. Ты хоть мне и начальник, а слушайся меня. Я, брат, на японской был и войну понимаю. Ты не гордися, а держись возле меня. Мне ты нравишься. Статный ты человек. Только одним виноват — молод. Но и здесь бог поможет — состаришься.

Он всегда так говорил — начнет серьезно и поучительно, а кончит шуткой, которую трудно отличить от правды.

Каптенармус Рязанов получил обмундирование и выдавал его запасным. Скоро всех их одели по-военному, и на занятия рота выходила в боевом составе — двести пятьдесят человек. С запасными было трудно заниматься, среди них было много таких, которые почти совсем позабыли строй, не умели действовать цепью, жались друг к другу, плохо маршировали и на полевых занятиях путали. Вернер и теперь остался верен себе: его рота маршировала весь день, и взводные следили за тем, чтобы все одновременно и крепко ставили ногу.

7

Большая радость ждала Карцева. Возвращаясь к себе в роту, он на дворе увидел Мазурина. Он обрадовался так сильно, что, подбежав к Мазурину, обнял его и не мог говорить — перехватило горло.

— Выпустили,— сказал Мазурин.— Не будь войны,— отправили бы куда-нибудь подальше. Ну, расскажи, что здесь у вас слышно? Я никого еще не видел.

Карцев разглядывал его жадными, счастливыми глазами. Мазурин мало изменился, только глубже ушли глаза и выросла борода.

— Надо будет скорее собраться,— озабоченно говорил Мазурин. — Среди запасных есть, наверное, хорошие ребята? Ты не прощупал их?

— Что же их прощупывать,— ответил Карцев,— разве время теперь для этого?

— Почему же не время? — Мазурин остановился и с удивлением поглядел на Карцева.— Теперь, по-моему, самое время, пускай знают, за что они идут проливать свою кровь. Что, нужна им, по-твоему, эта война?

— Но ведь напали на нас,— сказал Карцев,— как же теперь быть? Отдать немцам без боя всю нашу землю? Разве тогда лучше будет?

Он в смятении смотрел на Мазурина. Лицо у него хмурилось.

Мазурин молчал, задумчиво перебирая рукой в кармане. Достал папиросу, закурил. Спросил про Балагина и Казакова. Они вместе вышли на улицу.

По Московской улице с пением гимна, неся впереди царский портрет, двигалась толпа. В первых рядах шли именитые горожане — купцы, крупные лавочники, врачи, чиновники, учителя гимназии. За ними — приказчики, мелкие торговцы, дворники и обтрепанные люди неопределенных занятий. Были в толпе и рабочие. Манифестация остановилась на соборной площади перед домом городского головы, владельца фабрики, купца первой гильдии Князева. Князев вышел на балкон, прервав совещание, обсуждавшее сроки выполнения огромного заказа, полученного фабрикой от интендантства. Он был радостно возбужден,— высокий, широкоплечий, в сером английском костюме, бритый, похожий на иностранца,— и, протянув обе руки, приветствовал манифестацию. Наклонившись вперед, он кричал о великом единении всего русского народа перед дерзким врагом, о том, что нет теперь ни рабочих, ни хозяев, ни бедных, ни богатых, а есть только русские люди. Десять тысяч рублей жертвует он на Красный крест. Да здравствует победа! Ура его императорскому величеству, самодержавнейшему государю Николаю Александровичу! Боже, царя храни. Ура!

Ревели люди. Грузные лавочники в жертвенном порыве лезли вперед. Дамы снимали с себя серьги. Купцы махали бумажниками. Подбрасывали в воздух маленького толстого поручика Жогина. Учитель гимназии подирижировал хором, певшим гимн. Плакал усатый пожилой человек в позеленевшем, длинном, как пальто,

сюртуке. Дворники сочувственно смотрели на своих хозяев. Соборный протопоп, стоя на паперти, широким крестом осенял манифестацию. Мазурин, молча и сосредоточенно, точно изучая всех этих людей, приветствовавших войну, смотрел на манифестацию.

— Князев,— медленно сказал он,— это он во время забастовки вызывал войска против своих рабочих. Ну, пойдем, смотреть нам тут нечего.

Он как бы нарочно ничего не говорил Карцеву, и Карцев, потупившись, шел рядом с ним. Горечь и недоумение накипали в нем.

— Вижу я, что ты сердишься,— начал он.— Разве я вместе с теми иду? Я не за царя и не за Князева воевать пойду, а все же я...— он вдруг с удивлением понял, что не находит слов для выражения чувств, которые казались ему такими простыми и понятными.— А все же я русский,— неуверенно добавил он.— Россия не чужая нам страна... родина... наша сторона...

— Хочешь ты или не хочешь,— с неожиданной для Карцева мягкостью заговорил Мазурин,— но ты с ними идешь. С ними или против них — третьего пути нет. Родина... Какая же у тебя родина? Одна с Вернером и с Князевым? Нет, брат, родину мы себе еще не добыли. Прощай пока. Потом повидаемся.

Карцев остался один. Ему было нехорошо. Он не спеша шел в казарму и обрадовался, заметив во дворе кучу солдат и между ними Орлинского и Петрова. Среди кучки стоял круглый, среднего роста человек, с розовым лицом, с пушистыми усиками над пухлыми губами, и говорил:

— Хотели меня назначить к оставлению, а я отказался. Зачем же я в тылу буду, если другие идут родину защищать? Вот и назначили меня в полк.

Он заботливо оглядывал солдат, явно ожидая сочувствия своему поступку. Но почти все смотрели на него безучастно, некоторые насмешливо.

— Заелся ты от хорошей жизни, вот тебе и плохой захотелось,— объяснил бородатый, уже немолодой запасный, похожий на цыгана.— Это можно. Пробуй на здоровье.

— А ты лёгче, дурень,— вмешался солдат с узким, бледным лицом и глубоко запавшими, зеленоватыми

глазами.— А, может, — и он фанатически оглядел всех,— может, он пострадать хочет?

— Молчи, монах,— сказал кто-то, и послышался смех: в человеке с зелеными глазами действительно было что-то монашеское,— неужели же я охотой воевать пойду? Эх, ты — навоз ты!

Начались шумные споры и крики. И Карцев услышал слова Орлинского:

— Война — это бедствие. Страшное бедствие. Но бывают положения, когда необходимо воевать, как и сейчас, когда на Россию напали.

Его маленькая фигурка выпрямилась, сиреневые глаза, теплые и живые, казались чужими на вялом лице, руку Орлинский поднял как для призыва.

— Много у каждого обид,— твердо сказал он,— и мы не собираемся их прощать. Но наш счет мы не предъявим сейчас, когда отечество в опасности.

— Это его капитан Вернер нашпиговал, — в веселом удивлении крикнул Силин, кадровый солдат третьей роты. — Он это умеет.

Орлинского выручил Петров.

— Орлинский прав,— сурово говорил он, оглядывая солдат. — Ему, может быть, труднее, чем нам, притти к таким взглядам, тем более надо ценить его слова. Сейчас не должно быть у нас никакого различия — все мы русские солдаты и будем драться с немцами. Браво, Орлинский.

Красное, большое, точно опухшее, солнце валилось к западу. Липа на краю двора стояла в нежном, зеленоватом сиянии. Облака, как парусные лодки, уходили в далекие воздушные заливы. Где-то недалеко выпустили голубей, и они, свистя и шумя крыльями, подымались ровными кругами и вдруг, схваченные солнечными лучами, становились сверкающими и пушистыми. Карцеву не хотелось говорить ни с Петровым, ни с Орлинским. Оба были правы, они высказывали как будто то же, что думал и он, но — странное дело — неприятно звучали для него их слова, пробуждали в нем нехорошее чувство к ним. И он почувствовал себя одиноким, раздраженным и несчастным. Куда ему пойти?

Что делать?

И вдруг теплое чувство охватило его. Тоня — как он забыл про нее? Он даже засмеялся от радости и быстро вышел из ворот. Увольнительной записки не брал — перед войной можно обойтись без нее. Тоня шила. Увидев из окна Карцева, вышла к нему. Она похудела, была печальна. Обнявшись, они пошли в маленький сад за домом, где широко разрослись бузина и сирень, и тоненькие, как нитки, тропинки с трудом пропускали их.

— Два дня не было тебя,— говорила Тоня.— Забыл, что ли?

Карцеву не хотелось говорить о том, что мучило его, он обнимал ее, целовал ее шею и лицо.

— Уйдешь, уйдешь,— тихо сказала она,— и ты, и Мазурин, тоскливо будет без вас. Вот и Катя крепится, а вижу — тяжело ей.

Они долго сидели в саду. Воздух наливался темной синевой. Сверчок заверещал совсем близко от них. Галки торопливо летели на ночлег. Густой запах земли, освобождаемый наступающим вечером, тянулся кверху.

— Кому нужна война? — спрашивала Тоня.— Семен Иванович говорит, что война — болезнь. Ее изжить надо... А как изжить?

Глаза у Тони темнели, точно и в них начинался вечер, она гладила стриженую голову солдата, твердый погон на его плече упирался ей в грудь.

— Не хочется итти в казарму,— сказал Карцев,— набито там людьми.

— Оставайся, — предложила Тоня, — что тебе перед войной сделают?

— Побуду еще,— ответил он и засмеялся.— А ты верно сказала, уходи хоть на ночь, ничего они мне сделать не могут. Война же.

Он вернулся в казарму на рассвете. Проходя мимо третьей роты, увидел под деревом, одиноко стоявшим тут, маленькую человеческую фигурку, лежавшую на земле, как сломанный стул.

Он наклонился. Это был Орлинский. Карцеву показалось, что он плакал.

— Люди, я думаю о людях,— глухо говорил Орлинский.— О миллионе людей. Днем это казалось проще. Сейчас же все это похоже на кошмар... Не могу себе

представить, что Вернер, этот мясник, этот жандарм, поведет меня в бой за новую Россию... Как мне итти? Как другим итти? А я хочу, я должен итти за мачеху свою, я, бесправный... ведь эта война имеет международное значение, ведь вместе с нами идут социалисты передовых стран... Франции, Англии... И... мне страшно, мне противно... Очень, очень противно...

И, как тогда, при первой их встрече в Одессе у воинского начальника, Карцев не совсем понял Орлинского. Ведь только сегодня он звал на войну. Страшно—это так, но почему противно?

Жены и дети запасных толпились вокруг казармы, входили во двор. Дневальные не останавливали их, — было не до того. И вечером, когда уходило начальство, многие женщины заходили в казармы и садились и ложились вместе со своими мужьями. Приехала жена и к сверхсрочному унтер-офицеру Машкову, и Карцеву было дико смотреть, как этот черствый, доотказа засосанный службой человек, бездушный, жестокий с солдатами, сидел возле маленькой беременной женщины, нежно держал ее руку, гладил ее по голове.

Ночью Карцев не мог заснуть. Было невыносимо душно, люди лежали вповалку, и многие разговаривали до утра. Трудно было представить, что за окнами летняя прохладная ночь, спокойная прозрачная тишина.

Карцев не мог больше лежать. Встал. Долго ходил по двору. Вышел на улицу. Дневальный у ворот попросил у него закурить. Близко придвинул молодое лицо с черными ямками глаз и спросил:

— Не спишь? Много тут ходит. Встревожен народ.

Карцев кивнул ему и пошел дальше. И вдруг неудержимое желание видеть Мазурина, говорить с ним охватило его.

«Это ничего, что ночь, — думал он. — Мазурин поймет. Разбужу его».

Но в роте Мазурина не оказалось. Его койка была пуста. И Карцев угрюмо пошел обратно.

8

Накануне выступления бригадный генерал Гурецкий объезжал выстроенный полк — четырехтысячную массу вооруженных людей — и поздравлял солдат с походом.

Крестный ход из города подходил к полку, горожане с выпученными глазами кричали «ура», и многие солдаты смотрели на них недоброжелательно и зло, хотя горожане совали им свои патриотические приношения — папиросы, носовые платки, образки и прочую мелочь. На фабрике было тихо. Стачка кончилась. Газеты писали о том, что германские социал-демократы голосовали за военные кредиты, что их примеру последовали французские социалисты, вождь которых, Жорес, был убит в самый день объявления мобилизации. Часть рабочих была охвачена патриотическим порывом и участвовала в манифестациях. Поручик Казаков прочитал письмо Вандервельде, опубликованное в газетах:

«...Для социалистов Западной Европы поражение прусского юнкерства,—медленно и ясно читал Казаков,—есть вопрос жизни и смерти. Но в этой ужасной войне, разразившейся над Европой, вследствие противоречий буржуазного общества, свободные нации вынуждены рассчитывать на военную поддержку русского правительства. От российского революционного пролетариата в значительной степени будет зависеть, чтобы эта поддержка была более или менее решительной... Вы сами прежде всего должны решить, как вам поступить. Но я вас прошу, и наш бедный Жорес, если бы он еще жил, конечно, просил бы вас вместе со мной, стать на общую точку зрения положения социалистической демократии в Европе. Мы считаем, что против подобной опасности настоятельно необходима коалиция всех живых сил Европы, и мы были бы счастливы узнать по этому поводу ваше мнение и еще более счастливы узнать, что оно сходится с нашим...»

Под письмом стояла горделивая подпись: «Эмиль Вандервельде — делегат бельгийской рабочей партии в Международном социалистическом бюро, а со дня объявления войны — министр».

Письмо произвело впечатление. Семен Иванович, ни на кого не глядя, жестоко теребил бородку. Балагин, нахмурясь, смотрел на Казакова с таким видом, точно не верил тому, что тот прочел. Мазурин решал для себя тяжелую задачу и оглянул товарищей спокойным взглядом.

— Вот когда добрый совет дорог,— сказал Семен Иванович,— придется, товарищи, самим разбираться. Тяжелое дело. Не шутка ведь, если такие большие люди, как Вандервельде, нас к войне зовут. Только я бы с ним поговорить хотел. По-простому, по-рабочему. Хорошо он про германских юнкеров говорит, а наших-то русских помещиков и фабрикантов куда он девал? Забыл или не приметил? А нам они ближе германских — мы их каждодневно на своей шее чувствуем. Что же про германских социал-демократов сказать,— он печально развел руками,— это мне еще труднее и горше. Чудесный у них Бебель был старичок, только вот помер, да.

Он в волнении снял очки, протер их полой пиджака, быстро надел и глухо продолжал:

— Хорошая у них партия, ученая, только боюсь, что она ошиблась. Вроде наших меньшевиков они. И Вандервельде тоже — у них там конституция, свобода собраний, сам он министр, им, конечно, иначе, чем нам, живется, а только лучше бы он письма не писал...

Старик говорил с трудом. Откуда было ему знать, что царский посол в Бельгии Кудашев редактировал письмо социалиста?

— Что вы, что вы,— сказал посол, прочитав в письме Вандервельде фразу «поражение германских империалистов»,— ведь у нас тоже император, как же можно писать против империалистов? Вы напишите лучше вместо этих слов — поражение прусских юнкеров.

И Вандервельде немедленно заменил неудобные слова теми, что посоветовал посол, и царская цензура пропустила письмо в русскую печать.

Долго спорили. Критиковали письмо. Колебался Казаков, считавший, что германские социалисты находятся в трудных условиях, и нельзя поэтому осуждать их раньше, чем будут известны причины, побудившие их к такому голосованию. Не все соглашались с Мазуриным, называвшим голосование немцев изменой. Решили выпустить листовку с протестом против войны и распространить ее среди рабочих и солдат.

— Упустили время для протеста против войны,— с горечью сказал Мазурин,— а теперь мы совсем уходим. Придется тебе, Семен Иванович, в тылу знамя

большевистское крепче держать, за молодых, за ушедших работать.

Старик поднялся.

— Другого пути не знаем,— в волнении сказал он,— а путь у нас рабочий, большевистский. Одиннадцать годочков, со второго нашего съезда, работаю в большевиках, через пятый год прошел, в тюрьме сидел—и разве хоть раз с пути нашего я ушел? И не уйду, до смерти бороться буду. Но и вы, друзья мои родные, и вы там, на войне кровавой, нашего дела не забывайте. На войне все скорее делается, учит она людей жестокой наукой. Будьте и там на революционном нашем посту. Будьте.

У него сдавило горло, порвался голос.

— Связь с нами держите,— глухо просил он. — Себя поберегите. Жалко вас...

Он протянул руки, одного за другим обнял Казакова, Мазурина, Балагина, сердитыми взмахами головы стряхивал слезы. И добавил уже спокойно:

— У нас после японской войны пятый год случился, после этой — вдруг пятнадцатый будет. Придем к революции. Еще придем.

Через день, провожаемый бравурной музыкой, пением гимна и плачем женщин, полк несколькими эшелонами отправился на запад

К н и г а в т о р а я

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТАННЕНБЕРГ

I

Эшелон был в пути уже пятый день. С непонятной медленностью двигался он к западу, часто подолгу ждал на полустанках. Большие поля тянулись по сторонам дороги. Сухие копны хлеба, похожие на юрты кочевников, стояли прямыми рядами. Поля уходили вдаль. Потом начинался лес. В кустах росла ежевика, и когда поезд останавливался, солдаты прыгали вниз и собирали темные ягоды. Вокруг была тишина. Наступали теплые, ясные ночи. В небе высыпало много звезд. В теплушках не зажигали огней. Во мраке блестели медные огоньки папирос, слышались тихие голоса. Засыпал эшелон, и вдруг лязгали буфера, повизгивали колеса, паровоз неторопливо тащил вагоны. Как-то ночью солдаты видели в лесу костер. Два человека сидели неподвижно, охватив руками колени. Из лесу выскочил крупный пес, долго бежал рядом с вагонами, потом прыгнул в кусты, исчез. На узловых станциях приходили толпы с оркестрами, флагами, пели гимн, кричали «ура». Женщины раздавали булки и папиросы. Пока стояли в каком-то городе, из женского монастыря монашки привезли целую корзину образков, кланяясь, совали их солдатам.

За станционными зданиями на круглых грязных площадях, одинаковых, кажется, на всех захолустных российских станциях, стояли мужицкие телеги. Маленькие пузатые лошадки были привязаны к обгрызанным столбам. Их владельцы опасливо вылезали на перрон, в недоумении и страхе оглядывали длинную теплушечную цепь, солдат, сидевших на полу теплушек и свесивших наружу ноги, походные кухни, стоявшие на открытых платформах.

Пожилой рыжеватый крестьянин, одетый, несмотря на лето, в полушубок, вытирая шапкой слезящиеся трахомные глаза, рассказывал солдатам, что у них

в деревне в течение трех дней забрали почти всех мужиков.

— Идите, значит, и идите, — негромко жаловался он.— А зачем нам итти? Ничего нам не известно и не объяснено. Это, дорогие, все равно как в сказке. Налетел Змей-горыныч, выхватил любого и унес... Горько, ох, как горько мужику!

Шея у него была коричневая, обожженная солнцем, лицо сухое, потрескавшееся на щеках, заросшее бородой. Солдаты молча смотрели на него. Среди них было много запасных, только-только оставивших свои деревни, и им близок и весь до мелочей понятен этот мужик, летом ходивший в полушубке. О войне они знали не больше его, хотя были в защитных рубашках, вооружены и должны были в ближайшие дни столкнуться с тем неведомым врагом, о котором с таким недоумением говорил мужик.

Ночью проезжали мимо большого завода. Красные, налитые огнем окна были совсем близко от дороги. Тяжелое гудение машин доходило до вагонов. Поезд медленно прополз через полустанок. В скупом свете керосиновых фонарей солдаты увидели толпу. Люди стояли, тесно сбившись. Полустанок и завод скрылись в темноте, мимо поплыли насыпи, груды сложенных решетчатых щитов, низко над землей показались и прошли зеленые фонарики стрелок.

Все ближе подъезжали к границе. Пути были забиты эшелонами. На маленькой станции скомандовали выходить, брать с собой вещи. Солдаты шумно вылезали из вагонов, торопливо строились вдоль пути, поправляли походные мешки, смотрели на опустевшие теплушки, в которых уже обжились.

— Надоело ехать, — сказал кто-то. — Скорей бы нам до немца добраться. Все они к нам ездиют, надо теперь нам посмотреть, как они живут.

— Еще как встретят, — насмешливо ответил второй солдат.

— Встретят,— уверенно сказал первый.— Нас ведь мильон. Вот она, русская силушка.

Девятая рота запела лихую песню. Карцев, становясь в ряды, как-то по-новому почувствовал в руке тяжесть винтовки, на поясе вес подсумков, на груди

патронташ, все тридцать гнезд которого были набиты боевыми остроконечными патронами.

Рядом стоял Гилель Черницкий. Черницкий был спокоен, даже весел, он похлопывал по спине скисшего Самохина и говорил:

— Не пучи глаза, а то они у тебя выскочат и ты не увидишь немцев. Достань-ка махорку. Или, постой, у меня есть папиросы. Не робей, браток.

Самохин за неделю до выступления в поход вернулся в роту из госпиталя, в котором лечился около двух месяцев. Улыбаясь, он стоял перед Черницким и закуривал. Бородатые запасные оглядывались в смятении. Возможно, что им мерещились немцы. Кадровые солдаты весело подсмеивались над ними. Кто-то плясал под губную гармошку.

Машков ходил вдоль рядов. Надувал щеки. Взвод его разросся — в нем было шестьдесят человек, и он чувствовал себя ротным командиром.

В стороне от солдат вокруг командира эшелона, толстого пожилого подполковника Смирнова, собрались офицеры. Смирнов сообщил, что отсюда отряд пойдет походом на соединение с другими эшелонами полка. Ротные командиры смотрели внимательно и озабоченно. Молодые подпоручики и поручики были радостно возбуждены. Война манила их, награды и героические бои, лихие разведки, стремительный поход через неприятельскую землю на Берлин мерещились им в розовой дымке. Боевой походкой, рисуясь перед самим собой, прошел толстенький поручик Жогин. Спокойно поглядывал на Смирнова старый капитан Федорченко. Для себя он твердо решил, что эта война поможет ему добиться заветной мечты — штаб-офицерского чина.

«Пускай молодежь лезет под пули, — думал капитан, — пускай побесится. Я пойду себе тихонечко, смирненько. Слава богу, в японской уцелел и эту кампанию проделаю. На рожон не попру, даст бог, батальон через месяц освободится, тогда риску меньше будет. Быть тебе полковником, Федорченко, ох, быть».

Он завистливо перебирал своих соперников, думая, что ему, старому, заслуженному офицеру, должны в первую очередь предоставить вакансию батальонного командира.

Роты построились. Васильев, пощипывая усики, подошел к десятой роте. Он неторопливо ходил по рядам, заглядывал в солдатские лица, улыбался и шутил.

— Ну, вот, ребята, — сказал он, — пойдем походом. Держите себя крепче, жителей не обижайте. Хотя неприятель далеко, но все же надо быть настороже. Бойтесь паники и вздорных слухов. Если будем спокойны, ничего плохого с нами не случится. Сила у нас такая, что, если не оплошаем и не ошибемся, а серьезно, по-солдатски возьмемся за дело, никакой немец не будет нам страшен.

Его слова и ясный добродушный вид хорошо подействовали на солдат. Десятая рота оживилась, ряды подравнялись. Когда скомандовали двигаться, сотни новых, еще не стоптанных солдатских сапог бодро ударили о землю.

2

Неширокая полевая дорога вывела к редкой осиновой роще. За рощей лежал луг. Кочки покрывали его, они, как резиновые, поддавались под ногами. Было утро. Крестьянская телега с задранными оглоблями стояла на лугу. Она была завалена матовым, еще зеленоватым сеном. Хозяев не было видно. Солдаты жадно вдыхали мирный запах сена, косились на телегу. Солнечные лучи плавили туман, стоявший над лугом. Сочная трава хрустела под ногами, сапоги стали мокрыми от росы. Молодой рыжий пес, рыча, выскочил из травы и озадаченно присел, пораженный таким, никогда еще не виданным скопищем людей. Началось болото. Ряды расстроились. Каждый старался ступать по кочкам, солдаты сталкивались друг с другом, упал Самохин, попав ногой в яму.

Машков по старой привычке ударил его, приговаривая:

— До сих пор, сволочь серая, не научился ходить.

Болото кончилось, пошли кусты, нечастые деревья, показался покатый со срезанной вершиной холм, а за ним желтая песчаная дорога. Солнце медленно ползло по синеватому, с белыми лоскутьями облаков, небу. Шли уже больше двух часов. Становилось жарко. Скатки давили плечи и шею, винтовки несли не по-поход-

ному — на ремнях, а по-строевому — на плечах, у солдат затекали руки. Все мучились от жажды. Черницкий размашисто шагал, завалив штык, неутомимо шутил с товарищами. Уставший Карцев удивлялся его бодрости. Пользуясь тем, что рота шла вразброд, он пробрался к Черницкому. Возле Гилеля, прихрамывая, в потемневшей от пота гимнастерке шел Чухрукидзе. Он стер ногу, так как новые сапоги, выданные ему перед походом, были велики, и портянки сбивались у пальцев. Гилель советовал ему присесть и перемотать портянки, но Чухрукидзе, застенчиво улыбаясь, мотал головой. Он боялся взводного.

— Как себя чувствуешь на войне, Гилель? — спросил Карцев.

— Войны, положим, еще нет,— медленно ответил Черницкий,— но я очень хотел бы посмотреть, какая это получится война. Что здесь делать полковнику Максимову или генералу Гурецкому? Они хороши лишь для мирного парада или для покупки овощей.

Впереди роты на пегой лошадке ехал капитан Васильев. В двух шагах от него бодро шел Бредов. Штабс-капитан был рад войне.

«Здесь моя академия,— думал он,— я окончу, окончу ее, и только смерть может мне помешать».

Он нетерпеливо продумывал блестящие боевые планы. Сколько бессонных ночей прошло за книгами и картами,— теперь все это должно окупиться.

С ласковой снисходительностью поглядывал он на прапорщика запаса, шедшего неумелым (непоходным— подумал штабс-капитан), подпрыгивающим шагом. Что понимает этот юнец в сложной прекрасной науке войны? Идет он, полный молодого петушиного самодовольства, гордый своим офицерским званием. Пишет, наверно, какой-нибудь Любочке байронические письма, влюблен в свои погоны, и если не трус, то бросится по молодой горячности вперед в первом же бою и пропадет, как Петя Ростов. Нет, он, Бредов, так дешево себя не продаст. Прятаться не будет, когда понадобится, подставит грудь пулям,— но только тогда, когда иначе будет нельзя...

Рысью проехал подполковник Смирнов. Протяжно скомандовал остановиться. Приклады винтовок нестройно стукнули о землю.

Это был первый привал — получасовая остановка. Солдаты торопливо снимали через головы походные мешки, валились на землю. Голицын, старший унтер-офицер из запасных, который, как все запасные унтер-офицеры, был в строю рядовым, проворно стащил сапоги и перемотал портянки.

— Вот так-то, паренечки,— весело сказал он, поворачивая к солдатам круглую, коротко остриженную голову,— сорок годочков скоро мне простучит, проделал я японскую и китайские кампании и многому там научился. Главное в походе, чтобы ногам удобно было. Тогда воевать легче.

Он критически смотрел на переобувающегося Чухрукидзе и показал ему, как лучше завертывать портянки. Карцев, отделенный командир, заботливо оглядел своих людей. Чухрукидзе, Ужогло, Рогожин, Самохин, донецкий шахтер Шарков — все это были свои, близкие по казарме ребята. Остальные были запасные, которых, кроме Голицына, он мало знал. Он обратил внимание на толстого, румяного человека с пепельными усами. Человек этот лежал на спине, подложив под голову скатку, и хватал воздух открытым, жалобно искривленным ртом. Оказалось, что солнце сильно пекло ему голову. Голицын посоветовал положить под фуражку мокрый платок. Время подходило к полдню. Прошли длинную деревенскую улицу, но не остановились, хотя всем хотелось пить, и низкие срубы колодцев неудержимо привлекали солдат. Некоторые воровски выбегали из строя, крались к колодцам. Женщины совали солдатам яблоки. Старухи фартуками вытирали слезы. Ребята провожали за околицу. Песчаная дорога то подымалась на холмы, то опускалась в низины. Редкие заросли тянулись по сторонам. Послышалось густое шмелиное жужжание, тонкая хвостатая тень появилась в небе. Многие из солдат, особенно запасные, до сих пор ни разу не видели аэроплана. Они испуганно смотрели вверх, и когда кто-то крикнул, что это германский аэроплан, поднялась суматоха. Солдаты торопливо стреляли вверх. Охваченный боевой яростью, Машков собрал свой взвод и приказал стрелять залпами.

Васильев на коне ворвался в ряды.

— Стой, стой!— кричал он.— Это наш аэроплан. Прекратить огонь!

Мимо проехал казачий разъезд. Чубастые казаки ядовито подтрунивали над пехотой, их начальник, молодой, рябоватый хорунжий, иронически откозырял Васильеву, по-пехотному сидевшему в седле, и, щегольски изогнувшись, галопом поскакал вперед. Обдавая пылью солдат, казаки скрылись за холмом. Наконец скомандовали остановиться. Составили винтовки, дозоры разошлись по сторонам. Васильев, сердито посматривая на дорогу, тихо сказал что-то подпоручику Руткевичу. Руткевич вскочил на капитанского коня и поехал назад. Прошел час, никто не знал, долго ли останутся тут. Офицеры совещались возле одинокой избы, стоявшей на опушке дубового леска, солдаты сидели и лежали на земле. Чухрукидзе, морщась, рассматривал стертую ногу, Голицын осторожно доставал щепоть махорки из кисета, а Самохин спал, уткнувшись лицом в мешок. Только к вечеру приехали кухни, найденные Руткевичем. Оказалось, что они не имели точного маршрута и шли по другому пути. Роты мгновенно разобрали котелки. Во время обеда послышался гудок, серый запыленный автомобиль подъехал к избе. Из автомобиля вышел начальник дивизии генерал Потоцкий, длинный, сухой старик. Начал говорить с офицерами. Подполковник Смирнов стоял, вытянувшись, он показал рукой на солдат, но генерал махнул рукой, как будто отказывался от чего-то, сел в автомобиль и уехал. Приказали строиться. Загибин, потерявший свой щегольской вид, справлялся у Машкова, скоро ли придут на ночевку, но взводный сам ничего не знал. Рогожин, шедший возле Карцева, с завистью вспомнил вольноопределяющегося Петрова, которого перед самым выступлением в поход отправили в Иркутск в военное училище.

На поле, на лес не спеша надвигался августовский вечер. Темнело небо, сыростью веяло из леса, галки низко кружились над деревьями, готовясь к ночлегу. Вблизи виднелась деревня. Нарядный дом, крытый черепичной крышей, форпостом стоял в поле. Плетеная изгородь окружала его, белая лохматая собака яростно залаяла на солдат. В сумерках видно было, как остановилась девятая рота, как отошла в сторону, в поле. Васильев слез с коня. Через минуту стало известно — ночевать будут здесь, в поле. В мягкую, много раз па-

ханную землю вбивали низенькие колышки. На колышках растягивали серые полотнища походных палаток. В палатки пробирались ползком, мешки клали под головы, ложились прямо на землю, укутавшись в шинели.

Карцеву не пришлось спать. Он был назначен в полевой караул. Вместе с несколькими солдатами его отвели шагов за шестьсот от стоянки. Руткевич показал, откуда можно ждать противника и, нахмурясь, сказал:

— Вы не думайте, что если мы на русской земле, то нет опасности. Возможно, что германские разъезды пробрались к нам и бродят где-то недалеко. Смотреть в оба. Винтовки зарядить. В случае чего — немедленно послать ко мне связного.

Легкий озноб охватил Карцева. Он оглядел своих людей: Рогожина, Чухрукидзе, Кузнецова, солдата из запасных, мелкого сложения, с красными воспаленными глазами.

Туман стлался по низине. Босоногая девчонка пробежала мимо, гоня гусей в деревню. Гуси бежали, вытянув шеи, распустив крылья, гоготали. Мычание коров, лай собак, громкие женские голоса, доносившиеся из деревни, стреноженная лошадь, щипавшая невдалеке траву,— все это было мирное, успокаивающее. Кузнецов тихо рассказывал Рогожину, как внезапно его забрали, как будет трудно его бабе одной управиться с уборкой и обмолотом хлеба.

Карцев осторожно исследовал местность. Наткнулся на изгородь вокруг нарядного дома, крытого черепицей. Подумал о том, что из-за дома могут легко подобраться к караулу и хорошо было бы поставить Рогожина по другую сторону дома — пускай наблюдает за полем и леском. Совсем стемнело. Он сделал, как хотел, поставил Рогожина за домом, оставил Кузнецова и Чухрукидзе на месте, а сам все ходил, прислушиваясь, в состоянии бодрой нервности, в ожидании чего-то, что непременно должно случиться. Кузнецов стал тихо посапывать и всхрапнул, Чухрукидзе подошел к Карцеву, и тот угадал мягкий внимательный взгляд грузина на себе.

— Что, Чухрукидзе,— спросил он,— не страшно тебе на войне?

— Нет, ой нет,— горячо ответил Чухрукидзе и, поло-

жив руку на плечо Карцева, зашептал: — Война, скажу тебе, лучше, чем в казарме жить. Не боюсь воевать.

Из-за дома донесся резкий, злой крик. Крик перешел в визг, и вдруг прогремел очень громкий в ночи выстрел. Карцев схватил винтовку, грубо толкнул спавшего Кузнецова и, вытянув голову, прислушивался. Ему показалось, что он слышит стоны, возбужденные голоса, но выстрелов больше не было.

«Неужели германцы?» — думал он.

Послышались торопливые шаги, кто-то бежал к ним, и, прежде чем Карцев мог выжать окрик из сдавившегося от волнения горла, темная тень Рогожина возникла перед ним.

— Неспокойно там,— доложил Рогожин, показывая рукой в сторону выстрела.— Ушел я, знаешь, от греха. Все-таки вместе лучше. Побьют еще по отдельности.

Кузнецов крестился. Чухрукидзе спокойно улыбался. Стало тихо. Ночь молчала, черная, загадочная, опасная. Поколебавшись, Карцев решил, что останется здесь. Он приказал всем лечь в боевой готовности. Несколько минут было тихо. Тяжелая рука легла на плечо Карцева, и глухой голос (он не сразу узнал голос Кузнецова) прошептал:

— Идут, ей-богу, идут.

— Погоди,—сказал Карцев, прикладывая ухо к земле.

Шаги зловеще стучали все ближе и ближе. Шли сюда. Щелкнул затвор. Кузнецов, трясясь, подымал винтовку.

— Это ты оставь,— сказал Карцев, с радостью чувствуя, как к нему возвращается спокойствие.— Без моего приказа не сметь стрелять.

И когда шаги, неспокойные и как бы прячущиеся, затихли довольно близко от них, он спросил четко и медленно:

— Кто идет?

— Свои, свои,— ответил знакомый голос.— Не стреляйте, голубчики, свои.

Две фигурки показались на холмике. Плачущий голос ефрейтора Баньки говорил:

— В первом месте по-человечески встретили... Проверяли мы дозоры эти проклятые, прямо звери, а не люди там сидят. В одном завопили — стой, стрелять будем, в другом, не спрашивая, прямо бабахнули, чело-

века у нас испортили. Грудь ему прострелили, вот какое беспокойство случилось.

Он присел, жалобно вздыхая, попросил покурить и передал приказ ротного командира: смотреть строго, не курить.

— Приказ передаешь, а сам куришь,— усмехаясь, сказал Карцев.

— Разволновался я очень,— доверчиво объяснил Банька.— Как же это так, прямо тебе в человеков стрелять? Вот воюй с таким народом!

Ночь прошла спокойно. Карцев не заснул. Только перед самым рассветом, сидя на корточках и глядя в неясно проступавшие контуры леса, в пустынное небо, чувствуя, как холод пробирает его всего, как равнодушно и неуютно лежит вокруг эта страна, он ощутил вдруг большое одиночество и спросил себя — зачем он здесь? Так иногда человек, заночевавший не у себя дома и проснувшись, не понимает сразу, где он, и с удивлением оглядывается кругом.

3

В поле дымили кухни синим прозрачным дымом. Заведующий хозяйством торговал у крестьян двух коров. Их зарезали тут же и шкуры были проданы деревенскому кожевнику. Карцев бросился искать Мазурина. Он обрадовался, когда высокая фигура Мазурина, его серые спокойные глаза возникли перед ним. Любовно смотрел на Мазурина, все крепче сжимал его широкую руку и невольно спрашивал себя: отчего так сильно тянет его к этому человеку?

Разговаривая с Мазуриным, Карцев увидел Орлинского. Орлинский бежал к нему, протягивая руки. Радость, проявленная им, тронула Карцева. Он подумал, как тяжело, должно быть, Орлинскому итти на войну с Вернером.

— У тебя боевой вид,— улыбаясь, сказал Карцев.— Ну, как у вас там Вернер? Не заставлял он вас в вагонах давать ногу?

Орлинский засмеялся.

— В вагонах не заставлял, но как только мы пошли походом, велел подсчитывать ногу,— ответил он.— Он, видно, до смерти будет верен себе.

Карцев жадно всматривался в лицо Мазурина. Он знал, что Мазурин считает войну ненужной для народа, помнил тот холодок, который прошел между ними перед самым выступлением полка в поход. Ему неудержимо захотелось говорить с Мазуриным, захотелось опять почувствовать на себе его бодрящее влияние. Он отвечал на вопросы Мазурина, рассказал ему про ночной случай и все ждал, что его спросят о главном, о его отношении к войне. Но Мазурин так просто и с таким интересом расспрашивал о походе, о полевой ночевке, о ранении солдата в дозоре, что видно было, как все это занимает его, и что ни о чем другом сейчас он не думает.

— А как Черницкий? — весело спросил он и засмеялся.— Ведь он парень горячий, один всех немцев побьет.

К ним подошли несколько солдат, рассказывали о том, как доехали, как пили водку и играли в карты.

Прибежал Черницкий. Он обнял Мазурина, хлопнул его по спине. Черные его глаза сияли.

— Теперь можно воевать,— говорил он, улыбаясь.— Ведь я без тебя, Мазурин, не найду дорогу в Берлин.

Воздух был чистый, свежий, пронизанный солнечными лучами, вокруг лежали мирные поля, дымились трубы деревенских изб — ничего страшного и пугающего не было в это прекрасное утро. Прибежал ефрейтор Банька, попросил закурить и, таинственно оглядываясь, сообщил важную новость. Он слышал от верных людей, что их полк будет все время находиться в резерве. Много этот полк бился и пострадал в японскую войну, и поэтому ему оказана такая милость. Пускай повоюют в первой линии другие полки, не бывшие на японской войне!

Некоторые недоверчиво усмехнулись, но многие поверили ефрейтору Баньке: уж очень хотелось поверить. День был хорош, мясным наваром пахло от походных кухонь. Все поле, насколько хватал глаз, было покрыто зелеными гимнастерками. Винтовки, составленные в козлы, походили на узенькие коричневые стога. Весело дымились костры. На краю поля стояла артиллерия. Сытые крупные лошади, помахивая хвостами, жевали сено. Окрашенные в защитный цвет орудия глядели уверенно и грозно. С хохотом пробежали два солдата и опустились на землю. Один достал из-за пазухи

бутылку, отбил горлышко. Водку наливали в казенную алюминиевую чашку, формой похожую на лодку. Угощали товарищей. Несколько человек, узнав, что солдаты достали водку, побежали в деревню. Когда после обеда построили полк, солдаты дружно стали в ряды. Полковник Максимов впервые в походе объезжал полк. Четырехтысячная масса солдат растянулась в длиннейшую колонну; в самом центре колонны была пулеметная команда — восемь новеньких пулеметов с толстыми рыльцами, похожие на бульдогов. Максимов был важен, с довольным видом оглядывал всю эту массу вооруженных людей, подчиненных ему, он подъехал к батарее, приданной полку, галопом проскакал вдоль колонны, здороваясь с каждой ротой в отдельности.

Орлинский при каждом удобном случае прибегал в десятую роту. С ним подружился Голицын, особенно после того, как Орлинский угостил его махоркой.

— Да ведь ты не куришь? — удивляясь, спросил Голицын.— Откуда же у тебя махорка?

Орлинский объяснил, что махорку держит для курящих товарищей. Но через два дня махорка рассыпалась у него в вещевом мешке. Голицыным овладела ярость.

— Эх, ты! — со злобой, отчаянием и презрением сказал он Орлинскому и посмотрел на него, как глядит строгий учитель на жестоко провинившегося мальчишку.— А я ведь тебя за серьезного человека считал. Эх, ты!

Ворча и ругаясь, он взял мешок Орлинского и, перетряхнув все вещи, до крошки собрал махорку.

В деревнях, которые проходили войска, было пустынно. Крестьяне неохотно выходили из изб, боялись и прятались, так как их заставляли возить войсковую кладь за десятки и сотни верст. Однажды солдаты услышали глухие далекие выстрелы.

— Пушки,— сказал Голицын,— значит, дошли до немца.

У Карцева стукнуло сердце, тяжелый ком метнулся к горлу. Как будто кончился один этап войны, похожий на маневры, и начался другой — настоящий, страшный. В тот же день полк встретил первых раненых. Их везли на крестьянских телегах. Солдаты стонали, когда бесрессорные телеги подбрасывало на кочках. Их обогнала щегольская коляска. Рядом с молоденькой сестрой,

в белой наколке с красным крестом, сидел, развалясь, казачий офицер с забинтованной головой.

В этот день прошли несколько деревень.

— Бедно живут мужики,— сказал Рогожин Карцеву,— земля у них совсем плохая — песок да песок.

Солдаты внимательно оглядывали избы, улицы, огороды. Большая часть изб была покрыта почерневшей соломой. Лишь один-два дома выделялись железной или черепичной крышей. Коровы были мелкие, худые, непородистые.

Плохо было в деревнях, но не лучше было и вокруг них. Клеймо безвыходной нужды, запущенности и уныния лежало на всей стране. Узкие проселочные дороги были непроходимы в ненастье и пылили в ясную погоду. Рытвины и ямы встречались на каждом шагу. Земля на полях была серая, мелко вспаханная, неурожайная. Часто попадались болота. В лесах, в болотах артиллеристы и обозники рубили ветви, валили деревья, настилали гати, но орудия и зарядные ящики все же застревали, и часто армия отрывалась от своих оперативных обозов на пятьдесят и более верст.

Полк шел редким сосновым лесом. Дорога привела в низину, к болоту. У болота застряли два обоза. Они не могли ни разойтись, ни перебраться через болото. Круглый маленький полковник, теребя поводом серую лошадку, подскакал к Максимову и, кланяясь так, что его огромный живот наплывал на шею лошадки, стал просить помочь ему вытащить телеги из болота.

Пушечные выстрелы теперь доносились чаще, крупные кавалерийские отряды обгоняли полк. Навстречу тянулись телеги, доверху набитые убогим скарбом, за ними тягучим шагом плелись облезлые, с выпирающими из-под кожи ребрами коровы. Дети с любопытством смотрели на войска, взрослые с обреченным видом шагали возле обоза. Дальше наткнулись на большой грузовик, безнадежно застрявший в песке. Молча обошли его. Перед вечером устроили привал.

Солдаты разбрелись. Некоторые тайком пошли к деревне, расположенной вблизи. Черницкий, Карцев и Рябинин побежали к избам, надеясь раздобыть курево. На буром, скупо поросшем травой пригорке возле низкого плетня толпились солдаты, жадно заглядывая через головы товарищей.

С каждой секундой вокруг собиралось все больше народа.

— Что там такое? — спросил Рябинин у пробегавшего мимо рябого солдатика.

— Немцы пленные,— радостно ответил солдатик и добавил, взмахивая рукой: — Я думал, что они пострашнее будут. А они так себе — простые.

Немцы действительно оказались простые. Один молодой, другой лет сорока, оба небольшие, одетые в плоские бескозырки с круглыми кокардами, в сероватые короткие шинели и сапоги с короткими прямыми голенищами (все это солдаты осматривали с неистовым любопытством), сидели на земле и растерянно, видимо, не зная, как себя держать, поглядывали на русских солдат. Часовой с винтовкой стоял возле пленных и уговаривал солдат отойти подальше. Но его никто не слушал. Тут были те, кого обозначали страшным словом «противник», с кем они должны были встретиться в смертной схватке, те, кого называли варварами и злодеями. Их вид будил в солдатах любопытство, удивление, разочарование — уж очень не были похожи эти плохо одетые люди на гордых, свирепых врагов, какими рисовало их воображение.

— Скорее всего из запаса они,— задумчиво сказал, точно подумал вслух, пожилой, с седеющей бородкой солдат,— вроде нас, стало быть.

Он осторожно, видимо, не желая пугать пленных, потрогал их сапоги, постукал пальцем по подметкам и добавил с сожалением:

— А сапоги-то дермовые, кожа на голенищах твердая, невыделанная.

Пленным сунули махорку, несколько сухарей, хотя сами были голодны. Когда показался офицер, солдаты не спеша разошлись. Барабанщик играл сбор.

4

Верхом приехал генерал Гурецкий. Он поговорил с офицерами, потом подошел к солдатам, отпустил похабную шуточку и роздал пачку папирос.

— Уж я знаю,— хитро подмигивая, сказал он подполковнику Дорну,— с солдатом надо пошутить, пока

зать ему иногда дружбу, и он за вас, за отца командира, в огонь полезет.

Дорн ничего не ответил генералу. Он из-под очков посмотрел на капитана Васильева и громко спросил, сколько отставших в ротах. Гурецкий, сощурившись, разглядывал беременную бабу, гнавшую козу.

Он был уже стар, гордился своим генеральским чином, заработанным тридцатилетней офицерской службой, и был глубоко уверен в своем полководческом таланте. Он почти все время проводил при штабе полка, наседал на Максимова, вмешивался в его распоряжения. У Гурецкого был твердый план: он хотел скорее бросить полки своей бригады в бой и личным руководством добиться победы. Бой он представлял себе просто — не отступать, бросать войска напролом в штыки с криками «ура», и никакой немец не устоит против такой атаки.

— Эх, лихой командир у зарайцев,— грустно сказал Дорн.— Он не позволяет Гурецкому вмешиваться в свои дела. Тот к нему и носа не показывает, все время торчит у нас, а Максимов, шляпа такая, не смеет сказать ему ни слова.

Васильев и Дорн отошли в сторону и тихо разговаривали. Они давно знали друг друга. Оба были на японской войне, оба любили военное дело. Дорн выписывал немецкие журналы и нередко читал Васильеву выдержки из сочинения покойного начальника германского генерального штаба графа Шлиффена «Канны».

Утром поход продолжался. Подходили к германской границе. Издалека доносились редкие выстрелы, несколько раз видели пролетавшие аэропланы, и солдаты, не разбирая, чьи они — свои или германские, открывали по ним бешеный огонь.

Прошли по скверной песчаной дороге, оставили позади деревню, нищую, грязную, как и другие деревни этого края, и вступили в прекрасный сосновый лес. Старые сосны стояли в лесу, как медные и бронзовые колонны, украшенные извилистыми узорами. Мшистые бугорки, похожие на зеленые бархатные подушки, были разбросаны под соснами.

Дошли до просеки и остановились. Прискакали Гурецкий и Максимов, и бригадный, напыщенным жестом

показывая коротенькой рукой на столб с черным орлом, прокричал:

— Солдаты, ребятушки, русские боевые орлы, поздравляю вас со вступлением на вражескую землю! Отсюда путь нам один, на столицу Германии, на Берлин. Ура!

Ударив плеткой коня, он наскочил на столб, пытаясь свалить его конской грудью, но столб был крепок, конь, хрипя, топтался на месте, и генерал, хлестнув по распростертым крыльям черного орла, приказал немедленно повалить столб.

Вышли из леса. Поле, расстилавшееся по сторонам, было вспахано огромными глыбами — очевидно, вспашка производилась машинами. В версте от леса кучкой белых сверкающих пятен лежала прусская деревня. Солдаты пристально смотрели — все ближе становились чистые оштукатуренные домики, массивные строения, развесистые яблони. Полк вступил в деревню. В немом удивлении оглядывали солдаты добротные чистые постройки, выметенную улицу, круглые каменные колодцы. Большой сад тянулся за деревней, желтые и красные яблоки выглядывали из листьев.

Мужчин не было видно. Женщины хмуро и недоброжелательно смотрели на русских, не отвечали на их приветствия.

В тот же день впервые увидели немцев. Конный разъезд показался на лесистом взгорье, верстах в двух от полка, и, сделав несколько выстрелов, скрылся. Максимов приказал батарее выпустить шрапнелью очередь по леску, в котором предполагался неприятель. Батарея развернулась сзади полка, снялась с передков, и шрапнели со скрежещущим металлическим визгом низко пролетали над головами солдат, заставляя пригибаться и вздрагивать запасных, из которых на две трети состоял полк. Гурецкий распорядился выделить роту и занять лесок. Первая рота рассыпалась в цепь, капитан Федорченко повел ее вперед. Видно было, как перебегали солдаты, как, скучиваясь, они бежали к лесу, ложились на землю. Из леса не стреляли. Там не нашли ни одного немца. Гурецкий хвастался, что прогнали неприятеля. Офицеры тихонько подсмеивались над генералом.

— С воздухом воевал,— пошутил один, и шутка пошла гулять по ротам.

Поход продолжался. Солдаты нервничали, становились беспокойнее. Упорно говорили о двух эскадронах немцев, которые находились где-то поблизости и могли напасть каждую минуту.

Гурецкий, получив из штаба дивизии сведения, что небольшие силы германцев занимают село Вилиберг, решил взять его с налета. До села было пятнадцать верст, и несмотря на то, что приближался вечер, он приказал Максимову двигаться вперед. Денисов, бывший при этом, в отчаянии посмотрел на командира: было безумием двигаться по необследованной местности. Сведения о противнике были неопределенны и не проверены разведкой. Но Максимов не возражал бригадному. По настоянию Гурецкого взяли проводника из местных крестьян. Это был поляк, пожилой человек с худым, бритым лицом, с крысиными глазками. Низко кланяясь и ни на кого не глядя, он, суетливо перебирая руками, говорил, что дорогу в Вилиберг знает всякий ребенок, и он доведет туда в одно мгновение. До сумерек шли по хорошей шоссейной дороге, потом втянулись в лес. В лесу было уже совсем темно. Передовые дозоры жались к главной колонне, разведка не высылалась.

Дорн пытался отговорить Максимова от рискованного маршрута, но полковник упрямо не соглашался с ним.

— Сказано же вам,— говорил он,— что там слабые силы. Что могут нам сделать две роты? Не беда, если солдаты немного и устали. Удачный бой оживит их. Увидите, как все будет хорошо.

Васильев решил с согласия Дорна послать разведку. Карцев и Рябинин, солдат из запасных, были посланы вперед. Васильев толково объяснил им, что надо сделать.

— Уж вы не беспокойтесь, ваше высокоблагородие,— сказал Рябинин,— я ведь природный охотник. Выслежу, разнюхаю и вам доложу.

Оба солдата, взяв с собой только винтовки и подсумки с патронами, скрылись в темноте. Рябинин шел мягким широким шагом, ступая косолапо — по-медвежьи. Часто он останавливался, прислушивался, иногда ло-

жился, прижимаясь ухом к земле. Шли не по тропинкам, а стороной. Напряжение, которое испытывал Карцев, выходя на разведку, понемногу проходило: было приятно итти лесом. Как-то не думалось, что в спокойной тишине, в бодром смолистом запахе сосен может скрываться опасность. Прошли уже версты четыре, когда услышали голоса. Карцев невольно взялся за винтовку, Рябинин остановил его.

— Стрелять для нас самое последнее дело,— тихо сказал он,— нам это ни к чему.

Они поползли в трех шагах друг от друга. Лицо Карцева царапали ветки кустов. Черненький комочек выпрыгнул из-под его рук и с писком исчез. Винтовку он держал в руке и все оглядывался на Рябинина, которого скорее чувствовал, чем видел. На немцев наткнулись неожиданно. Человек шесть сидели возле лесной сторожки, на них падал красноватый отблеск из окна. Карцев замер, сжал винтовку. Рябинин помахал рукой, показывая, куда ползти, и они начали обходить сторожку.

— Дозор,— прошептал Рябинин,— теперь пойдем дальше, посмотрим, откуда их корень растет.

Он был совершенно спокоен, а Карцев от волнения едва переводил дыхание. За сторожкой продолжался лес, между деревьями с трудом обозначались сероватые просветы. Они часто останавливались, каждый шорох заставлял их ложиться на землю. Лес кончался, вдали мелькнули крошечные бронзовые огоньки. Рябинин пошел скорее. Согнувшийся, напряженный, чуткий, он напоминал лесного зверя. Огоньки стали ярче, послышался железный грохот, какие-то темные массы двигались возле длинных строений, пыхтение автомобилей было совершенно ясным, и они видели, как одна за другой десять или двенадцать тяжелых машин с потушенными фарами проехали по дороге.

— Много тут немцев,— шепнул Рябинин,— давай обойдем село. Похоже, что они с другой стороны высаживаются.

И они, пригибаясь, выбирая места потемнее, опять сделали обход и увидели, как из рощи по ту сторону села выходили германские колонны. С полчаса они лежали за кустами, наблюдая за германцами. Когда прошли последние ряды, Рябинин поднялся.

— С полк, пожалуй, будет,— заметил он,— теперь надо шибче пробираться к своим.

Они пошли обратно, делая еще более глубокий обход, чем раньше, чтобы не наткнуться на немцев, и прямо вышли к полянке, где расположилась германская артиллерия. Опираясь спиной на дерево, в двух шагах от них стоял часовой в каске и молча открыл рот, увидев русских. Бежать было поздно. Местность вокруг была занята дозорами. Был один выход — помешать растерявшемуся часовому поднять тревогу, и едва у Карцева мелькнула эта мысль (все длилось меньше секунды), Рябинин, роняя винтовку, присел и сильным прыжком налетел на часового. Они упали оба, Карцев услышал хрип. Ноги часового забили о землю, потом вытянулись. Рябинин поднялся. Лицо у него заострилось, глаза ввалились.

— Ходу,— хрипло пробормотал он,— нам теперь нельзя попадаться в их руки.

Он поднял винтовку и, не оглядываясь на часового, побежал, пригибаясь. Оба не ощущали усталости. Ужас подгонял Карцева, ему хотелось быть как можно дальше от этого места, он стиснул зубы, чтобы удержать крик. Два раза им пришлось красться ползком, уходя от германских дозоров. В лесу было так темно, что двигались ощупью, вытянув перед собой руки. Каждый слышал учащенное, свистящее дыхание товарища. Они не говорили между собой, и только после часу пути Рябинин остановился, внимательно посмотрел кругом и сказал, опускаясь на землю:

— Выбрались как будто, немножко отдохнем.

Он достал кисет и, торопясь, скрутил папиросу, жадно затянулся и молча протянул кисет Карцеву.

Васильев внимательно выслушал доклад Рябинина. Заставил его повторить рассказ, подробно расспрашивал его о числе немцев, об их артиллерии, о примерной длине колонн. Он пошел к Дорну, и оба они отправились к Максимову, ехавшему в центре колонны. От командира полка капитан вернулся бледный, глаза его зло поблескивали. Он невнятно ругался, много курил. Впрочем, никому, даже Бредову, с которым был дружен, ничего не говорил.

В темноте полк продолжал двигаться вперед. Теперь шли полем. Верневровская рота была в авангарде. Вер-

нер был спокоен, уверен в себе. Его не тревожило, что передовые дозоры шли совсем близко от главной колонны.

Когда красный, тугой огонь пробил черный воздух и затем послышался визг шрапнели, Вернер растерялся. Немцы били прямой наводкой, очевидно, по заранее вымеренным целям, шрапнели рвались низко над землей, паника сразу овладела полком. Офицеры кричали, приказывали окапываться. Сотни людей бросились на землю, с бешеной энергией работали лопатами. Рыли в темноте, без всякого плана, каждый зарывался на том месте, где упал. Огонь затих, потом начался сразу с двух сторон. Солдаты яростно насыпали окопы в том направлении, откуда им чудился неприятель. Загремели винтовки. Беспорядочно стреляли во все стороны. Офицеры потеряли всякую власть над людьми, да они и сами не знали, что надо делать. Васильев спокойно, не повышая голоса, пытался отвести свою роту в кусты, чтоб окопаться под их прикрытием. Черницкий насыпал перед собой целый холм и кричал Карцеву:

— Иди ко мне, у меня здесь семейный окоп, поместимся оба.

Рябинин уже зарылся, как крот, и прикрыл голову лопатой. Рядом с ним отчаянно ругался ефрейтор Банька, роя себе окоп. Чухрукидзе казался скорее удивленным, чем испуганным. Выстрелы, стоны, крики, ругательства неслись отовсюду. Ночь тянулась невыносимо медленно. Германский огонь то затихал, то начинался с новой силой. Частая дробь пулеметов перемежалась с редкими орудийными выстрелами, пули со свистом летели над головами солдат.

С первым проблеском рассвета все увидели дикую картину. Поле было изрыто маленькими окопами в самых разнообразных направлениях. Многие окопались лицом друг к другу, другие во фланг, третьи спиной к неприятелю. Максимов со своим штабом сидел в центре поля, в небольшой ложбине. Гурецкого не было. При первых выстрелах он уехал в штаб дивизии. На рассвете огонь усилился. Дорн, Васильев и Бредов старались организовать оборону, к десятой роте присоединилось много солдат из соседних рот. Ободренные хладнокровным видом офицеров, они около часа отстреливались от германцев. Но надо было отступать.

Из леска, заходя во фланг, появились германские цепи. Максимов исчез. Дорн приказал отходить на юго-восток. Остатки третьего батальона (было больше убежавших, чем убитых и раненых) шли редкой цепью, часто ложились на землю, отстреливались. Васильев в бинокль наблюдал за противником.

Весь день продолжалось беспорядочное, разрозненное отступление полка. В ту ночь выбыло из строя около пятисот человек.

Двое суток ушло, пока усталых солдат собрали и привели в порядок. В ночь на третьи сутки полк опять был двинут вперед, так как вторая армия, в которую он входил, выполняя план главного командования фронта, должна была форсированным маршем вторгнуться в Восточную Пруссию.

5

В тот день, когда полк, собранный после ночной катастрофы, опять двинулся вперед, солдаты впервые увидели командующего армией и корпусного командира. Они проезжали на автомобилях, и Самсонов, приказав остановиться, мощным, привыкшим к командованию голосом сказал короткую речь. Он называл солдат молодцами и героями, он призывал их крепче беречь славные традиции полка и бить врагов отечества и православной веры.

По дорогам двумя лучами, сходившимися к деревне, подходили остальные полки дивизии. На большом лугу Самсонов приказал пропустить войска церемониальным маршем. Через час, когда дивизия была построена, заиграли полковые оркестры. Самсонов, окруженный штабом, стоял на пригорке. Широкие колонны, отбивая шаг, проходили мимо командующего. Офицеры с обнаженными саблями шли впереди частей. Развевались знамена. Карьером прошел казачий полк. Рысью пронеслась артиллерийская бригада — сорок восемь орудий, сильные толстоногие лошади, зарядные ящики, бравые ездовые, усатые фейерверкеры. Самсонов стоял, улыбаясь, гладил белые усы.

— Хорошая армия,— как бы думая вслух, сказал он,— и генерал Нокс, английский представитель при штабе, не отымая от глаз бинокля, кивнул головой:

— O, yes, very good!

Полк продолжал свой марш. Опять потянулись песчаные дороги, перемежаясь болотами. Опять деревни возникали перед солдатами, и с порогов черных, непохожих на человеческие жилища, изб старики и женщины кланялись офицерам. В сумерки Максимов дал полку короткий отдых и вызвал к себе Васильева. Сопя и тяжело вздыхая, он приказал капитану итти со своей ротой в авангарде.

— Знаю вас как опытнейшего офицера,— говорил он,— знаю, что на вас можно положиться. Только осторожнее, ради бога, осторожнее. Не наткнуться бы нам опять на какую-нибудь неожиданность.

Он крепко стиснул Васильеву руку, отпуская его. Десятая рота беглым шагом прошла вперед, обогнув голову колонны.

— Ну, ребята,— сказал Васильев, оглядывая роту синими глазками,— нам дано почетное поручение, давайте дружно выполним его.

Он объяснил солдатам, в чем заключается их задача, выделил сильную разведочную команду, сам принял над ней командование, а с ротой оставил Бредова. Команда выслала дозоры по шести человек. Васильев остался с ядром разведки, назначил связных между ядром и дозорами и приказал выступать. Карцев был при командире. Дозоры ушли, Васильев с остальными людьми тихо двинулся за ними. Стемнело. Серые паруса облаков медленно плыли над лесом. Душная сыроватая теплота подымалась от земли, точно там сушили на огне намокшую одежду. Карцев ближе подошел к командиру. Ему хотелось поговорить с ним. И когда Васильев спросил его (как часто спрашивал солдат), хорошо ли он себя чувствует в походе, Карцев решительно сказал:

— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие,— хорошо. Разрешите спросить — ведь не может быть, чтобы мы эту войну, как японскую, проиграли? Россию подняли и разворотили... Ваше высокоблагородие, если разворошить сумели, должны и великие дела сделать!

Васильев щипал усики и сбоку посматривал на Карцева.

— Что же это ты, братец,— сказал он, и в его голосе Карцеву послышались жесткие ноты.— Какой же ты солдат, если так рассуждаешь? Что же ты думаешь, что война, как свадьба — заиграла музыка и молодых по-

везли к венцу? Нет, тут каждый шаг надо выстрадать, купить кровью и муками. Ты русский, и у нас с тобой одна родина, которую мы должны оборонять. Вот, братец, как нам надо с тобой думать.

И как бы подстерегая и угадывая те мысли, что могли укрыться в солдатской голове, он близко наклонился к Карцеву, и строго закончил:

— И иначе думать не смеем. Думать иначе — это измена. Запомни — измена.

Карцев ничего не ответил. Было неловко, даже стыдно. Кто-то осторожно коснулся его плеча, и, оглянувшись, он увидел смутные очертания лица, удлиненного острой бородкой. Присмотревшись, он узнал Голицына, унтер-офицера, призванного из запаса. Голицын пошел рядом и, оглядывая дорогу, сказал:

— Слышал я, как ты разговаривал с ротным. Над чем ты мучишься? Какие тебе великие дела нужны? Чего тебе от войны надо? Или ты от нее хорошее ждешь?

Голицын начал спокойно, даже иронически, но к концу его слова звучали едко и злобно. Карцев видел, как сердито двигалась его рука, рассекая воздух. Он хотел ответить, но не успел. Все остановилось. От правого дозора прибежал связной. Он тихим голосом что-то доложил Васильеву, и капитан вполголоса велел троим солдатам итти на усиление дозора, заметившего за лесом что-то подозрительное. Со связным, который знал дорогу, пошли Карцев, Голицын и Чухрукидзе. Они шли гуськом, и каждый раз, когда под ногами скрипела ветка, связной шипел:

— Тише вы... К девкам, что ли, идете?

На опушке леса залег дозор. Карцев увидел ефрейтора Баньку и еще трех солдат, лежавших в кустах. Вдалеке мелькали тусклые точечки огоньков, и трудно было угадать их происхождение.

— Рябинин туда пополз,— тихо сказал Банька.— Чорт его знает, какие там огни. Вы, ребята, вдвоем пройдите шагов двести к ним и загляните. В случае чего один беги ко мне с донесением.

Поползли Карцев и Голицын. Карцев полз уверенно — сказывался опыт, приобретенный за эти дни. От земли шел мягкий, густой запах, мокрая трава брызгала в лицо прохладными капельками. Они залегли в ложбине, узкой, точно корытце, и Карцев, поймав огоньки и не

отпуская их прищуренными глазами, спросил, продолжая разговор, сильно взволновавший его:

— Чего я от войны хорошего жду? Может быть, ничего не жду. Но раз уж воевать, так по-настоящему. Напали на нас немцы — будем отбиваться. Нельзя им нашу землю отдавать. А мы мажем. Больно это.

Длинная огненная палка пролетела по черному полотну ночи, и треск выстрела донесся до солдат.

— Надо разузнать,— прошептал Карцев.— Я поползу, а ты оставайся здесь. Смотри, не зевай, а то сразу снимут.

Голицын, кивнув ему, положил перед собой винтовку, поставил ее на боевой взвод. Сжавшись, щупая глазами тьму, он лежал, полный напряжения, просунув палец под спусковой крючок, готовый стрелять в каждого, кто нападет на него. Тревога оказалась напрасной. Стрелял солдат передового дозора во что-то белое, что появилось перед ним и, несмотря на окрик, продолжало двигаться. Белое оказалось заблудившимся гусем. Гусю свернули шею и опять залегли. Скоро опять послышался шорох — кто-то полз. Окликнули, наставив винтовку по шороху, и, испугавшись, едва не застрелили Рябинина. Вызвали Васильева. Рябинин доложил, что в деревне, расположенной в трех верстах отсюда, неблагополучно.

— Нет ни одного огня, а в проулке слышны голоса,— шопотом докладывал он.— Похоже, что там засели немцы.

Васильев послал приказ остановить колонну, а сам вместе с Карцевым, Рябининым и Банькой отправился к деревне. Он быстро и легко шагал рядом с Рябининым, и оба они — небольшие, коренастые, казалось, были схожи, шли одинаковой охотничьей походкой, свободно неся чуть вихляющие тела, не напрягаясь, по-медвежьи косолапо ставя ноги. Деревня завиднелась впереди мертвой массой строений. Согнувшись, они свернули с дороги в поле и поползли. Залаяла собака низким густым лаем.

— Не на нас,— прошептал Рябинин.— Брешет, не заливаясь.

Васильев полз впереди, за ним Рябинин; Карцев и Банька находились немного позади. Вот в упор встало первое строение. Улица, как просека в лесу, светлела

чуть заметно, тишина была такая чистая и ясная, что звенело в ушах — динь-динь, и вдруг раздался выстрел. Они лежали, прижавшись к земле, и слышали голоса. Кто-то, грасируя, ругался и грозил по-немецки, а другой голос отвечал тихо, точно извиняясь. Васильев пополз в сторону, за ним остальные. Отползли к полю, обошли всю деревню. В двух местах слышали голоса.

В центре колонны нашли Максимова. Он отказался от предложения Васильева окружить деревню и захватить неприятеля.

— Нет, голубчик,— вяло сказал он,— зачем нам ввязываться в авантюру? Нельзя ли нам как-нибудь миновать эту проклятую деревню? Ведите полк, капитан, ведите, родной мой. Я вам верю.

Васильев вынул карту (шинелями отгородили свет электрического фонарика) и показал маршрут, которым следовало, по его мнению, итти. Денисов и Дорн возражали ему, остальные молчали, очевидно, плохо ориентируясь в местности. Итак, полк двинулся в обход деревни. Но нервное и тревожное настроение, которое было у командира полка и офицеров, не могло не передаться солдатам. Слух о том, что вблизи находятся германцы и в засаде ждут полк, каким-то неведомым путем распространился по колонне. Люди нервничали, жались в рядах друг к другу, испуганно всматривались в темноту. Каждая тень казалась им германским разведчиком, каждый шорох — щелканием затвора или шагами крадущихся немцев.

При первых выстрелах, не проверив, в чем дело, Вернер с кучкой людей бросился на край дороги, залег с ними и приказал открыть огонь. Эти выстрелы еще увеличили панику.

Спасла случайность. Горнист Шаповаленко, флегматичный полтавец, несколько раз громко и отчетливо проиграл отбой. Дорн с молчаливым презрением оглядел Вернера.

— Эх, вы, — сказал он, — к маршировочке, небось, больше привыкли? То-то оно и сказывается.

Утром шел дождь. Прискакал забрызганный грязью ординарец и отдал Максимову срочный пакет. Полковник прочел, нахмурился и велел позвать батальонных и ротных командиров. Он оглядел их с недоверием и сказал, что из штаба дивизии получен приказ — полк

должен выбить противника из деревни Кунстдорф. Офицеры внимательно слушали командира полка. Они проверяли маршрут, делали пометки.

Полк развертывался в боевой порядок: на правом фланге — первый батальон, на левом — третий, немного сзади, уступом к нему,—второй и в полковом резерве— четвертый батальон. Батарея, приданная полку, шла со вторым батальоном. Максимов со штабом и конными ординарцами расположился на краю деревни. Десятая рота была в авангарде батальона и наступала на левый угол Кунстдорфа, где за добротными сараями легко мог укрыться неприятель. Разведочные команды, выяснив, поскольку сумели, силы германцев, отошли к своим ротам. Цепи залегли и под редким огнем немцев перебежками двинулись вперед. Карцев наступал со своим отделением. Вся картина боя отчетливо расстилалась перед ним. Поле, по которому они наступали, мохнатое, с рыжеватой шерстинкой (от скошенных колосьев), шло под уклон по направлению к деревне, лежавшей в долине. Вторая деревня, где расположился Максимов, осталась в двух верстах позади. Слева на маленьком пригорке тесно сбилась молодая сосновая роща. За ней, укрытая от неприятеля, стала на позицию русская батарея. Суховатый артиллерийский офицер, подталкиваемый двумя солдатами, лез на сосну у самой опушки, обращенной к неприятелю. На правом фланге усилились выстрелы. Первый батальон наступал. Зеленые травяные фигурки бежали к деревне, поспешно падали, стараясь зарыть головы в землю, ползли, стреляли, кричали. До них было шагов шестьсот, и Карцев ясно видел Вернера, бегавшего вдоль цепи. Вот он выхватил шашку, взмахнул ею, и третья рота, поднявшись и крича «ура», побежала к деревне. Германские пулеметы затакали часто и горячо, и вдруг ряд коротких громовых ударов, следовавших один за другим, потряс воздух. Третья рота, вырвавшись из своего батальона, бежала вперед, и простым глазом было видно, что до первых строений им надо пробежать еще много — шагов четыреста. Вернер бежал позади солдат, потом опередил их, замахал шашкой, блеснувшей, как широкая водяная струя, и «ура», выкрикнутое его диким, ревущим голосом, донеслось до десятой роты. Он сразу исчез, точно провалился в яму, видно было,

как под пулями валилась третья рота. Шагах в двухстах от деревни она залегла и до конца боя не двигалась вперед. Германские шрапнели рвались сначала высоко, потом ниже, из-за рощи в очередь доносились короткие громовые удары, и Карцев услышал ликующий голос Васильева.

— Ай, молодцы артиллеристы, в морду, в морду бьют.

Десятая рота пошла вперед, но Васильев изменил направление, он вел роту во фланг, в обход деревни, командуя сухим, звонким голосом.

— Возьмем их, возьмем, ребятушки,— говорил он,— ползите к ним, прячьтесь за каждой кочкой, за кустиком укрывайтесь. Наши орудия славно их бьют. Вперед, ребятушки! А когда бросимся, тогда уже рвитесь изо всех сил. Чем скорее достигнем немцев, тем безопаснее.

Он управлял настроением и движением своих солдат, как опытный учитель управляет своим классом. Шутил, переходил от одного взвода к другому, заговаривал с самыми робкими и вел роту все ближе к тому рубежу, за которым уже не могло быть отступления, а только бешеное движение вперед.

— Ну, вот и время! — прокричал Васильев звенящим голосом.— Сейчас мы их возьмем. По передним равняться. С богом за мной, в атаку. Ура!

Карцеву показалось, что кто-то поднял его и бросил вперед. Горло его вздулось от крика, он скачками несся вперед и рядом с ним, и обгоняя его, бежали, с винтовками наперевес и тоже крича, солдаты. Он увидел Гиделя Черницкого, бежавшего без шапки, Чухрукидзе с оскаленными зубами, Голицына, ощетинившегося и колючего, наклонившегося вперед, с подрагивающим штыком, Рогожина, красного, с раскрытым в крике ртом. Все они бежали, охваченные бешенством, желанием бить и колоть.

Он вместе с другими перескочил через канаву, не понимая того, что видит, заметил, как, удивленно и обиженно охнув, упал лицом вперед унтер-офицер Кузнецов. Фуражка у Карцева дернулась на голове, точно ее хотели сорвать, но он не понял опять, в чем тут было дело, и все бежал, бежал вперед. Страшная птица с визгом пролетела над ним и разорвалась шагов за сто

впереди, и он ликуя и с глубокой благодарностью подумал, что это русская шрапнель, которая охраняет его, действует с ним заодно.

«Милые, молодцы»,— подумал он об артиллеристах, уткнулся в забор, с размаху, как на гимнастике, перескочил его и увидел бегущих людей в чужом зеленоватом обмундировании.

— А, то-то же! — злобно крикнул он, опускаясь на колено и вскидывая винтовку, и сейчас же несколько человек стали стрелять в бегущих немцев.

Сзади кричали «ура» — восьмая рота набегала правее от них на деревню, и в цепи Карцев ясно отметил высокую знакомую фигуру.

— Мазурин! — крикнул он, как будто тот мог его услышать.

Он видел, как Мазурин стрелял навскидку, как, наклонив штык, бежал к дому, откуда раздавались выстрелы.

Карцев снял фуражку, вытирая потный лоб. Фуражка была прострелена, два круглых отверстия были в ее тулье.

6

Первый батальон, отставший из-за неразумного удара Вернера, атаковавшего противника со слишком большой дистанции, с опозданием вступил в бой. Но резервные роты, двинутые Денисовым, уже обошли деревню, и смелая атака третьего батальона решила дело. Деревня была взята, и батарея, галопом выскочив на улицу, снялась с передков и начала прямой наводкой бить по отступающим германцам.

Рябинин шел прихрамывая. Пуля оцарапала его, но он, перевязав ногу, остался в строю. Смех и шутки доносились со всех сторон. Солдаты расходились по избам, по садам, с любопытством отыскивая следы недавнего пребывания германцев. Чухрукидзе, счастливо улыбаясь, показывал черную островерхую каску, которую он нашел в маленьком окопе. Голицын восхищенно рассматривал плетеную фляжку с ромом, осторожно отпивал из нее.

Третий батальон оставался в деревне. Кухни расположились возле самых изб. Солдаты разлеглись на зем-

ле, недалеко от сарая, тесной группой лежа и сидя, довольные сегодняшним днем.

Голицын угощал ромом. Рябинин рассказывал о раненом германском офицере, которого он на плечах притащил в штаб.

— Обязательно крест дадут,— сказал Голицын,—уж я знаю.

— Крест крестом,— хитро улыбнулся Рябинин,— а пока у нас это имеется.

Он вынул из кармана плоские никелированные часы с металлическим браслетом и приложил к уху.

— Золотой ход,— с уважением сказал он,— хорошо сработаны, с убитого унтера снял.

Мимо прошел солдат, опечаленно смотря в фуражку, которую держал в руках.

— Что, земляк,— весело спросил Голицын,— покойник у тебя там?

— Вроде того,— ответил солдат, и все захохотали, заглянув в фуражку: там лежали битые яйца.

— Подобрал я их битыми,— сокрушенно объяснял солдат,— жалко ведь — яичница какая пропадает... вот не знаю только, где пожарить.

— Жарь в фуражке,— весело крикнул Голицын,— ейбогу, жарь.

Издали доносились выстрелы. В стороне жужжа пролетел аэроплан.

— Летай, летай,— презрительно сказал Рябинин,— уж на земле тебя достигнем.

Чухрукидзе рукавом чистил каску — на ней был матовый рыжеватый след крови — и тихо напевал. Воробьи пищали и возились на соломенной крыше сарая. По небу ползло облачко, белое и маленькое, похожее на разрыв шрапнели. По улице быстро прошли два солдата, за рога таща упирающуюся козу. Редкие выстрелы слышались до самого вечера.

Максимов, красный, вспотевший, пил воду из горлышка фляжки. Испуганно оглядываясь на солдат, к нему быстро подошел Денисов. У него тряслись губы: беспорядочно двигая руками, он наклонился и стал шептать ему на ухо. Полковник перестал пить, снял фуражку, перекрестился.

— Очень жалко,— сказал он,— ох, как жалко! Но что же делать — война.

— Да нет же,— пробормотал Денисов,— не в том же дело. В спину, понимаете, в спину убит... А он шел впереди роты...

Полковник ошалело посмотрел на него, слабо махнул рукой, словно отводя то страшное, чего он боялся и чему не хотел верить, и, оглянувшись на солдат, шумно и беспорядочно проходивших мимо него, тихо спросил:

— А они... а нижние чины видели тело?

— Поставил фельдфебеля, не велел никого подпускать. Разве я не понимаю? Ах, подлецы...

— Пойдемте, капитан, вы нас проводите к телу,— сказал Максимов, трясущимися руками поправляя пояс.

Максимов и Денисов пошли в поле. Вернер лежал на груди, раскинув ноги. Конец шашки высовывался из-под рыжей бороды. Фельдфебель, сорокалетний человек, скуластый, с висячими усами, с выражением страха, виноватости и отчаяния смотрел на офицеров. Они наклонились над трупом. Защитная суконная рубашка на левой части спины была пропитана кровью. Открытые глаза капитана смотрели злобно и яростно, голова была повернута набок, будто Вернер, умирая, хотел оглянуться. Денисов опустился на колени и перевернул мертвеца.

— Не вышла пуля,— глухо сказал он,— надо найти ее.

Офицеры расстегнули пояс убитого, подняли рубашку. Рыжие волосы блеснули золотом, рана была и на груди. Она чернела чуть ниже правого соска. Пуля прошла навылет, но на гимнастерке не было никакого отверстия. Денисов нащупал бумажник и вытащил его из внутреннего грудного кармана рубашки. Он хмыкнул, показав Максимову на дыру в бумажнике, и открыл его. Пуля лежала в тугой пачке красненьких, почти насквозь пробив пачку. Денисов внимательно осмотрел ее, положив на ладонь, и молча протянул командиру. Пуля немного сплющилась. Тяжело задумавшись, Максимов рассматривал маленький кусочек свинца, заключенный в никелевую оболочку. Винтовые нарезы остались на пуле. Кто выпустил ее? Командир полка обернулся и посмотрел на солдат, на полк, близкий, родной полк, которым он командовал уже три года. Он вздрогнул, бешенство охватило его. Тяжело ступая, он пошел прочь.

7

Штабные автомобили стояли у каменного двухэтажного дома, где помещался штаб корпуса. Корпусный командир генерал Благовещенский сидел в маленькой комнатке и, пальцами расчесывая окладистую бороду, изучал недавно вышедшую книгу Черемисова «Действия корпуса в полевой войне». Книга с трудом давалась ему. Оперативные распоряжения были всегда тяжелым и неприятным ему делом, но зато он хорошо усвоил из книги те места, где говорилось о месте командира корпуса на ночлеге и об указаниях, даваемых командиром для расположения частей на ночлег. Черемисов рекомендовал корпусному штабу в целях безопасности ночевать в районе расположения одной из дивизий корпуса, и Благовещенский был очень ему благодарен за мудрый совет. В горячие моменты он под видом корпусного резерва держал при себе целый полк и не отпускал его, боясь остаться без достаточной охраны. Это был тихий по виду генерал, с седой бородой и мышиными глазками, внимательно смотревшими из-под мохнатых бровей. Всю свою жизнь он провел в канцеляриях и был свято убежден в том, что ни одно распоряжение не достигнет своей цели, если оно будет отправлено без исходящего номера. Он был автором руководства для адъютантов — о правилах выдачи литеров для бесплатного проезда воинских чинов по железным дорогам. Руководством этим генерал очень гордился и сорок экземпляров его с собственноручными надписями разослал виднейшим генералам, начиная с военного министра и начальника главного штаба.

Сейчас корпус был в трудном положении. Одна дивизия, атакованная с фронта и флангов, с большими потерями отступила на десять верст. По плану в этом бою должен был участвовать весь корпус. Вторая дивизия шла на соединение с первой, но на марше был получен приказ корпусного командира вернуться в исходное положение. Карцев видел, с каким неудовольствием возвращались войска по уже раз пройденной дороге.

— Мы идем туда, мы идем сюда,— меланхолически говорил Черницкий,— а кто знает, зачем нам надо два раза итти, чтобы очутиться на том самом месте, отку-

да мы вышли? Здесь скрыта самая высокая стратегия, которую простой солдат не может понять.

Поздно вечером пришли в деревню, откуда выступили утром.

Васильев нервничал. Невнятно ругаясь, он ходил по дороге перед своей ротой, и когда подошел Дорн, капитан заговорил с ним шопотом, дергая соломенные усики:

— Что же, долго ли будет продолжаться это? В чем, наконец, дело? Знакомы вы с положением корпуса? Почему мы вернулись сюда?

Дорн ничего не ответил ему. Сняв очки, он протирал их платком и горбился, как очень уставший человек.

В полночь, когда солдаты спали прямо на земле, с головами на походных мешках, с руками, засунутыми в рукава шинелей, офицеры и взводные стали будить их. Ошалевшие, плохо соображающие люди подымались пошатываясь, перебрасывали через головы лямки мешков, брали винтовки, покорно строились. Солдаты не знали о том, что корпусный командир, встревоженный донесениями о наступающем неприятеле, решил уходить. Корпус, отступая, обнажал правый фланг армии. Соседний корпус не был извещен о том, что рядом с ним оголяется целый участок фронта.

И даже командующий армией только на следующий день узнал об отступлении своего правого фланга.

Сталкиваясь друг с другом, налезая на передние ряды или растягиваясь, по ночной дороге шли колонны корпуса. Часть войск двигалась проселками. В третий раз в течение одних суток корпус выполнял противоречивые приказания своего командира. Не только солдаты, но и офицеры не представляли себе, в каком положении они находятся: отступают ли они или идут на сближение с противником. Смешались роты. Слышалось тяжелое дыхание. Многие спали на ходу. В спину Карцева равномерно тыкалась чья-то голова, и, оглядываясь, он видел черную фигуру, все время валившуюся вперед, но идущую, идущую. Странное ощущение овладело им. Плывет, покачиваясь, множество круглых голов. Над головами почти не видны тонкие полоски штыков. Под синим полушарием августовского неба, под россыпью звезд, мимо лесов, мимо чужих строений плывет он, и голова его тихо качается на поверх-

ности полевого моря, широко и ровно разлившегося кругом. Восходит луна. Свет ее тревожен, он подобен цвету раскаленной меди, он ширится, захватывает все большее пространство. Потом свет возникает и с другой стороны неба.

Там восходит вторая медная луна, и в ее недобром свете, задыхаясь, гибнут звезды.

— Пожар, пожар,— шепчут в рядах, и солдаты смотрят на далекие зарева.

Они растут, ночь наливается темнобагровой мутью, уже видна дорога, она ведет к чугунному массиву леса. Где горит? Кто поджог? С какой стороны неприятель? Солдаты расспрашивают друг друга, офицеров. Зарева сдвигаются, окружают дорогу и густое месиво людей. Солдатам кажется, что пожары выдают их присутствие. Карцев видит сухое лицо Васильева, его внимательные, в напряжении сощуренные глаза и тихо спрашивает:

— Германцы, должно быть, подожгли, ваше высокоблагородие?

Капитан молча кивает головой и смотрит на зарево с другой стороны дороги, и Карцев, глядя на него, понимает: Васильева тревожит, что пожары начались с двух сторон,— это похоже на планомерный поджог.

Лес впереди страшен, колонна втягивается в его грозную темноту. Кто-то толкает Карцева, и Черницкий показывает ему головой: иди за мной. В темноте это легко сделать, нужно только замедлить шаг, и вот они оба идут рядом, вне своей роты.

— Один человек хочет тебя видеть,— смешливо говорит Черницкий.— Что, не узнаешь?

Карцев видит в темноте высокую фигуру и скорее по догадке, чем узнавая человека, радостно спрашивает:

— Мазурин?

Широкая сильная рука сжимает его руку, и он слышит низкий, грудной смех Мазурина.

— Еще не убили? — шутливо говорит Мазурин. — Крепко же ты в землю врос — никак тебя не выдернешь.

Он спрашивает об обыденных делах, но голос у него такой родной, теплый, он с таким вниманием слушает ответы Карцева, что все его слова приобретают особое значение. Попрежнему он ровен и спокоен. Попрежнему исходит от него обаяние сильного, крепко

знающего, что ему надо делать, человека. Он слушает, потом рассказывает о последних боях, о товарищах по роте.

— Орлинского не видел? — и, задавая вопрос, Карцев вспоминает, что уже несколько дней не слыхал об Орлинском.

— Вчера говорил с ним, — отвечает Мазурин, — он был легко ранен, но остался в строю. Даже в полковой околоток на перевязку не пошел.

— Это его штучки,— с пренебрежением говорит Черницкий.— Орлинский хочет доказать, что евреи не трусы. Кому он, дурак, докажет? Сволочь все равно не поверит, хотя возьми он самого Вильгельма в плен, а настоящим людям нечего доказывать. Жалко, что Орлинский не спас Вернера. А то некому звать его жидовской мордой.

Вернер официально считался павшим в бою, но весь полк знал, что командир третьей роты убит своими солдатами.

Знали, что негласно велось следствие, и поручик Журавлев с фельдфебелем следят и подслушивают солдатские разговоры. Из сорока кадровых солдат подозреваются семь-восемь человек, и среди них Орлинский. Фельдфебель прямо указывал, что их высокоблагородие покойник так сильно донимали жидка, что не иначе, как тот, ожесточившись, застрелил его.

— Плохо его дело,— задумчиво сказал Мазурин, — увезут в тыл, забьют, замучат, а потом расстреляют. Пускай Орлинский в первом же бою сдается в плен.

— Что ты говоришь? — резко крикнул Карцев.— Как же это такое — сдаться в плен? Разве можно? Ты ведь воюешь, не сдаешься?

— У меня и тут дела найдутся,— не сердясь, ответил Мазурин и, положив руку на плечо Карцева, тихо спросил его: — А ты думаешь, что я за царя воюю?

Карцев, пересиливая себя (не хотелось этого говорить), сказал:

— Видел я, как ты с ротой шел в атаку. Стрелял, кричал «ура». Значит, воюешь.

— Значит, воюю, — согласился Мазурин. — Что же тут поделаешь? Хочу я, не хочу, но я солдат и некуда мне от этого уйти. Когда другие стреляют, стреляю и

я. Я знаю,— продолжал он, подергиванием плеча поправляя за спиной винтовку,— что мне, тебе, всем им,— он показал рукой на солдатские колонны, — да всем им не за что воевать, но они воюют, воюют потому, что у них нет своей воли. И я здесь за тем, чтобы помочь нам всем эту волю добыть.

— Помочь? — с горечью спросил Карцев. — Как же ты им можешь помочь? За одно острое слово тебя расстреляют. Да разве такую машину сковырнешь?

— Как, сам пока не знаю,— качая головой, ответил Мазурин.— Думаю, что на войне все делается скорее. На своей крови учится солдат. Да, я стреляю, я воюю. Но если хоть чуточку повеет новым духом, если почую я, как солдат становится другим оттого, что доела его война, тогда я буду на своем месте, буду в открытую играть. Вот для чего я на фронте воюю. За себя, за тебя, за всех нас.

— Не идут с родины письма,— пожаловался Черницкий.— Действующая армия отрезана от живых людей. Там, наверно, знают о нас столько же, сколько и мы о них.

Они шли по тропинке, тянувшейся рядом с дорогой. Глухо лязгали штыки, мерный тяжелый топот тысяч сапог был похож на шум далекого прибоя.

Пушечный выстрел донесся с запада,— оттуда, где горело. Зарево усилилось. Как рана, багровело оно на темносиней шелковистой коже неба. Сквозь густую сеть деревьев на дорогу и на солдат ложились неровные тусклые блики. Лес казался еще темнее. Он уходил к оврагу, к пожару, и вдали, вероятно, на самой лесной опушке самые зоркие и внимательные видели узкие золотые просеки огня и пухлые, нарастающие клубы дыма, похожие на горящий хлопок.

Сзади в колонне что-то началось. Оттуда доносились крики и сначала редкие, потом все учащающиеся выстрелы.

— Немцы, кавалерия! — послышались испуганные голоса, и вдруг темная, грохочущая масса, опрокидывая все на своем пути, вынеслась из-за поворота.

Одни бросились в лес, другие стреляли, сами не зная куда.

— Стой, стой!— закричал кто-то таким мощным го-

лосом, что сотни голов повернулись к нему.— Обоз, наш обоз! Что вы, черти, стреляете?!

Приказали остановиться. В стороне от дороги невысокий офицер кричал истерически повизгивающим голосом:

— Говорили же, сто раз говорили, что не нужно без самой крайней необходимости назначать ночные марши. Не умеем мы их проводить.

— Прошу не нервничать, полковник, — ответил ему резкий картавящий голос. — Что за бабья распущенность на войне. Надо же нам подтянуться, наконец, господа.

— Подтянешься с таким корпусным,— с горечью ответил первый голос.— Скажите мне, какой маневр мы сейчас выполняем? Пытаемся ли мы восстановить положение или просто удираем? Мы дрались вчера весь день. А где в это время была вторая дивизия корпуса? Почему она не поддержала нас? Хотите, я вам скажу почему? Потому что его высокопревосходительство командир корпуса не имеет никакого представления, что такое современный бой.

Вспыхнула спичка и осветила небритый мускулистый подбородок и вытянутые губы, зажавшие папиросу.

— Я удрал из штаба корпуса,— продолжал первый голос,— так как не мог дольше всего этого выносить. Назначили помощником командира полка, пусть хоть батальон дадут, я все равно не остался бы там. Не могу я, полковник генерального штаба, быть свидетелем того, как корпус ведет бой на основах тактики прошлого века. Командир корпуса приказал вести наступление в густых строях, с тем, чтобы потом по-драгомировски броситься в штыки. Все резервы он велел нагромоздить в тылу и посылал их в бой пакетами. Понимаете, какой ужас? И такому человеку вверяют корпус — больше сорока тысяч человек, больше ста орудий.

Несколько секунд было тихо, только по разгорающемуся и затем тускнеющему огоньку папиросы можно было видеть, как жадно затягивался полковник. Картавящий голос неуверенно спросил:

— Почему же вы ничего не сделали, не доложили куда следует, что нельзя терпеть такого корпусного?

Папироса, прочертив в воздухе огненную дугу, упала на землю. Полковник ответил с выражением явной усталости:

— Докладывал. Докладывал лично начальнику штаба армии генералу Постовскому. Мне ответили, что тогда придется сменить девяносто процентов генералов, и кроме того в данном случае есть еще одно обстоятельство, так сказать, частного характера. Дело в том, что корпусный командир был назначен самим государем... Перед войной он был за несоответствие к занимаемой должности представлен главным штабом к увольнению. Говорят, что при помощи того самого старца... Распутина он добился аудиенции у государя и был оставлен на службе. Вот и все.

Ветер зашелестел в лесу. Небо светлело над лесом, оно оставалось желтовато-бурым, необычным, и невольно возникала мысль, что таким оно бывает только во время стихийных бедствий. Офицеры, разговаривавшие на краю дороги, медленно шли обратно. Один из них сказал:

— Теперь можно не сомневаться. Мы отступаем. Что будет с армией?

Другой ответил почти спокойно:

— Знаете, что мне сказал командир корпуса, когда я несколько дней тому назад докладывал ему, что наше отступление ставит под угрозу всю армию? Он сказал, что ничего не знает об общем положении на фронте и отвечает только за свой корпус.

Они скрылись в темноте. Начальник корпусного штаба в эту минуту в третий раз спрашивал у дежурного офицера, установлена ли связь со штабом армии, и дежурный в третий раз отвечал, вытянувшись и с выражением отчаяния на молодом энергичном лице, что никак нет, связь не установлена.

Начальник штаба постоял, барабаня пальцами по маленькому стеклу окна деревенской избы, где в эту ночь остановился штаб. Последние радио, полученные из штаба армии после неумелого их расшифрования, оказались настолько бессмысленными, что из них нельзя было ничего понять. Оказалось, что такие же случаи были и в других корпусах, и теперь по неофициальному разрешению командующего армией радио посы-

лались в незашифрованном виде. Но в последний день не приходили и незашифрованные радио. Может быть, их получению мешала какая-то мощная станция? Может быть, приказы командующего армией получились германцами еще раньше, чем русскими? Начальник штаба знал, что это вполне возможно.

8

В эти дни германская армия представляла собой нечто вроде изогнутого коромысла, на концах которого были привешены большие гири. Линия коромысла была тонкая и слабая линия германского фронта, противостоящего русским, а гири — мощные ударные группы, нависшие над русскими флангами и сбивавшие их тяжелыми ударами.

В то время, когда корпус, в котором служил Карцев, отступал на правом фланге армии, на левом фланге происходили еще более трагические события. Первый корпус был атакован германцами.

Атаки германцев были отбиты. Командиры двух русских полков, находившихся в нескольких верстах от места боя, по своей инициативе двинулись на выстрелы и, атаковав не ожидавших нападения германцев, разбили их и обратили в бегство. Охваченные паникой, начали отступать и другие германские части, поспешно двинулся назад обоз, и положение русских, имевших крупные резервы, стало на короткое время исключительно благоприятным. Солдаты, возбужденные успехом, дрались великолепно, сбивали германцев штыковыми ударами. Но успех не был использован. Генерал Артамонов, командир первого корпуса, боялся даже малейшего риска. Он держался пассивно, хотя в его распоряжении были силы, превосходящие противника. Ключ к русской позиции был у Уздау. До самого полудня русские дрались так упорно, что сумели отбросить наседавшего противника и несколько раз бросались в штыки. Артамонов со своим штабом находился за несколько верст от места сражения. Он был хорошо известен в мирное время своим солдатам, прозвавшим его «иконным генералом». При посещении казарм, небольшой, плотный, с расчесанными усами, он тихо шел

ло помещению, выставив грудь, от обилия орденов напоминавшую иконостас, и заглядывал в углы. Его интересовало, достаточно ли икон имеется в ротах и хорошо ли знают солдаты молитвы.

Канонада усилилась, командиру корпуса доложили, что надо послать гвардейские части. Генерал, закрывая руками уши и болезненно морщась, ответил, что нельзя трогать гвардию и лучше отступить. Уздау был оставлен русскими весь в пламени. Войска отступали неохотно, они были разгорячены удачным для них боем и ждали подкреплений, чтобы атаковать немцев. Первый корпус откололся от армии — второй ее фланг был сбит. Главнокомандующий за день до этого поздравил Самсонова с победой под Орлау, которая, как и все выигранные в этой операции бои, ничего не дала русским. А Самсонов хотя и беспокоился за свои фланги, но не считал еще положение опасным. В тот день, когда Артамонов своим отступлением открывал германцам путь на Нейденбург, где был стратегический центр армии, Самсонов прибыл в этот город со всем своим штабом. В шесть часов вечера в прекрасном каменном доме, принадлежавшем бургомистру, подавали парадный обед. Рядом с Самсоновым, полным красивым стариком, с пышными белыми усами, сидел генерал Нокс. Он разговаривал с Новосельским о последних операциях. Нокс, хорошо знакомый с планом русского командования, считал, что дела идут хорошо. Он пил коньяк из высокой хрустальной рюмки и, весело глядя на Новосельского помутневшими серыми глазами, объяснял ему свой взгляд на военные события.

— Немцы идут на Париж,— говорил он.— Пускай их идут. Они думают, что там, как в 1871 году, лежит решение войны. Они скинули со счетов такую мелочь, как Англия. Но поверьте, дорогой капитан, что мы их достанем, где бы они ни были — в Париже или Берлине. Германии незачем было лезть в море. Море — это не германская стихия. И мы перережем все кровеносные трубы, которые тянутся через море к Германии. Я думаю, что ваши храбрые войска сломают им ноги, прежде чем они смогут предпринять что-нибудь серьезное против Англии, не правда ли?

За столом становилось все шумнее.

— Пьем за героев Орлау,— громко сказал Самсонов, подымая бокал, и начальник штаба, генерал-майор Постовский, улыбаясь, показывал телеграмму главнокомандующего с поздравлением по случаю победы.

— Во всяком случае мы идем вперед,— говорил он,— мы уже отхватили порядочный кусок немецкой земли и отхватим еще больше. Завтра мы будем в Алленштейне, а оттуда прямой путь на Берлин.

— Из Гумбиннена — дальше,— сказал кто-то.

Этот намек на медленное продвижение первой армии после победы Ренненкампфа под Гумбинненом офицеры встретили смехом.

— Вперед, вперед, вперед,— вполголоса запел полный, очень красивый офицер в форме генерального штаба, дирижируя себе стаканом, и вдруг замолчал, с недоумением поглядывая на дверь.

Дверь полуоткрылась, и армейский, в плохо пригнанной гимнастерке офицер смущенно выглядывал из передней, видимо, не решаясь войти. Постовский заметил его и махнул ему рукой. Сутулясь под взглядами блестящих штабных, вбирая вовнутрь носки запыленных сапог, офицер подошел к Постовскому и подал ему сероватый конверт. Постовский вскрыл его, прочел, и все видели, как дрогнули его руки. Он, привстав, протянул Самсонову развернутый листок и тихо сказал ему несколько слов. Самсонов, краснея полной, не по-стариковски гладкой шеей, опустил листок и беспомощно поглядел на своего начальника штаба. Несмотря на то, что он много пил, важность полученного сообщения ошеломила его. Это была телеграмма генерала Артамонова, из которой, несмотря на ее путанность, можно было понять, что Уздау взят немцами, и левый фланг армии через Сольдау отступает на юг. Командующий тяжело встал (за ним вскочили все присутствующие), с усилием скрывая волнение, сказал: «Продолжайте, господа, прошу вас, продолжайте» — и вышел вместе с Постовским. Они долго сидели перед картой, висевшей на стене в комнате Самсонова. Цепь красных флажков, изображавшая линию фронта, тянулась через карту. В центре цепь сильно выдавалась вперед, на флангах же, особенно на левом, она круто загибалась назад. Но кое-где флажки отсутствовали — штаб армии

не имел сведений о точном нахождении некоторых частей.

— Как же, скажите мне, как же могло так получиться? — спрашивал Самсонов. — Ведь мы заходим левым плечом, мы отбрасываем противника на север, на Ренненкампфа, а наш левый фланг оказался позади центра. Выходит, что мы заходим правым флангом, что мы совершенно не так двигаемся и маневрируем, как это нужно?

Постовский молчал. Он лучше Самсонова понимал, что армия фактически не управлялась.

9

В утреннем воздухе, синем и необычно прозрачном, была свежесть, предвещавшая осень. Последняя трава уже утратила летнюю окраску, стала тусклой, вялой. Береза, одиноко росшая среди елей, резко выделялась серебряной чернью ствола, точно была посажена здесь по ошибке. Три солдата, укрывшись двумя шинелями, спали под елью. Карцев огляделся, протирая глаза. Черницкий еще спал между ним и Голицыным,— среднее, самое теплое, место досталось Гилелю по жребию.

Уже двое суток полк метался на пространстве в десять — пятнадцать километров, то наседая на немцев, то вдруг по непонятным для солдат причинам отступая в леса. В этот глухой овражистый лесок с кристальным озерцом посредине они попали ночью после утомительного марша и сразу же, без ужина, без глотка воды, легли спать — где кто стоял. Повсюду, с головой одевшись шинелями, лежали спящие солдаты. Не было видно ни одного дозора. Пройдя по лесу, Карцев удивился беззащитности полка, так беззаботно подставившего себя неприятельскому нападению. Он пошел в кусты, побыл там и, когда возвращался, услышал чьи-то шаги. Вдруг маленькая фигурка, радостно хрипя, бросилась к нему и крепко обняла его. Он отпрыгнул, испугавшись, и узнал Комарова, солдата их роты, уволенного в запас за несколько месяцев до войны.

— Я это,— говорил маленький солдат,— я, Комаров, блошинка человеческая. Друг ты мой, помнишь, как ты меня в казарме папиросами угощал? Ох, все-таки

ничего жили, сыты были, хоша и доставалось, конечно, — в карман плохого не спрячешь, оно из дыры вылезет,— а все же не убивали нас.

И все еще радостно ощупывая Карцева глазами, поглаживая его по руке, он деловито осведомился:

— А Машкова, стервь эту, не убили? Ему бы ничего, полезно, говорю, ему это было бы. Черницкий жив? За него богу спасибо. Из смолы человек. Прокипел он в своей жизни. Где он?

Он вприпрыжку побежал в Черницкому и с радостным хрипом упал на него (Гилель только вылезал из-под шинели). Обычной своей скороговоркой он начал рассказывать. Его красноватые, лишенные ресниц глаза сияли. Полк, в который его назначили, не был предназначен для боевых действий, и половина солдат была вооружена берданками. В полку — сплошь бородачи, рассыпного строя они не знали и в первый же день после высадки разбежались, услышав артиллерийскую стрельбу. Побежал и Комаров, ночевал в лесу и бродил там два дня.

— Определюсь я к вам, — весело сказал он. — Вы мне свои, родные ребята. Разве я ополченец, чтобы мне во второочередных частях служить? Я же самый что ни есть кадровый солдат.

— Перестань молоть, сорока,— сказал Черницкий,— расскажи нам, что слышно в России? Что люди говорят о войне.

— А ничего не говорят,— беззаботно ответил Комаров,— работы у них много, провожали нас, подарков понадавали, а бабоньки, конечно, плакали. Рабочие смирные стали. Раз только погнали нас на один заводик. Военный такой заводик, забором окружен, поверху забора колючая проволока, у ворот часовой. Вошли мы с прапорщиком, целый взвод, и повел нас инженер рабочих арестовывать. Машины у них остановленные, работать не хотят, на главной машине красная тряпка болтается. Прапорщик у нас образованный, говорун-человек, он сейчас же к рабочим, речь им говорит:

«Стыдно вам, русские вы люди, ваши храбрые братья проливают за вас кровь, а вы что делаете?»

Рабочие, конечно, мнутся,— много ли ему скажешь,

если за ним взвод с винтовками стоит, но все же выступает от них один, в светлом волосе, глаза серые, не мигают, и отвечает прапорщику:

«Мы, господин офицер, за деньгами не гонимся. Никакой нам прибавки не надо, а надо, чтобы нас отсюда отпустили. Не хотим тут работать».

Тут ему, конечно, трудно пришлось. Прапорщик ему кричит, что он не русский, если так думает, а немецкий шпион, и приказал всем встать на работу. Поставили мы пост у машин, парня этого забрали и прямым его ходом — в маршевую роту. Вот какой случай был.

Тем временем поднялся весь полк. Не было ни хлеба, ни чая, и солдаты ели сухари, размачивая их в воде. Офицеры завтракали мясными консервами, сыром, пили кофе с коньяком. Полковым офицерским собранием заведывал прапорщик Саврасов, сын крупнейшего в городе, где стоял полк, трактирщика. Саврасов за свой счет покупал продукты, лебезил перед командиром полка, кормил его роскошными обедами и все это делал для того, чтобы не попасть в строй. Толстый, с опухшими глазками, он носился по своей столовой-палатке, обслуживал офицеров с таким вкусом и ловкостью, как будто дело происходило в богатом, с лепными украшениями ресторане его отца.

Комаров доложился Саврасову, как помощник повара. Бегло оглядев маленького, исщипанного солдата, Саврасов молча взял его за плечи, повернул и толкнул от палатки. К солдатам он относился с инстинктивной боязнью — так же, вероятно, боятся в голодное время владельцы богатых ресторанов безработных, бродящих под их окнами.

Вернулся с разведки Рябинин. С тех пор, как он вместе с Карцевым принес важные сведения о высадившихся германцах, его часто посылали в разведку, и он охотно и хорошо делал свое дело. Рябинин был весел; покряхтывая, он снял сапоги и рассказывал, что с севера идут немцы — никак не меньше дивизии.

Хитро улыбнувшись, Рябинин достал из-за пазухи узенький сверток и положил его на землю. В свертке было сало, неведомым путем добытое им, и, нарезая его тонкими ломтиками, он говорил, облизываясь:

— Богатая страна, надо уж попользоваться, все равно отберут или в грязь затопчут.

Офицеры все еще были возле своей палатки, когда тяжелый, низкий гул докатился до полка. Он повторился через минуту, и сотни испуганных людей вскочили с земли. Гул напоминал артиллерийские выстрелы, он был необычайно силен, зловещ. В нем была неизвестность, страшный сюрприз хитрого врага. Казалось, что расшатанные глыбы воздуха падали, как обвалы, земля вздрагивала от ударов. Васильев с обычным своим видом пришел вместе с Бредовым.

— Что, ребята, страшно? — спросил он, оглядывая посеревшие солдатские лица. — Это всего лишь тяжелая германская артиллерия. Бояться тут нечего.

— Пушки, пушки-то какие,— нервно поеживаясь, прошептал Рогожин.— У нас ведь таких нет. Попадет такой снаряд — все разворотит.

Он точно накликал. Высоко в воздухе послышался низкий, быстро растущий рев. Рев приближался, с чудовищной силой пронесся над лесом. Взрыв показался всем ужасным. Короткий вихрь рванул воздух. Потом наступила мертвая тишина. Полк двинулся вперед. Шли по прекрасной лесной дороге. Ели и сосны ровными, вымеренными рядами стояли по сторонам дороги.

По дороге галопом проскакала артиллерия. На опушке леса орудия снялись с передков, крупных, взмыленных лошадей отвели в лес, и подполковник в очках, наблюдая в бинокль что-то не видное колоннам, громко подал команду. Вдоль опушки полк поспешно развертывался в боевой порядок. Поле расстилалось перед ним, и солдаты видели, как с правой стороны леса выбегали русские цепи. С левой стороны леса к полю выскочил казачий полк. Казаки развернулись лавой и с гиканьем помчались вперед. Их маленькие кони стлались в бешеном намете, всадники, стоя в стременах, пригибались к конским головам, и клинки шашек сверкали, как искрящиеся на солнце водяные фонтанчики.

— Вперед, с богом вперед! — закричал Дорн, скача вдоль фронта на рыжей лошадке.— Теперь-то мы их поймали.

Зажмурясь и пригибая головы, солдаты побежали

в поле. С германской стороны почти не было огня, там как будто стреляли в другую сторону.

— Во фланг, во фланг берем,— услышал Карцев радостный голос Васильева.

Германская часть, на которую они шли, была повернута к ним боком — германцы отражали атаку с другой стороны, и нападение отсюда было для них неожиданным. Все бросились вперед. Это походило на захватывающую игру. Вокруг себя Карцев чувствовал (чувствовал, а не видел — смотреть кругом нельзя было) возбужденные лица товарищей, они делали то же, что и он, как и он, были охвачены острым желанием скорее броситься, ударить, захватить врасплох, выиграть игру. Выскочил вперед Руткевич, размахивая саблей, неловко подпрыгивая на длинных тонких, как у жеребенка, ногах. В цепи на секунду показалось сосредоточенное лицо Бредова и дикое, осыпанное крупным потом, лицо Машкова. Васильев шел деловито, уверенно.

«Вперед, вперед»,— думал Карцев и смутно видел перед собой напряженные лица, из которых выделилось одно, очень сердитое, по-собачьи тонкое у подбородка, но с синими, чистыми глазами. Лицо это не пропадало несколько секунд, толстые губы смешно топырились на нем, и серая полоска пронеслась в воздухе. Карцев с любопытством увидел, что серая полоска была германским штыком, чуть не проткнувшим его, увидел Рябинина, который прикладом свалил немца, и на какой-то очень маленький срок теплая мыслишка мелькнула у него:

«Я не один. Вот как меня защищают... Эх, родные!»

В горячности, в увлечении боем он мало замечал из того, что происходило вокруг него. Только узенькое пространство, на котором он действовал, существовало для него. Чувство счастья охватило его, когда он ощутил у своего локтя локоть Голицына, твердый, дружеский локоть. Порыв, уносивший его, все еще не проходил. Он не хотел отставать от товарищей, рвавшихся вперед. Его привычные солдатские руки лезли в сумку за обоймами. С суховатым треском закрывался и открывался затвор, прочно и удобно входил в плечо приклад, когда он стрелял навскидку. Вид бегущих немцев

заставил его закричать «ура», но он уже не стрелял в них, незаметно для себя переходя к иному, более спокойному настроению. Чаще оглядывался вокруг, замедлял бег.

Наступала перемена в бою. Опрокинутые фланговой атакой, немцы бежали. Убитые и раненые лежали в поле, в тыл вели пленных, и четверо солдат на плечах, чтобы все видели, тащили германский пулемет. Но чаще доносились выстрелы орудий, шрапнель рвалась над русскими цепями. Цепи, скучившись, топтались на месте, и младшие офицеры, потеряв связь со штабом полка, не знали, продолжать ли наступление. Русская батарея била из лесу, и снаряды визжали, как сверла, режущие металл. Поле было ровное, и только в одном месте оно горбилось холмиком. Десятая рота занимала это место. Карцев лежал на земле возле этого холмика. Он услышал команду и видел, как неохотно и медленно подымались солдаты. Это Васильев решил вывести роту из пункта, который сильно обстреливали. За холмиком хриплый знакомый голос ругался, и Карцев, посмотрев туда, вскочил и побежал. На земле, подогнув под себя ногу и опираясь на локоть, сидел Чухрукидзе. Взвод уже шел вперед, и Машков кричал Чухрукидзе, чтобы тот подымался. Солдат, смотря на взводного, рванулся. Ноги его вытянулись, спина глухо стукнула о землю, руки прижались к бедрам. Он лежал навытяжку, как поваленный манекен, изображающий русского солдата, застывшего по команде «смирно». Лицо его желтело и морщилось болью, но горячечные глаза не отрывались от Машкова. Он видел только его, он был в строю. Карцев, отбрасывая винтовку, наклонился над Чухрукидзе. Синие губы солдата раскрылись, он, должно быть, хотел улыбнуться Карцеву, но вместо улыбки послышался стон.

— Ранен, ранен? Отвечай, друг? — тихо спрашивал Карцев, весь стиснутый щемящей жалостью к Чухрукидзе. — Да брось же, брось тянуться, — почти плача прокричал он и нежно отвел руки раненого от бедер.

— Ты что, санитар? — крикнул Машков. — В бой иди, сволочь, в бой иди! Плакальщики и без тебя найдутся.

Карцев поднял голову. Горло у него сдавило. Он смотрел на взводного, человека с медным, тупым ли-

цом, долгие месяцы мучившего его и Чухрукидзе, отравившего им жизнь,— врага. Молча он нагнулся над Чухрукидзе, пожал вялую, холодеющую руку, поцеловал синие губы и, схватив винтовку, побежал вперед.

Бой уходил дальше, чаще стреляла германская артиллерия. Карцев шел к лесу, догоняя наступающую цепь, пригибаясь, когда свистели пули. Но итти уже не хотелось, и, увидев заминку в наступающих цепях, он лег в окопчик, очевидно, наспех вырытый кем-то совсем недавно, и лежал там долго, спрятав в прохладной ямке лицо.

Русское наступление затихло. До леса так и не дошли. Прибежал рыжий прапорщик, исполняющий обязанности помощника полкового адъютанта, и передал приказ. Полк был обойден с тыла, надо было скорее отходить. Лежа в своем окопе, Карцев услышал глухой топот бегущих людей. Он поднял голову и увидел расстроенные цепи, поспешно отходившие назад.

— Били, гнали, народу сколько испортили,— громко говорил молодой, очевидно, кадровый солдат, — и вот — пожалуйста. Немцы бегут, немцы нами побиты, а нам отступать приказывают. Смеются они там, что ли, над солдатами?

Одни шли, сжав плечи, беспокойно оглядываясь назад, другие ругались и часто останавливались, с колена стреляли по лесу. Дорн, поглядывая на солдат из-под очков, шагал с огорченным видом, похожий на врача, которому не удалась операция.

Небо было синее. Далеко к западу над лесом виднелось белое пятно германского привязного аэростата.

10

Полевая почта привезла письма. С удивлением смотрел Бредов на маленький голубой конверт, на тонкие, знакомые буквы, которыми был написан адрес.

Жена, покинутая где-то квартира и вся мирная жизнь показались ему маленькими, как кажутся маленькими предметы, когда смотришь на них в большие стекла бинокля. Он прочитал письмо, не содержавшее в себе, как он подумал, ничего значительного, и, вспомнив, что еще ни разу с начала войны не смотрел на портрет

жены, достал этот портрет из бумажника и с глубоким любопытством стал его рассматривать.

Он подумал, что надо ответить на письмо, нахмурился и с наступившим сразу облегчением решил, что не сейчас, а завтра напишет письмо. Недалеко от него на шинели лежал Васильев и жадно читал письмо. Лицо у него было размягченное, добрые морщинки собирались у носа.

— Вот-с, — растроганно сказал Васильев, — пишут мои зверюшки, кланяются, целуют.

Бредов сочувственно улыбнулся ему. Ему казалось, что черные твердые узелки, нанизанные на бесконечную нить, с томительной медленностью проходят близко, перед самыми его глазами. Он встряхивал головой, закрывал глаза, но черные узелки двигались неумолимо, как движутся заводные куклы. Штабс-капитан медленно пошел в лес, хотя знал, что туда итти опасно. Пушечные выстрелы звучали с равными промежутками времени, и Бредову показалось, что это бьют огромные, сделанные гигантами часы. Он тихо улыбнулся этой мысли и, всматриваясь в кусты, часто разросшиеся здесь, шел по узенькой, мало хоженной, как это было видно по покрывавшей ее траве, тропинке. Его окликнул дозор. В невысоком широкоскулом солдате Бредов узнал Рябинина.

— Что, близко? С этой стороны? — спросил он.

Рябинин усмехнулся.

— И с этой, и с той, ваше благородие, — выразительно сказал он. — Далеко не ходите.

Бредов, хмурясь (неприятно было, что солдат так ясно видел плохое положение полка), кивнул Рябинину и пошел дальше. И точно развязанные солдатским ответом, давно уже мучившие его мысли, которые он давил и прятал, овладели им.

Какой прекрасный день был вчера! Противник, взятый во фланг, сотни захваченных пленных, радостные лица солдат, сладостное чувство удовлетворения. Победа, победа! Что может быть радостнее? Потом неожиданный приказ об отступлении, обход с тыла, беспорядок, молча идущие колонны, зарева пожаров вокруг.

Он незаметно для себя ускорял шаги. В кустах за-

шумели, послышался треск ветвей, и Бредов увидел угреватое лицо штабс-капитана Тешкина. Сзади Тешкина с земли торопливо подымалась женщина. Это была уже немолодая крестьянка в грязном ситцевом платье. Она побежала, прикрывая лицо руками. Бредов с удивлением посмотрел на нее, а затем на Тешкина.

— Старовата, конечно,— деловито объяснил Тешкин,— и вообще женщина не первого сорта, но что делать? Война.

Бредов неприязненно оглядел его длинную, нескладную фигуру. Но во всем облике штабс-капитана не было видно никакой сконфуженности. Он спокойно отряхнул травинки и листья, приставшие к его шароварам, застегнулся, вынул портсигар и предложил Бредову папиросу.

— Не сердитесь,— дружелюбно сказал он, заметив резкое движение Бредова, не взявшего папиросу,— разве я сделал что-нибудь нехорошее? Все то же, уверяю вас, все то же, что делают люди и на войне и в мирное время. Зачем же лицемерить?

Он не оправдывался, а объяснял, маленькие глаза его глядели уверенно, рука с папиросой делала плавные движения.

— Сядем,— сказал он,— очень приятно поговорить с интеллигентным человеком. Не знаю, как вы, но я себя чувствую здесь таким же одиноким, как в гарнизонной жизни. Противно наблюдать этих старых болванов, этих верблюдов в мундирах. Блинников — командир. Федорченко — командир. Максимов — командир. Боже мой, как можно этих приказчиков посылать на дело, требующее такой точности, таких знаний и решительности? Я партач в военном деле, не понимаю и не люблю его, но и мне ясно, что мы играем наверняка — на проигрыш. Видели вы нашего корпусного командира? Ему бы в музее быть, а он ведет сорок тысяч солдат,— и каких солдат — героев. Нет, знаете, лучше не вмешиваться во все это. Пережить как-нибудь — вот что главное.

— Как же — не вмешиваться? — с бешенством ответил Бредов.— Да вы понимаете, что вы говорите? Раз-

ве вам все равно — выиграем ли мы войну или проиграем ее?

Тешкин посмотрел на докуренную свою папиросу, втянул дым и просто сказал:

— Пожалуй, что все равно. Здесь лес, никто нас не слышит, и я честно говорю вам: да, мне все равно, выиграет или проиграет Россия эту войну. Меня интересует только моя собственная судьба, и я никогда не видел, чтобы Россия заботилась о ней. России все равно, что будет с Иваном Андреевичем Тешкиным. Россия никогда не заботилась о нем, не помогала ему строить его жизнь, и Тешкину все равно, что будет с Россией.

— Как вы смеете так говорить?— в тоске и бешенстве закричал Бредов (тоску навевал унылый и циничный тон Тешкина, весь его вид).— Вы — русский офицер, русский человек.

— Чепуха,— внимательно выслушав его, ответил Тешкин.— Вот русские солдаты убили Вернера. Разве от этого они стали менее русскими? Неужели вы так отождествляете себя с Россией, что должны кричать на меня потому, что я чувствую себя отдельно от нее? Россия не так широка, как вы это представляете. Для одних это Петербург, дворцы, скачки, кутежи. Для других — выгодные гешефты на военных и интендантских подрядах, для третьих — жалование двадцатого числа, церковь, квартира из пяти комнат, для четвертых — голодная деревня, для пятых — каторга или тюрьма. Это ли милая родина?

Он с любопытством смотрел на Бредова, он напряженно ждал его ответа, и Бредов вдруг ощутил некоторую растерянность. Ему вспомнилось многое из того, что он охотно забыл бы теперь. Неудача с академией, чванные петербургские гвардейцы, для которых он был черной костью, разговор с Максимовым. Какую же Россию он любит и защищает? С горьким удивлением смотрел он на угреватое лицо Тешкина, на язвительные его губы, на маленькие глаза, искрящиеся черным жиром, и молчал.

— Вот у меня нет своей России,— продолжал Тешкин, короткой паузой как бы подчеркнув тот факт, что Бредов не ответил на его вопросы.— Пинали меня, отталкивали подальше в сторону. Всю жизнь отталки-

вали. Так позвольте же мне самому позаботиться о себе, если никто не делает этого.

Он поднял с земли свою фуражку, не отряхнув, надел ее на черные, прямые волосы и, не прощаясь с Бредовым, вялой походкой ушел в кусты.

Лес был тихий, предосенний. Грустный запах гнили исходил от опавших листьев, от сыроватой лесной земли.

11

Ночь провели в брошенной жителями деревне, ночевали в чистых немецких домиках, в сараях, еще полных сена, переловили и съели всех кур и гусей, на дрова ломали заборы и мебель. Черницкий ловко выпотрошил гуся и жарил его, насадив на штык. Костер горел во дворе. Маленькие злые искры с треском вылетали из бронзового, чуть задымленного огня и пропадали в ночи. Где-то стреляли, но никто не обращал внимания на выстрелы, как не обращают внимания городские на уличный шум. В девятой роте было весело. Солдаты нашли в подвале несколько боченков пива и распивали его, щедро угощая всех, кто к ним приходил. Офицеры сидели по избам, и солдаты только на минуту увидели капитана Эйсмонта, который, ругаясь, пробежал по улице. Пьяненький ефрейтор Банька, отрыгивая пивом, привалился к костру и сообщил, что капитан ругается потому, что нигде не выставлено сторожевого охранения.

Он вытянул из походного мешка резиновый пузырь, в каких больным кладут лед, и, любовно оглядев его, отвинтил крышку.

— Удобная штука,— с уважением сказал Банька,— для пива или для водки лучше не надо.

— Умные всегда хорошее придумают,— сказал чей-то голос с украинским акцентом, и Карцев с Черницким быстро обернулись.

— Защима! — закричали оба.

Карцев вскочил и, не веря себе, смотрел на знакомую фигуру ефрейтора. Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как он видел Защиму в последний раз, но столько событий случилось за эти месяцы, что Карцеву казалось — прошли года. Защима, накануне своего

ухода в запас оскорбивший фельдфебеля и приговоренный судом к шести месяцам дисциплинарного батальона, стоял перед ним, немного похудевший и осунувшийся, с ввалившимися глазами, одетый в защитную солдатскую одежду.

— Ты чего смотришь?— неторопливо спросил он.— То ж я. Защима, бывший государственный ефрейтор, а теперь рядовой из разряда штрафованных. Прибыл защищать отечество и начальство. Для того отпустили меня из дисциплинарного батальона на месяц раньше срока.

Привычным движением через голову он снял скатку и опустился на землю возле костра. Голицын, не знавший Защиму, подвинулся, уступая ему лучшее место, и сказал, щуря серые, мохнатые глаза:

— Дисциплинарным ты нас не удивишь. Я, когда на действительной был, троих туда проводил и сам едва с ними не попал.

— Я и не удивляю,— равнодушно ответил Защима.— Мы вже давно не удивляемся.

Принимая от Черницкого коричневый, с каплющим с него жиром кусок гуся, он спросил:

— Ну, как вы тут, братики, воюете? Не продырявили еще вас немцы?

Он слушал, медленно прожевывая гуся, кивая головой. Было в нем что-то спрятанное от людей, что-то такое, что он берег, как берегут выстраданное и горькое чувство. Запавшие его глаза глядели невесело, но в их взгляде не было надломленности.

— Жил слава богу,— ответил он Карцеву, спросившему его, как ему служилось в дисциплинарном батальоне.— Жил так, скажем, как на доброй каторге. Всюду же люди. Фельдфебели есть, господа офицеры есть, тюрьма есть и поп — все, как полагается. Сорок человек нас освободили и отправили на войну. Речь нам говорили. Хорошую речь. «Вас отечество вскормило и вспоило, ласку вам всякую оказывало, так вы его своей кровью за это за все защитите». И отправили нас под конвоем и без оружья прямо на вокзал. Просились там некоторые — дурни,— нельзя ли с родными попрощаться. Умные молчали — они всей солдатской жизнью научены, как начальство их просьбы испол-

няет. К одному жинка приехала, всю дорогу рядом шла, а к мужу не допустили ее. «Когда свою вину отвоюешь,— сказал ему поручик Корнеев, командир наш,— тогда сколько хочешь с жинкой видайся, а теперь нельзя». Музыка даже нам поиграла, поп нам крест целовать давал — проводили нас честь-честью, как следует христианским воинам. Ну, вот мы и здесь.

Костер затухал, серый пушистый пепел осторожно покрывал золотые столбики огня, точно укутывал их от холодеющего ночного воздуха.

Вдруг сильный взрыв поколебал воздух. Деревья во дворе зашелестели, как от порыва ветра. На севере багровым светом стало наливаться небо, точно там дико и без времени всходило солнце. Взрыв повторился, тоненько зазвенели стекла в домах, и настала тишина. Она длилась долго, деревня молчала по-мертвому, не лаяла ни одна собака, воздух давил тяжело, как чугун.

Первым, не выдержав напряжения, закричал Защима. Большое его тело дрожало, он гнулся к земле и трудно дышал. Взрывы продолжались с короткими промежутками, и север все шире заливался расплавленным металлом, точно выдавала его без счета чудовищная домна. Пожар начался и на западе, два зарева сближались, и между ними проходил черный коридор еще неосвещенного неба. Из изб поспешно выходили офицеры. В штабе полка началась суетня. Туда вошел Дорн. Через минуту он показался в дверях вместе с Денисовым. Дорн сердито что-то говорил Денисову, тыча рукой в комнату, где помещался командир полка, а полковой адъютант пожимал плечами и отвечал шопотом, наклоняясь к уху полковника. Старшие офицеры торопливо подходили к штабу, до солдат доносились их громкие, возбужденные голоса. Вышел Максимов, сутулый, с небритым отекшим лицом. Он говорил мало, больше слушал Денисова и кивал головой. Штабс-капитан Блинников, заменивший убитого Вернера, повел третью роту. Он оглядывался, отыскивая исчезнувшего поручика Журавлева, так как совсем не надеялся на себя, а прапорщик, худой, похожий на аиста юноша, робко жался к нему и все одергивал желтую поскрипывающую новой кожей кобуру нагана.

Августовская ночь переходила в рассвет. Было свежо,

в небе бледнели звезды. На правом фланге загремела русская артиллерия. Под шрапнелями валились тонкие садовые деревья. Тяжелые германские снаряды падали совсем близко. За рощей проходила железная дорога. За буграми, за холмиками возле железнодорожной будки залегла немецкая пехота, и пули с визгом и цоканьем проносились над русскими цепями. Группы раненых уходили обратно в деревню, где расположился полковой госпиталь. За дорогой была речка, красиво поросшая кустами. Вдруг из-за кустов выскочили немцы и с криками побежали в атаку. Русская батарея била по ним прямой наводкой, восемь полковых пулеметов татакали непрерывно, и простым глазом было видно, как падали люди, как в смятении побежали они назад и стали прятаться у речки в рытвинах и в кустах. Артиллерийский огонь усиливался, сражение происходило на широком фронте. В деревню въехал автомобиль, худощавый генерал с маленькой коричневой бородкой долго и внимательно выслушивал доклад другого генерала, остроносого человека в черепаховых очках, смотрел на карту, которую начальник штаба разостлал на сидении автомобиля, и негромко отдал несколько распоряжений. Стягивая с маленькой руки серую лайковую перчатку, генерал вылез из автомобиля и прошелся по дороге, по-птичьи наклонив набок голову, прислушивался к артиллерийской стрельбе. Прискакал запыленный ординарец с донесением. Рыжий конь тяжело водил боками, пена белыми хлопьями падала с его боков, с тонких, вздрагивающих ног. Генерал ласково похлопал коня по шее, сказал ординарцу: «Спасибо, спасибо, родной мой»,— и, прочитав донесение, быстро пошел к автомобилю. Он продиктовал приказ, который торопливо записывал офицер генерального штаба, и уехал. Через час на фронте в несколько верст двинулись в наступление три полка, имея четвертый в дивизионном резерве. Это была операция, предпринятая командиром пятнадцатого корпуса генералом Мартосом, которая дала русским краткую иллюзию победы, несколько орудий и больше тысячи пленных.

Бредов вел десятую роту. Дорн был убит германским снарядом в то время, когда батальон развертывался в боевой порядок, его заменил Васильев. Бредов стал

ротным командиром. Небо синело чисто и спокойно. Далеко позади в красноватых лучах утреннего солнца виднелся Грюнфлисский лес. Темная его громада тянулась на несколько верст. Отдохнувшие солдаты шли весело и бодро. Бредов, охваченный счастливым чувством, решил, что сегодня для него нет ничего невозможного. Грохот артиллерии доносился справа и слева, близко рвались неприятельские снаряды, дзыкали пули, но чувство счастливой уверенности, охватившей Бредова, было так сильно, что он шел в рост, зная, что ни одна пуля не может сегодня попасть в него. Он видел, как по обе стороны от него наступали девятая и одиннадцатая роты, видел зеленоватые цепи германцев и кивал головой.

Все идет хорошо. Он ведет к победе двести человек. Двести человек! Через связных он передавал приказы взводным, следил, чтобы при перебежках солдаты не скучивались, бросился вперед, когда сблизились с германцами, сам восхищаясь четкостью своих действий, своим хладнокровием и храбростью.

Он видел, как побежали от русских согнувшиеся, совсем не страшные фигурки, как поспешно легли они (или упали), когда русские пулеметы захлестнули их, бегущих.

Вот они, вот они, они подымают руки, бросают на землю винтовки, у них серые, покорные лица, расширенные от ужаса глаза...

И вдруг тревога охватывает Бредова. Прапорщик отчаянно кричит ему, показывает рукой направо. Среди редких сосен, среди колючей ежевики, растущей между соснами (как хорошо все это видно в бинокль!), появились немцы, они обходят девятую роту, и нет ни одного резервного взвода, чтобы остановить их. Бредов стискивает зубы,—сейчас зайдут, ударят, засыплют пулями. И без всякого усилия с его стороны в голове ясно возникает: военное училище, занятия по тактике, чертеж на доске. Противник охватывает фланг, и охват парируется резервом, который выдвигается уступом, удлиняя фронт батальона. Хватит ли времени сообщить Васильеву? Он рвет из сумки полевую книжку, у него ломается карандаш, он оглядывается, полный муки, и вскрикивает. Согнувшись, с винтовками наперевес, из

резерва бегут на правый фланг солдаты. Их ведет усатый капитан Эйсмонт. Двенадцатая рота брошена Васильевым навстречу обходящему русских неприятелю. Все это кажется Бредову волшебством. Как быстро и верно Васильев оценил обстановку, как странно совпали их мысли!

Бой окончился в сумерки. Солдаты и офицеры были бодры, возбужденно разговаривали. И в первый раз за все время войны Бредов почувствовал, что он и солдаты — это одно целое, здоровенная слаженная силища, которая может ломать и крушить все, что становится ей на пути. Он разговаривал с солдатами, ходил среди них, жадно всматриваясь в них, и трепетал от радостного возбуждения, находя и в лицах и в словах отзвуки тех настроений, которые дала солдатам (как и ему) сегодняшняя победа. Потом повели пленных, повезли взятые орудия, и незнакомый полковник, счастливо улыбаясь (у него было милое, чисто славянское лицо, сероглазое, с белокурой бородкой), закричал Бредову и другим офицерам:

— О, это еще не все: посмотрели бы вы, сколько их взяли по всему фронту корпуса. Здорово дрались мы сегодня!

— Ваше высокоблагородие, — выкрикнул небольшой курносый солдат, показывая в улыбке такие белые, крепкие, радостные зубы, что нельзя было не улыбнуться ему,— ваше высокоблагородие, кабы нам всегда так воевать... Ей-богу, и немцев и англичан — всех под Россию завоюем.

Полковник засмеялся и, ласково сказав что-то солдату, поехал дальше.

Надвигался вечер. Колонны со смехом, веселыми разговорами и песнями втягивались в немецкий городок. Тихие улицы наполнились шумом, квартирьеры не успевали показывать частям их помещения. Упоенные радостью офицеры не следили за порядком размещения, и как только они устроились, денщики начали шнырять повсюду, отыскивая вино и продукты. Полки должны были пройти весь город и расположиться по другую его сторону, но они не выполнили приказа и остались в городе. В погребах нашли пиво. Солдаты вытаскивали толстые влажные бочки, разбегались по своим помеще-

ниям с полными котелками. Какой-то поручик остановил солдата, тащившего ведро с темным пенистым пивом, но тот обиженно сказал:

— Ваше благородие, после таких побед да не попользоваться. Все же пьют.

Офицер, махнув рукой, быстро ушел. Уже через час по улицам попадались пьяные солдаты, поздравлявшие друг друга с праздничком, а еще через некоторое время все спали мертвым сном. В штабе корпуса, расположившегося в доме бургомистра, огонь горел всю ночь. Дежурный офицер спал, сидя за столом. Его разбудили, осторожно похлопывая по плечу. Он открыл глаза и снова закрыл их, думая, что ему снится сон. Но его опять разбудили, и он вскочил, беспорядочно хватаясь руками за бока, отыскивая револьвер. Немецкий офицер, спокойно улыбаясь, смотрел на него.

— О, не беспокойтесь,— сказал он жестко, но совершенно свободно выговаривая русские слова.— Я думаю, что вам не надо кричать, так как все уже совершено.

Он был не совсем точен. С улицы стали доноситься выстрелы, крики, топот многих бегущих людей. В задних комнатах штаба громко стукнула дверь, что-то тяжелое упало с большим шумом, и в комнату вбежал седой человек в одном белье. У него были сумасшедшие глаза, и он, задыхаясь, закричал дежурному офицеру:

— Так-то вы дежурите, капитан? — и замолчал, в недоумении глядя на немецкого офицера. Офицер вежливо отдал ему честь и спросил, с кем он имеет удовольствие говорить. Узнав, что перед ним начальник штаба корпуса, он сделался еще вежливее, но на дворе сухо защелкали выстрелы, и он бросился к окну. Маленькая группа всадников, стреляя, скакала к воротам. Впереди был пожилой, сухощавый человек в очках. За ним держались четыре казака.

— Командир корпуса! — вскрикнул дежурный, и немец стремительно выбежал из комнаты.

В эту ночь пятнадцатый корпус, ночевавший в Нейдебурге по-домашнему, без всякого сторожевого охранения, с перепившимися солдатами и офицерами, был захвачен врасплох, и несколько тысяч человек были

убиты и взяты в плен. Командир корпуса генерал Мартос убежал с четырьмя казаками и через два дня был взят в плен в окружающих город лесах.

12

Было уже совсем темно. В небе белыми искорками сверкали звезды. Чуть-чуть светлела в ночи песчаная дорога. Спотыкаясь, без всякого строя, растянувшись на несколько верст, брели солдаты. Каждую минуту, шатаясь, отходили в сторону черные фигуры и валились на землю. Давно уже Карцев не видел вокруг себя ни одного знакомого лица. Он слышал дыхание смертельно усталых людей, слышал хриплые ругательства, слышал стоны. Он пытался найти Черницкого, Голицына, но не видел никого из них. Он спал на ходу, спотыкался и, наконец, упал, наткнувшись на что-то, лежавшее на дороге. Невнятное проклятие донеслось с земли, человек с трудом поднял голову и прошептал:

— Землячок, откуда ты такой неугомонный? Хочешь царский полтинник получше отработать? Ложись, земли на всех хватит.

Голова упала, Карцев услышал храп и, опираясь на винтовку, встал на колени.

— А в самом деле,— пробормотал он в удивлении, что такая простая мысль — лечь и уснуть — не пришла ему в голову, — а в самом деле. Только я не на дороге лягу.

Он заставил себя встать. Это было очень трудно. Земля влекла к себе. Он перебрался через дорогу, толкая попадавшихся по пути людей, почувствовал под ногами траву, увидел какую-то темную массу, последним усилием сдернул со спины мешок и повалился на него лицом. Кто-то наклонился над ним, теплое влажное дыхание коснулось его лица. Но Карцев не имел силы подумать — кто это: он больше ничего не сознавал.

Он проснулся от толчка. Два коричневых мохнатых столбика стояли перед его глазами. Он долго не мог понять, что это такое. Все тело казалось опутанным тугой жесткой сетью. Движением плеч он пытался ее сбросить, поднял голову. Он еще раз с любопытством

и недоумением посмотрел на коричневые мохнатые столбики и осторожно отполз на два шага. Всю ночь он спал возле ног лошади. Заночевавший в лесу обоз уже приходил в движение. Заспанные обозники, почесываясь, ходили между телегами. Никто не обращал внимания ни на Карцева, ни на сотни других солдат, в самых неожиданных позах лежавших на земле. Карцев поднял свою винтовку, любовно осмотрел ее—длинную, стройную, ладную, почти год уже не разлучавшуюся с ним, рукавом отер росу на штыке и на затворе. По свежести, по особой молодой прозрачности воздуха, по нежной, чуть посеребренной тонкими облачками синеве неба, по красноватым, еще неярким лучам солнца, не дошедшим до земли, а только золотившим вершины деревьев, он узнал, что сейчас раннее утро. Он плохо отдохнул. Ему было неудобно, зевота судорожно раздергивала рот, в ногах ощущалась тяжесть и неловкость. Повесив винтовку на ремень, он медленно пошел по лесу. Вышел на дорогу. По дороге в одиночку и маленькими группами брели солдаты. Карцев увидел на их погонах номера различных полков. Попадались и солдаты его полка. Карцев пошел с ними. Маленький солдат без фуражки грыз желтую тугую репу, и Карцев почувствовал как удар — жгучий голод. Он шел все дальше, рассеянно поглядывая по сторонам, дошел до деревни, свернул на зады и остановился возле большого сарая, из открытых дверей которого сильно пахло сеном. Какая-то серая кучка привлекла его внимание — в решете лежала мелкая вареная картошка, положенная здесь, вероятно, для свиней. Он сел на землю и стал есть картошку, не очищая ее от кожуры. От жадности его горло сжимали спазмы, он ел и ел, не в силах оторваться. Звякнуло ведро. Карцев поднял голову и увидел молодую женщину, смотревшую на него. Он жалко улыбнулся ей ртом, набитым картошкой. Она тихо ахнула и убежала. Вернулась с глиняным кувшином молока и с хлебом. В том, как она молча поставила перед ним молоко, и в чрезмерной величине куска хлеба он почувствовал великую жалость к нему, исходившую от женщины, и протянул ей руку. Она, стыдясь, лопаточкой вложила в его ладонь маленькую жесткую руку и ушла, не оглядываясь, видимо, не желая мешать ему поесть. Он съел хлеб,

выпил молоко и, отяжелевший, сонный, отравленный еще не прошедшей усталостью, пошел в сарай. Забрался в самый угол, раскидал сено и зарылся в него, подложив под голову мешок, а рядом с собой — винтовку.

Он не знал, долго ли спал. Проснувшись, лежал еще несколько минут, прислушиваясь к шуму и крикам, доносившимся снаружи, весь отдаваясь счастливому чувству покоя и неподвижности. Он знал — там проходили войска. Вздохнув, он встал, стряхивая с себя сено, взял мешок и винтовку и вышел. По улице, по дорожкам, криво и узко проходившим сзади дворов, непрерывно, беспорядочно и шумно двигались солдаты, повозки, орудия. Солдаты были запылены, как каменщики на постройке. Карцев смотрел на них, мысли его текли неудержимо, в какой-то лихорадочной поспешности. Лязгали штыки, скрипели ремни, а ему казалось, что это со стоном и скрежетом зубов шла казарма, серая, задушенная насмерть.

Он шел, глядя вперед невидящими глазами. Вдруг сильнейший грохот ошеломил его. Во все стороны бежали солдаты, кто-то кричал, показывая рукой вверх, отчаянно крестился бородатый солдат. Высоко над лесной дорогой плыла длинная серебристая рыба с толстой, кругловатой мордой. Тихое рокотание доносилось вниз, рыба неуклюже описала полукруг и поплыла обратно. Маленький темный предмет отделился от ее брюха, точно она метнула икру, и полетел к земле.

— Ложись! — закричали дикие голоса, а Карцев, как зачарованный, смотрел на серебристое чудовище и лег лишь тогда, когда черный косматый столб, расширяясь кверху, поднялся из земли и с громом рассыпался вокруг.

13

Третий батальон оторвался от своего полка. Васильев вывел его из взбаламученного моря растрепанных, перемешавшихся между собой войск. Они никем не управлялись и метались, совершая бесцельные марши, натыкаясь всюду на немцев, поколачивая их иногда, но в конечном счете ни разу не сумели использовать плоды своих побед. Бледный, с перекошенным лицом, шел Бредов во главе своей роты. Штабс-капитан сильно

страдал. Иногда ему казалось, что он подобен слепому щенку, который не видит и не понимает, что делается вокруг него. Была победа. Русские гнали неприятеля, брали пленных. Он видел эти жалкие бегущие фигурки, видел, как яростно и беззаветно шли в атаку русские солдаты, как здорово управляли своими ротами и батальонами многие офицеры, и все же русские были разбиты. Вот они идут, оторванные от своего полка,— куда, зачем? Спасаются, бегут. Он боялся смотреть на солдат, он испытывал странный стыд перед ними — ведь он сам был одним из тех, которые своим плохим управлением лишали солдат плодов их страшной работы, кто губил их, разрушал веру в начальников.

С трудом мог он представить, как это случилось. Положение резко изменилось за два-три дня. Почему-то стремительно отступила соседняя дивизия. Он видел, как по дорогам, по тропинкам, через леса, через немецкие деревни торопливо шли растрепанные части. Никто толком не знал, в чем дело. Их дивизия держалась дольше других. Но, лишенная поддержки, и она покатилась назад. Казачий офицер, задержавшийся со своей сотней возле стоянки полка, рассказал о том, что он видел за последние дни:

— Сбиты наши фланги. Немцы прорвались в тыл. Мы наступали, а они обходили нас.

Это был худой жилистый человек с коротким лицом, осыпанным веснушками. Садясь на коня, он повернулся к офицерам и показал нагайкой на запад:

— Мы были верст за сто отсюда. Ей-богу, думали, что через месяц будем в Берлине... Ведь как дрались, как наступали!.. Я не поклонник пехоты, но должен признать — классически воевали. Хорошие я видел полки, превосходнейших офицеров... Как же все-таки получилось так, господа?

И не дождавшись ответа, поехал прочь, впереди сотни.

Они шли в темноте грозной ночи, на каждом шагу таящей в себе смерть, панику,— одинокий батальон, выведенный своим командиром из кипящего моря разбитой, растерянной армии, которой никто больше не управлял и которая, не будучи еще разбитой, уже утратила самые свои драгоценные качества: воинский дух и веру в своих командиров.

На опушке леса стояли три автомобиля, окруженные маленькой группой казаков. Васильев заметил их еще прежде, чем ему доложил головной дозор, так как он шел впереди батальона. Он подходил к автомобилям своим спорым, развалистым охотничьим шагом, щуря зоркие синие глаза, привыкшие к темноте.

— Что за часть? — спросил повелительный голос, и Васильев, сдвинув каблуки и подняв к козырьку руку, отдал краткий рапорт. Он вглядывался в спросившего его человека и все яснее различал тяжелую, плотную в груди и в плечах фигуру, опиравшуюся на борт автомобиля.

— Останьтесь пока при мне, — сказал голос, и Васильев окончательно узнал командующего армией, которого он видел в начале кампании. Охваченный тревожным чувством, он не смел, однако, спросить, почему полевой штаб армии очутился ночью в лесу, вдали от жилых мест, очевидно, лишенный связи с корпусами, подвергаясь угрозе неприятельского нападения. Он, хмурясь, отошел к своему батальону и вполголоса стал отдавать распоряжения. К нему подошли офицеры, и он отрывисто сказал им, в чем дело, и, дергая себя за усики, сейчас же скрылся, явно не желая ни с кем разговаривать. Но слух, что в лесу находится командующий армией, сразу распространился среди солдат. Они тревожно и любопытно поглядывали на автомобили. Подходили ближе, пытались поговорить с казаками, догадываясь, что раз штаб армии, который должен был находиться где-то далеко позади, попал так близко к неприятелю, в кучу перепутанных и отступающих войск, то дело, должно быть, плохо.

Так действительно и было. Самсонов ехал в Нейдебург, чтобы взять в руки руководство наступлением своих центральных корпусов. В дороге ему донесли об отходе шестого корпуса, то есть о том, что левый фланг его армии, как и правый, был обойден германцами. Офицер, который привез Самсонову известие об отступлении шестого корпуса, был нервный, с беспокойными движениями человек, на бледном, измученном лице которого заметно выделялся широкий, тонкогубый вдавленный рот. Видимо, желая оправдать командование своего корпуса, он говорил о тяжелых боях с пре-

восходными силами немцев. Самсонов слушал его молча. Только по его чуть дрожавшим плечам и все более красневшей шее чувствовалось напряжение, которое он едва подавлял. Он оглянулся и, видя, с какой растерянностью и отчаянием смотрят на него офицеры штаба, и чувствуя, что нельзя молчать, произнес первые слова, которые пришли ему в голову:

— Передайте, полковник, командиру корпуса, что он должен какой угодно ценой держаться в районе Ортельсбурга. От нашей стойкости зависит успех наступления тринадцатого и пятнадцатого корпусов.

Он болезненно заметил, с каким недоумением переглянулись офицеры штаба.

«О каком наступлении может итти речь? — спрашивали их взгляды. — Ведь мы обойдены с флангов. Отступать, скорее отступать».

Но Самсонов не знал, как ему можно отступить. У него уже не было армии. С того момента, когда он снял Юз, соединявший его с командованием фронта, и бросился в передние ряды своих войск, он потерял управление армией и знал о ее положении не больше, чем любой начальник дивизии! Он чувствовал себя раздавленным стихийно надвинувшимся на него хаосом и по старой привычке храброго кавалериста бросился в самую гущу боя.

Проходила ночь. Вокруг стояли зарева, выстрелы орудий доносились со всех сторон. На сидении автомобиля, скорчившись, спал адъютант и по-детски сопел носом. Казалось, что никогда не наступит утро. Самсонов не мог сидеть, ходил по дороге. Он видел истомленные лица штабных офицеров, конвойную сотню, расположившуюся кругом, и пехотный батальон, которому он неизвестно зачем приказал остаться при себе. Маленький армейский офицер с соломенными усиками в сопровождении двух солдат возвращался по лесной тропинке. Его сапоги были мокры от росы. Они встретились, и Самсонов остановился. Ему понравилось, что батальонный командир сам ходил в разведку, понравились его неторопливые движения, его умные глаза.

— Какие новости, капитан? — отрывисто спросил он.

Васильев, всю ночь проведший в разведке, тихо доложил, что в деревне Мушакен находятся артиллерия

и пулеметы противника, что перед деревней Саддек им обнаружены кавалерийские разъезды германцев, что окружающие дороги заняты в беспорядке отступающими русскими и забиты обозами. Самсонов слушал молча и кивнул головой, как бы отпуская Васильева. Но капитан не уходил. Он сделал шаг к генералу, вытянулся и голосом, в котором были преданность, просьба и служебная суховатость, сказал:

— Ваше высокопревосходительство, я хорошо знаю местность. Штабу надо выбраться отсюда, разрешите мне выполнить это?

Самсонов все так же молча смотрел на него, и вдруг испуганное выражение появилось на его лице.

— Нет, зачем же? — как бы защищаясь от предложения Васильева, сказал он и быстро пошел к автомобилям.

Там уже толпились офицеры. Среди них выделялась высокая, сухая фигура генерала Нокса, одетого в хаки.

— Генерал,— сказал Самсонов, отводя Нокса в сторону и, видимо, торопясь высказать то, что он хотел,— я считаю своим долгом осведомить вас (тут он запнулся, подыскивая слова), да, осведомить вас, что положение моей армии стало критическим. Мое место при войсках, но вас я прошу вернуться, пока еще возможно это сделать. Прошу вас, передайте, что я остался на своем посту.

Нокс протестующе поднял руку, но Самсонов, отвернувшись от него, приказал, чтобы все автомобили шли на Вилленберг. Он с упрямым выражением лица следил за тем, как, подымая пыль, машины уходили по лесной дороге, и слабым движением поднес руку к козырьку, отвечая на приветствие Нокса, сидевшего на задней машине.

— Мы поедем в Надрау, господа,— тихо сказал он, ни на кого не смотря.— Прикажите дать нам лошадей.

14

Командир конвойной сотни, есаул со смуглым, восточного типа лицом, исподлобья посматривая на генерала, точно он не верил отданному им приказанию, отбирал восемь лучших лошадей, шопотом ругая каза-

ков, неохотно слезавших с седел (сотня уже стояла в строю). Самсонов тяжело перенес грузное тело через круп маленького донского коня, поймал ногой стремя.

Васильев решил двигаться за штабом, держась от него на расстоянии версты. Он обошел батальон, шутил с солдатами, старался показать им, что ничего плохого не случилось. Но отчаяние охватывало его. Он понимал, что штаб, попав в гущу отступающих войск и оторвавшись от всяких средств связи, обезглавил армию, лишил ее руководства.

Среди сосен с их грозной темной хвоей стоял клен, и его лапчатые листья краснели по-осеннему ярко. Все, проезжая мимо, внимательно смотрели на красивое дерево.

Не прошло и часа, как вся картина отступающей, развалившейся и дезорганизованной армии, картина, напоминающая процесс разложения огромного трупа, открылась перед ними. Они вышли на дорогу, ведущую из Мушакена в Янов. Вся дорога была забита повозками, орудиями, зарядными ящиками, походными кухнями. Закинув за плечи винтовки, без всякого строя шли толпы солдат. Одни молчали, другие громко разговаривали между собой. Тут же с безучастным видом лежали на траве и под деревьями сотни людей. Среди солдат попадалось немало офицеров. Они угрюмо посматривали на штаб.

Штаб пересек шоссе и по неширокой тропинке углубился в лес. Вдруг послышались выстрелы. Стреляли из деревни, дома которой виднелись сквозь редкие деревья.

Постовский посоветовал обойти деревню, пробираться на Вилленберг. Штабс-капитан Дюсиметьер с двумя казаками поехал на разведку. Прошло около часа. Самсонов, сгорбившись, сидел в седле, лицо у него осунулось, под глазами легли черные тени. Дюсиметьер прискакал галопом и доложил, что Вилленберг занят неприятелем. Все молчали. Выходы в тыл были отрезаны. Оставалось пробиваться силой. Самсонов слез с седла, пошел в лес. Сосновые иглы скрипели под его ногами. Лес был старый, мощные строгие сосны стояли, как колонны древнего храма, сделанные из гравированной бронзы. Самсонов услышал легкие шаги и

оглянулся. К нему подходил офицер маленького роста, с соломенными усиками, тонким широким ртом.

— Ваше высокопревосходительство,— тихо сказал Васильев,— вы меня видели вчера ночью и приказали остаться при штабе (Самсонов сделал отстраняющее движение и сказал: «Не нужно, никого не нужно»). Но офицер не уходил. Синие глазки смотрели сурово, сильнейшее волнение выражалось в его лице.

— Ваше высокопревосходительство,— сказал он, вытягиваясь.— Я поступаю не по правилам, вы можете взыскать с меня, но сейчас я говорю с вами, как русский офицер со своим начальником в страшную минуту ответственности перед родиной, которую мы оба защищаем. Ваше высокопревосходительство, тыл отрезан, но там,— он показал на запад и на север, — там идут два наших корпуса. Может быть, их еще можно собрать (это нужно сделать!), сосредоточить в одном направлении, прорваться с ними из кольца. Ведь армия еще цела, надо только взять ее в руки. Умоляю вас, ваше высокопревосходительство...

Голос Васильева дрогнул, осекся.

Самсонов стоял, опираясь спиной на ствол дерева.

— Вы думаете? — медленно спросил он. — Нет, нет, я не знаю, как это можно сделать. Ведь все развалилось, нет никакого управления, нет связи с частями...— Самсонов говорил, как в забытьи.— А потом, такие командиры корпусов, как Артамонов, как Благовещенский, они же мне фланги проиграли. Другие не лучше... Разве один Мартос. Как же воевать при таких условиях? Нет, теперь ничего нельзя исправить, теперь можно только умереть, чтобы не влачить куропаткинское существование,— усмехнулся, точно поморщился, он.

Он вдруг шагнул к Васильеву, обнял его, поцеловал в губы и пошел, наклонив голову, по-старчески сгибая колени. Васильев стоял, пока Самсонов не скрылся из вида. Потом вернулся к своим.

С каждым часом размеры катастрофы, постигшей русскую армию, становились яснее. На небольшом пространстве лесов и болот, все больше сгущаясь в своей массе, теснились десятки тысяч растерянных, измученных и голодных солдат, многие из которых вели успешные бои с немцами и до сих пор не могли понять, как

это вышло, что они, наступавшие и бравшие пленных, очутились в таком положении. Разрезанная на несколько живых кусков, армия слепо ворочалась в мешке, тонкие стенки которого она могла бы легко прорвать, если бы нашлись инициативные и энергичные штабы, сильные и хладнокровные вожди. Слабый кордон первой германской дивизии был растянут на несколько километров по шоссе Нейденбург—Вилленберг, и два русских корпуса, стеснившиеся в районе Грюнфлисского леса, не пытались прорвать этот кордон. На севере в полной прострации пребывала первая армия. Но еще ближе, всего в пятнадцати километрах от окруженных корпусов, дралась третья гвардейская дивизия. Против нее действовали всего три батальона германцев, и, потеснив их, дивизия заняла Нейденбург. Ей нужно было сделать еще одно, последнее усилие — захватить деревни Мушакен и Напивода, и тонкое германское кольцо вокруг центральных корпусов Самсонова было бы разорвано, положение германцев могло стать критическим.

Была ночь, над пылающим Нейденбургом стояло зарево горящих домов, редкие выстрелы слышались с германской стороны. После полуночи начальник дивизии генерал Сирелиус, слабовольный неустойчивый командир, опасаясь обхода, которого не было, решил отступить. Так стоящий на берегу человек видит, как тонет его товарищ, он уже входит в воду, чтобы спасти его, но вдруг, охваченный малодушием, бежит. Дивизия Сирелиуса отступила, не дожидаясь рассвета. Гвардейцы бежали так поспешно, что бросали орудия, винтовки, боевое снаряжение. Целые роты сдавались небольшим дозорам.

Восходящее солнце осветило высокие сосны Грюнфлисского леса. На узких лесных дорогах, в оврагах, усыпанных хвоей, под каждым деревом сидели и лежали русские солдаты. Здесь были люди из нескольких корпусов — пехота, артиллерия, обозы, саперы, пулеметчики. Паника, трепавшая их еще накануне, теперь затихла. Все они были так изнурены и деморализованы, что не были в силах ничего больше предпринять. Они лежали с выражением полной апатии на худых, заросших лицах, слушали артиллерийский и ружейный огонь,

грохот которого доносился к ним со всех сторон, ждали решения своей судьбы. Всего лишь неделю тому назад это была гордая, полная боевого духа армия, составленная из лучших кадровых частей и запасных самых молодых возрастов. Она обладала превосходной артиллерией, она была храбра, и когда сталкивалась с неприятелем в открытом бою, и когда ею правильно руководили, она действовала решительно и била противника. Несколько раз она ставила германцев в опасное положение, но в тот момент, когда крепким толчком надо было довершить начатое дело, проявить сильную волю, инициативу — некому было это сделать.

15

В ту же ночь, когда третий батальон наткнулся на штаб армии, Бредов встретил своего старого приятеля Новосельского. Он удивился перемене, которая произошла с блестящим капитаном генерального штаба. Лицо Новосельского осунулось, в глазах был нездоровый блеск, большие зубы казались еще крупнее оттого, что у капитана ввалились щеки. Бредов был подавлен событиями последних дней и ни о чем не спрашивал Новосельского. Но тот сам начал разговор.

— Помнишь,— усмехаясь, сказал он,— как ты, прости меня за откровенность, высокопарно говорил о генеральном штабе. Мозг армии — называл ты нас, и вот смотри, как точно мыслит этот мозг, как прекрасно управляет он всем организмом армии.

Они сидели на поваленной сосне. Высоко над ними горели звезды. Липкая смола пачкала их одежду, но оба не замечали этого.

— Я состарился за эти дни,— глухо продолжал Новосельский, ковыряя стэком землю.— Еще в начале войны мне пришла в голову проклятая мысль: вести стратегический дневник всей нашей операции. Думал, что получится замечательная вещь, памятник нашего героизма, нашего военного искусства во вторую отечественную войну. Я копировал, я собирал все приказы по армии, по фронту, по корпусам, делал выписки из полевых книжек наших высших начальников. И знаешь,— он сухо рассмеялся,— это совершенно ужасно,

то, что получилось. Если мы — мозг армии, то мозг разжиженный, да, да. Судя по этой операции, мы страдаем размягчением мозга.

Его позвал генерал Постовский. Он ушел, не прощаясь с Бредовым, горбя плечи, вяло передвигая ноги. Бредов смотрел ему вслед, охваченный страхом, чувствуя, что эти слова, эта ночь, окаймленная далекими заревами, суровые, ставшие чужими солдатские лица ломают его, путают так, что он ничего, ничего не может понять. Он бродил по лесу, натыкаясь на деревья. Косматые тени метались перед ним, ночное небо приняло буроватый зловещий оттенок.

...Весь следующий день батальон метался по Грюнфлисскому лесу. Жизнь армии затухала тут. В гигантской западне стеснились солдаты. Иногда они делали отчаянные, напоминающие агонию попытки прорваться. Батальоны, полки развертывались неровными цепями, бросались вперед с последней храбростью смерти. Глухое «ура» вспыхивало, как предсмертный крик, и стрекотание германских пулеметов, выстрелы германских орудий тушили эти крики. Цепи в беспорядке возвращались в лес, падали на землю.

Васильев был молчалив. Он ехал на своей пегой толстоногой лошадке, сбочившись, в рассеянности опираясь левой рукой на окованную медью луку седла. В рядах батальона шли Карцев, Черницкий, Голицын, Рогожин.

Батальон проходил как бы сквозь строй разбитых корпусов. Два солдата стояли в стороне от лесной дороги и разговаривали. Они одновременно повернули головы, и Карцев узнал их. Это были Мазурин и Мишканис. Мишканиса Карцев не видел с того времени, когда литовца вернули из побега. Черницкий тоже увидел их. Он первый вышел из рядов. Карцев последовал за ним. Лицо Мишканиса было спокойно. Он радостно пожал руки солдат.

— Здорово,— сказал Карцев,— как тебе служится?

— Вот домой собираюсь,— просто ответил Мишканис. Карцев внимательно посмотрел на него.

Мишканис был такой же, каким видел его Карцев в первые дни своей военной службы,— крупный бело-

курый человек с толстыми ногами, с неторопливыми движениями.

— Да, я собирался,— ответил он,— да, я не хочу здесь больше оставаться. Но я не знаю, куда я пойду. У меня нет дома.

— Дом мы тебе найдем,— тихо сказал Мазурин,— и товарищей найдем.

Третий батальон остановился. Вся дорога перед ним, все пространство леса было забито солдатами. Мазурин сосредоточенно смотрел на них.

— Когда уезжали на фронт,— заговорил он,— старик один, хороший старик, сказал мне, что война учит людей жестокой наукой. Много будет у нас ученых после этой войны.

— Чем же все-таки это кончится? — спросил Черницкий.— Если было начало, должен же быть конец. Боюсь только, что конец будет для нас очень скучный.

— Я не буду дожидаться конца,— упрямо сказал Мишканис.— Меня много били в моей жизни, мне причиняли много несчастий. Мне противно терпеть за тех, кто меня гнул к земле. Да, я ухожу с войны.

Тяжелый германский снаряд разорвался над лесом. С треском рухнуло дерево. Расщепленный сук упал совсем близко от солдат, зеленые, точно испуганные листья дрожали еще несколько секунд после падения. Сухой, небольшого роста генерал, сердито помахивая рукой, прошел мимо них, сопровождаемый офицерами.

До них донесся дребезжащий голос Васильева. Что-то происходило в лесу. Офицеры подымали солдат, высокий полковник звучным голосом говорил, что немцев на шоссе совсем мало, и молодецкий удар может вывести русских из окружения.

— Бодрей, бодрей, ребята! — кричал он.— Кто останется, тех побьют, как куропаток.

Конные ординарцы скакали по узким тропинкам, развозя приказания, судорожная жизнь вспыхивала среди мертвых полков, батарея, грохоча колесами, выскочила на самую опушку, снялась с передков, и первая очередь шрапнели брызнула по шоссе. Нестройные цепи выбегали из леса и бросались на немцев. Васильев, отшвырнув свою сабельку, с винтовкой шел

впереди батальона. Громкое «ура» доносилось справа, ожившие батареи галопом выезжали на позиции.

Это была последняя атака левой колонны окруженных самсоновских корпусов, состоявшей из 36-й дивизии и примкнувших к ней частей.

Рядом с собой Карцев видел яростное лицо Черницкого, ощерившегося Рогожина, сурового бородатого Голицына. Луг перед лесом был болотист, покрыт кочками. Сапоги у солдат был полны воды, но они, не замечая ничего, бежали в атаку. Отчаяние, последняя надежда прорваться гнали солдат и офицеров. Они атаковали так стремительно, что германские шрапнели рвались далеко позади, пули летели высоко над головами.

— Достигли, достигли! — заревел Голицын.—Бей их, братушки...

Близко перед собой Карцев увидел шоссе, низкие брустверы перед шоссе и каски и фуражки германцев. Одни бежали, другие падали, третьи бросали винтовки и подымали вверх руки. Германская бригада генерала Тротта, застигнутая врасплох, была разбита, двадцать орудий и сотни пленных достались русским. Но когда кончился бой, войска остановились, не зная, что делать. Управление, организованное штабом дивизии, куда-то исчезло. Очевидно, штаб не был уверен в успехе предпринятого им маневра. Высокий полковник бросился вперед, когда появились свежие германские батальоны, но остатки его полка и сам он погибли в бесплодной атаке. Растерянные солдаты, никем не руководимые, побежали обратно в лес. Германцы не преследовали их.

Медленно надвигалась ночь. Огромный Грюнфлисский лес, в котором находилось много десятков тысяч людей, был все же тих. Все то, что люди скопили из своей последней энергии, было полностью исчерпано ими. Дух их был мертв, никакая сила не могла больше поднять их. Так они лежали до рассвета и дальше — весь день до тех пор, пока не приходили германцы, забирая их, как богатую жатву. Армия умерла морально и физически — девяносто тысяч нераненых солдат, пятьсот орудий, огромнейшее количество боевого материала досталось противнику.

Третий батальон не сдался вместе со всеми. Васильев

вывел его в узенький просвет, который он заметил в германской линии. Десятая рота шла в атаку в центре батальона. Бредов был впереди цепей. У него ввалились щеки и виски, в глазах светилась мука. Ему казалось, что мир рушится вокруг него, что он ступает по его обломкам.

— Ближе, ближе,— бормотал он, прислушиваясь к тонкому, как щенячий визг, свисту и вою германских пуль,— ближе ко мне, конец, скорее конец.

— Ближе, ближе,— шептал он,— ради бога, ближе ко мне,— и шел вперед, приближаясь к тому, что могло дать ему какое-то решение. И когда больно хлестнуло его по груди и стало тянуть к земле, он не сделал никакого усилия, чтобы удержаться на ногах, и упал с чувством успокоения, с чувством сладостного конца, пришедшего после тяжелых, унизительных мучений.

Батальон с солдатами, приставшими к нему из других полков, прорвался сквозь слабую цепь германцев и, проблуждав два дня в лесах и болотах, присоединился к своим.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

1

Из ворот серого четырехэтажного дома в Денежном переулке вышел высокий худой человек, заросший бородой. Кожа на его лице была белая с нездоровым оттенком, свойственным людям, долго находившимся в тюрьме или в больнице. Он нерешительно огляделся, точно улица пугала его, и пошел направо, к Арбату. Узкий Арбат был полон шумного стремительного движения людей, повозок, автомобилей и трамваев. Среди пешеходов попадалось много военных, на домах часто встречались флаги с красным крестом на белом поле. Бородатый человек шел осторожно, держась возле стен. Видно было, что он отвык от городского шума. Кто-то толкнул его, или он кого-то толкнул в уличной тесноте, и он рассеянно продолжал свой путь. Но его схватили за плечо, и он увидел перед собой небольшого круглолицого офицера. Тогда бородатый человек с сожалением взглянул на свою солдатскую шинель, точно он забыл, что одет в нее, и поднес руку к фуражке. Произошла молчаливая сцена. Офицер глядел с возмущением, а солдат всем своим видом показывал, что он виноват.

— То-то же, — сказал офицер, — ты должен знать, как надо вести себя на улице.

Сладкая дидактика, бывшая в его словах, видимо, опьянила его самого, и он, значительно посмотрев на проходивших мимо людей и грозно на солдата, пошел своей дорогой. Мазурин задумчиво глядел на его маленькую, торжественную фигурку. Офицерик был совсем новенький, вероятно, только недавно призванный. Новые ремни скрипели на нем, новенький кобур болтался сбоку, погоны сияли на плечах. Рука его ритмично подымалась к фуражке, отвечая на козыряние солдат, он был чем-то очень похож на китайского бож-

ка, и Мазурин улыбнулся, следуя своим мыслям. Он вошел в подъезд высокого с готическими башенками дома и поднялся на третий этаж. Перед дверью он подождал, тяжело дыша — после раны еще трудно было ходить. Внимательно прочел медную табличку на дверях и позвонил. Ему открыла маленькая, очень толстая женщина и подозрительно его оглядела. Мирно улыбнувшись ей, Мазурин спросил, можно ли увидеть господина Чантурия. Не пропуская Мазурина в двери, женщина громко позвала: «Серго Иванович», — и, прислушавшись к чему-то, чего не слышал стоявший на площадке Мазурин, неохотно пропустила его. В дверях комнаты, выходящей в коридор, стоял среднего роста смуглый человек с черными вьющимися волосами. Он отступил в сторону, пропуская Мазурина, и плотно притворил дверь. Несколько секунд он прислушивался к тому, что делалось в коридоре, потом быстро подошел к Мазурину.

— Чем могу быть полезен? — сухо спросил он.

— Я из военного госпиталя, — тихо сказал Мазурин, — вышел сегодня в первый раз. Ваш адрес мне дал Абрам с Прохоровки. Я — Мазурин. Служил в Моршанском полку. Говорил вам Абрам, что я могу к вам явиться? Вот мои документы.

Чантурия как бы с недоумением бросил взгляд на бумажку, в которой значилось, что рядовой Мазурин находится на излечении от раны в военном госпитале, потом внимательно посмотрел на Мазурина и протянул ему руку.

— Знаю тебя, — сказал он и сразу сделался другим — смуглое, узкое лицо помолодело, — о тебе Абрам сильно беспокоился, думал — убили тебя. Рассказывай, как там на фронте.

— Лучше ты рассказывай, — вспыхивая от радости, ответил Мазурин. — Я ведь столько месяцев ничего не знал, что в России делается.

— Особых новостей нет, — сказал Чантурия, — знаешь, в какое подполье нас сейчас загнали. Всех наших депутатов в Думе арестовали, душат нас, травят, как крыс.

Он говорил о страшных делах, о провалах и гибели товарищей, но его, узкое, с горбатым носом лицо было овеяно энергией и добродушием; так врач говорит о тя-

желой операции, в благополучном исходе которой он все же уверен.

Мазурин слушал волнуясь. Поминутно вскакивая со стула, он прерывисто задавал Чантурия новые вопросы.

Волнуясь, Чантурия твердо выговаривал слова, произносил их с сильным грузинским акцентом. Он достал откуда-то листок, покрытый убористым шрифтом пишущей машинки, и протянул Мазурину.

— Садись, читай, — сказал он.

Мазурин несколько раз перечитал первую фразу, — смысл ее трудно давался ему. Мозг, ослабевший от долгой болезни после раны, как-то тяжело, без обычной упругости, воспринимал сочетания трудных слов.

«Тяжелее всего в теперешнем кризисе, — напрягаясь, читал Мазурин, — победа буржуазного национализма, шовинизма над большинством официальных представителей европейского социализма».

«Значит плохо, — подумал он, — раз национальное берет верх, какой же может быть тогда международный союз рабочих? Но это я знал, я перед самой войной читал письмо Вандервельде. Что же надо делать теперь, какой теперь выход?»

И он стремительно пробегал глазами черненькие шеренги букв:

«У немцев картина ясна: оппортунисты победили, они ликуют, они «в своей тарелке». «Центр» с Каутским во главе скатился к оппортунизму и защищает его особенно лицемерными, пошлыми и самодовольными софизмами».

И он опять бросился на колонны черных букв, вырывая у них ответы на жгущие его вопросы, и холодок охватил его, когда вся глубина того, что тут было написано, открылась перед ним. Он читал:

«Буржуазия одурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологией «национальной войны». Пролетариат разоблачает этот обман, провозглашая лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну».

Мазурин поднялся, не в силах усидеть, охваченный хмельной радостью.

— Товарищ Чантурия, — сказал он, — понимаешь, что эти слова означают? Ведь я фронтовик, я их воспри-

нимаю иначе, чем те, которые здесь живут. Мы войну в другое русло должны направить. Понимаешь — в другое... Если еще хоть полгода повоюем, половина солдат тогда поймет, какую им войну надо вести. Кто же написал эту статью?

— Кто написал? — ворчливо ответил Чантурия. — Конечно, Ленин написал. Плеханов не напишет, и Чхеидзе тоже. Из Женевы получил статью.

— Я без нее на фронт не вернусь, — сказал Мазурин, близко подойдя к Чантурия.—Нет, я без нее на фронт не вернусь, — повторил он. — Ты почитай дальше, что там в конце (Чантурия улыбнулся и кивнул головой, показывая, что он помнит конец статьи), вот: «II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом...» Две фразы я пропускаю и читаю заключительную: «III Интернационалу предстоит задача организации сил пролетариата для революционного натиска на капиталистические правительства, для гражданской войны против буржуазии всех стран за политическую власть, за победу социализма!» [1]

Он гладил листок, не хотел выпустить его из рук.

— Подожди брать, — строго сказал Чантурия, — возьмешь, когда на фронт поедешь.

Прощаясь, он предложил:

— Вот что, если хочешь в Петроград ехать, устроим. Там будет суд над депутатами Государственной думы. Может быть, работа найдется.

2

Мазурин медленно вышел на улицу. Вечерело. Синие тучи ползли над городом. Загорались первые огни. У Арбатских ворот его чуть не сшибли сани, крытые меховой полстью. Они пролетели мимо него и остановились у ресторана. Густой пар подымался от рысака, красная кучерская шея выпирала из воротника. Двое людей стали вылезать из саней. Один из них, высокий, с мокрой рыжей бородой, помогал выйти другому, черненькому, в золотых очках человеку в дорогой

---

[1] Ленин, Положение и задачи Социалистического Интернационала, т. XVIII, стр. 67—71.

шубе. Черненький вышел, шатаясь, и почти упал на Мазурина, проходившего по тротуару.

— С-солдат, — сказал он, подымая палец левой руки (правой он крепко держался за своего спутника), — п-приветствую с-союз фронта и т-тыла. Д-дай я тебя поцелую.

Он вытягивал красные, обросшие бородкой и усами губы, за стеклами очков неприятно мутнели его глаза, и Мазурин поспешно отступил, чувствуя, как душная ненависть комком подкатилась к горлу.

Вид у пьяного был в высшей степени благодушный. Бобровая шапка покрывала лоб, носик вылезал из-под низа меховой коричневой башни красным, веселым, пузырем, и от всего черненького человечка шло пьяное тепло.

— Н-ну, — вопросительно сказал он, — н-не хочешь?

Мазурин оттолкнул его и пошел дальше. Огромные окна ресторана сияли над ним белым светом. Пальмы и цветы стояли за окнами, глухие взрывы музыки доносились из-за них. Солдат перешел улицу и несколько минут смотрел, охваченный невеселыми мыслями.

Он вдруг по-новому ощутил себя, слабого, раненого, обросшего больничной бородой, в помятой солдатской шинели, стоящего тут, на московской улице.

— Ну-ну, — тихо сказал он, — подтянись, Мазурин.

И, оторвавшись от стены, пошел вперед. Яркие потоки света ослепили его. Огненные кольца вспыхнули по другую сторону площади, чье-то знакомое лицо появилось перед ним, сияя вечной улыбкой, показывающей крупные зубы. Мазурин долго смотрел на него, улыбнулся какому-то хорошему воспоминанию, связанному с этим лицом, и подошел ближе. Вестибюль кино был залит светом. Щедрые, радостные потоки лучей изливались на стены, на пол, на людей. Здесь утверждалась какая-то другая жизнь, похожая на пену, приподнятую на гребнях волн. И Мазурин с удивлением подумал, что острее и ярче становится для многих жизнь, что они празднуют ее, не оглядываясь кругом, не желая замечать ничего, что могло бы помешать их празднику.

— Солдатик, солдатик, ты с фронта, не правда ли? Это же сразу видно... Милая, видишь, какой он бледный и небритый... там же ужас, там же страдают за ро-

дину... Ты недавно оттуда? Да? Расскажи нам, как вы там живете, серые герои.

Розовую шершавую ткань лица просекали тонкие лучи морщин, синие подведенные глаза пытались сиять по-молодому. Мазурин осторожно отодвинулся от женщины, от шелка ее платья, от душистого меха воротника. Вокруг него уже сближались жадные лица, чья-то завитая барашком бородка нежно двинулась к нему, и кто-то вздохнул глубоко и сладко, в предчувствии патриотической беседы. Как и в первый раз, он ушел, и лицо Макса Линдера смеялось ему вслед — лукавым взглядом.

...Так они живут. Кино, театры и рестораны сверкают, кипящее весе́лье выплескивается оттуда на улицу. Миллионные подряды на нужды фронта. Рубашки, кальсоны, гимнастерки, шаровары для солдат. Патроны, шрапнели, гранаты. Орудия. Походные двуколки. Индивидуальные пакеты в прорезиненных мешочках. Бинты, марля, вата. Овес и сено для лошадей, рожь и мука для людей. Правительство покупает все, все, все. Комиссии утверждают заказы. Великие князья и товарищи министров руководят комиссиями. Знаменитые в этих кругах дамы устраивают заказы. Они могут замолвить словечко там, где надо. Дорогое словечко. Оно оценивается золотом, даже бриллиантами.

Снаряды могут не подходить к орудиям, сапоги могут разваливаться через два дня после того, как надели — это неважно. Дело в том, чтобы получить подряд. Волшебное слово! Оно преображает людей, оно меняет их жизнь, их судьбу. Да здравствует война! Все патриоты, все любят Россию, все хотят ей служить, защищать ее. Каждый хорошо одетый человек — патриот.

В центре площади, высоко поднимаясь к небу толстым красноватым куполом, стоял храм. Широкие каменные ступени вели к паперти. На паперти по обеим сторонам от входа толпились нищие. Среди них сидел безногий человек в солдатской фуражке, с Георгием на груди. У него было здоровое лицо, поросшее рыжими волосами, его туловище покоилось на кожаной подушке, пристегнутой к дощечке на двух колесиках. Храм был полон молящимися. Церковный староста продавал свечки. Желтые, ленивые огни светились по всей церкви. Бас протодьякона, густой и низкий, как звук боль-

шого колокола, взывал к небесам. Хор просил победы христолюбивому русскому воинству. Потом дьякон поминал какого-то болярина Петра, живот свой за веру и отечество положившего. Тихо плакали женщины. Теплый воздух церкви был насыщен запахом ладана и воска. Солдат с лысой головой и бачками, видно, бывший лакей, молился, распластавшись на грязном полу. Старушки с умилением смотрели на него и шептались. Напудренные женщины с наколками сестер милосердия, с подносами, на которых горели свечи, собирали деньги. Медяки звякали о поднос. Староста, позевывая, сортировал свечи, думал, что сейчас служба кончится, и можно будет пойти домой пить чай. Мазурин встретил его равнодушный взгляд, посмотрел на солдата с бачками и ушел из церкви, сердясь на себя за то, что зашел сюда. У самых дверей кто-то осторожно взял его за руку. Он оглянулся и встретил ласковый девичий взгляд. Ему понадобилось две секунды, чтобы вспомнить, кто эта девушка.

— Вот не ожидала вас видеть в церкви,— смеясь, сказала она, протягивая ему руку.

— Но ведь и вы здесь,— шутливо ответил Мазурин.— Здравствуйте. Семен в Москве?

— Брат в Иркутске, в военном училище,— ответила девушка.— Но вы должны зайти к нам.

— Боюсь, Елена Ивановна,— ответил Мазурин.— Вид у меня плохой, да и отец ваш вряд ли будет очень рад.

— Фу,— презрительно сказала она,— фронтовой солдат и стесняется. Папа будет рад, но самое главное, что я, я хочу вас видеть, понимаете?

Ему было приятно, что она так говорит, и он не возражал, когда она взяла его под руку.

— Хоть побриться бы позволили,— сказал Мазурин.— Ей-богу, посмотрите, стыдно со мной итти. Вы такая нарядная.

— Вы это бросьте,— негромко сказала девушка.— Не отпущу вас. Вы и так меня третировали, когда бывали у Семена. Помните? Придете, сидите у него в комнате, все говорите, говорите, даже чай в столовую не приходили пить, а если я зайду к вам, надуетесь, как сыч, и смотрите исподлобья... вот так...

Она показала, как он тогда смотрел, и оба засмеялись.

Они шли по Воздвиженке. Толстый городовой неодобрительно посмотрел на барышню, идущую под руку с бородатым солдатом, а против офицерского общества изящный поручик с рукой на черной перевязи движением стэка подозвал Мазурина и сказал ему, отчеканивая слова:

— Что же ты, братец, разве не знаешь, что нельзя нижним чинам итти на улице под руку? Пожалуйста, не забывай. Можешь итти.

3

Горничная открыла им дверь. Она растерянно посмотрела на Мазурина. В комнате у Елены Ивановны было хорошо. Широкая низкая тахта была забросана подушками, текинский ковер покрывал весь пол, настольная лампа была покрыта пестрым шелковым платком.

— Теперь будем говорить, — сказала девушка, — и, пожалуйста, не зовите меня Еленой Ивановной, зовите Леной.

Он неловко сидел на тахте — руки лежали на коленях — и смотрел на Лену.

Серые лучистые глаза смотрели на него прямо и грустно. Лена села рядом с ним и протянула ему руку.

— Несколько месяцев уже, — жалобно сказала она, — длится эта ужасная война. Люди стали другими, Семен уехал, папа занят работой на своем заводе, а те, кто встречаются со мной, говорят готовыми фразами, — я лучше буду читать газеты, чем разговаривать с ними. Поэтому я так обрадовалась, когда увидела вас. Вы спорили с братом, вы побеждали его, хотя он учился в университете, а вы рабочий. Мне всегда казалось, что вы очень много знаете. Пожалуйста, скажите мне, что же происходит теперь у нас, почему эта война?

Он ласково и внимательно слушал ее, но ему совсем не хотелось говорить с ней. Все это казалось ему несерьезным, ведь ее жизнь идет своим, уже хорошо налаженным путем, и то, что тревожит ее сейчас, вероятно, скоро пройдет. Он пытался ответить ей несколькими общими словами. Она покраснела.

— И это все? — жестко спросила она. — Разве такие ответы мне нужны?

— Чего же вам надо? — спросил Мазурин. — Я вам говорю — война. Люди стали другими? Да, война многих переделает. Но не так, как вы думаете... Впрочем, те, кто окружает вас, думают совсем иначе. Россия, родина, страшный враг, героизм, это все на словах, а на деле — совсем другое.

Она слушала его, сжав руки, иногда удивленно посматривала на него, выражение беспомощности появилось на ее лице.

Мазурин осторожно пытался переменить разговор. Он заставил ее рассказать о Семене, узнал, как проходят ее занятия на высших женских курсах. Ему было приятно сидеть здесь, видеть девушку, вдыхать ее нежный запах. Он откинулся на подушки, вытянул ноги. Глаза у него стали ласковые, чуть насмешливые. Чувство покоя захватывало его. И когда Лена, увлеченная разговором, дотронулась до его руки, он вздрогнул — удивительно приятно было это прикосновение.

В дверь стукнули. Вошел пожилой человек, сухой, прямой, с очень высоким лбом и живыми зеленоватыми глазами. Брови у него были приподняты, и это придавало лицу вопросительное выражение.

— Помнишь, папа? — сказала Лена. — Это Мазурин, друг Семена.

Иван Осипович, угловато согнувшись, сунул Мазурину руку. Мазурин вспоминал, что отец Семена — крупный инженер, когда-то участник студенческих демонстраций, в девятьсот пятом году укрывал у себя известного эсера.

— Очень рад, — вежливо сказал Иван Осипович и, беглым взглядом скользнув по Мазурину, подчеркнул: — Очень рад. Вы давно с фронта?

Мазурин ответил.

Иван Осипович слушал рассеянно, ходил по комнате, похожий на журавля, и нервно хмыкал.

Лена, посмотрев на него, мягко сказала:

— Папа, что-нибудь случилось? — Поднявшись, она подошла к отцу. — Не скрывай, лысенький, — попросила она. — Вчера ведь ничего не было.

— Да, неожиданно вышло, — признался он. — И много — двести человек.

Она, как всегда, поняла его с полслова.

— Отказались работать? — спросила она. — Но ведь у вас там военное положение?

Он хмыкнул и вытянул тонкую, как циркуль, руку.

— Вот, господин Мазурин, — тоненьким голосом заговорил он. — Вы — солдат и знаете, что такое дисциплина и долг. Скажите, прошу вас, как вы отнесетесь к такому факту, когда ваши, ну, скажем, соратники бросают свой пост во время жаркого боя?

Он посмотрел, нагнув набок узкую голову.

— Мне трудно ответить, — сказал Мазурин, — я не знаю, в чем тут дело.

— Они отказались работать, — объяснил Иван Осипович. — Они работают на вас, на фронт, и они своей забастовкой наносят удар в спину родным братьям — русскому народу, который их защищает, защищает родную землю, страну, вспоившую их своим молоком.

— Каким же молоком поили рабочих? — спокойно ответил Мазурин. — Забастовка — тяжелая штука, и если рабочий идет на нее, то, значит, у него нет другого выхода. Почему, например, забастовали на вашем заводе?

Вопрос Мазурина ударил Ивана Осиповича, как палка. Он, прищурясь, посмотрел на солдата зеленоватыми глазами и, вдруг близко подойдя к нему, взял мазуринскую руку и два раза крепко пожал ее, высоко отставляя локоть.

— Я понял вас, дорогой друг, — сказал он. — Можете быть спокойны. Не мне забывать интересы российского пролетариата. Вы, когда ближе узнаете меня (я надеюсь, что так и будет), поймете многое... Я знаю и подпольщину, и аресты, и полицейскую нагайку. Я тружусь всю свою жизнь, и боевой дух старой русской интеллигенции жив во мне. Рабочий должен бороться за свои права, — но когда, когда?

Узкая его головка вздернулась кверху, светя зелеными искрами глаз.

— Плеханов, — шепотом говорил он, простирая руку, — неужели кто-нибудь может оспаривать великую прозорливость этого человека? А наши культурные братья, наши братья по борьбе — французские, бельгийские и британские социалисты: Вандервельде, Макдональд, Жуо. Люди, которых чтит не только рабочий

класс, но и все мыслящее человечество. Разве не они призывали рабочих защищать свое отечество от кайзеровских полчищ? Разве не они отложили свои споры с правительством во имя общей опасности? Заметьте, я говорю — отложили, а не забыли. Когда окончится война, в которую они так благородно включились, они опять начнут борьбу.

Он говорил, и Лена, гордо улыбаясь, слушала его. Поглядывая на Мазурина, она как бы звала его выразить свое одобрение словам отца. Но Мазурин сидел спокойно, смотрел без улыбки. Он думал о том, как много изменилось за несколько месяцев войны. В темных тучах войны, в густых и страшных потоках крови, заливших весь видимый горизонт России, ему мерещились смутные, почти незаметные просветления. Там, на войне, откуда он недавно вернулся, тысячи отчаявшихся и озлобленных солдат учились в суровейшей и беспощаднейшей школе. Он вспоминал долину Танненберга, сумрак Грюнфлисского леса, болота Мазурских озер, разбитые и раскиданные русские обозы, орудия, рухнувшие в канавы, дикие толпы солдат, переставших быть армией. А здесь на заводах, в сердце России, осталась другая армия, та самая, которая начала еще в мае прошлого года разведочные бои на флангах — в Баку и в Риге—и в июле вышла на баррикады и под расстрел в Петербурге.

Отец и дочь смотрели на него, они ждали ответа, и он поднялся.

— Откладывать нельзя,— просто сказал Мазурин,— откладывать то, что вы называете классовой рознью, нельзя, потому что народу, как вы называете фабричных и мужиков, народу не нужна эта война, а стало быть, не нужна и победа.

— О, это вы упрощаете,— сказал Иван Осипович.

Он перегнулся вперед, лицо у него было внимательное и напряженное, зеленоватые глаза потускнели, точно пыль покрыла их.

— Я привык уважать всякие воззрения,— сказал он и дружелюбно коснулся сухой рукой плеча Мазурина, — даже такие... такие крайние, как ваши. Но я уверен, что время научит вас. Я старый общественник, и мои друзья, и рабочие на заводе, где я работаю, хо-

рошо знают это. Уверен... время все исправит, а пока пожелаю вам лучших благ, мне надо работать.

Он крепко, точно пробуя силу Мазурина, потискал своей каменной рукой его руку и ушел. Горничная принесла чай и сухарики.

— Пожалуйста, ешьте больше,— попросила Лена так жалобно, что он засмеялся, и она за ним,— вы недавно после раны, и мне так хочется, чтобы вы выздоровели, стали сильным, ей-богу, хочется. Вы не смейтесь. Я ведь чувствую вас, я знаю, что вы мечтаете о новой, чудесной жизни. Я не скажу, что во всем с вами согласна, но вы упорный, не поступитесь своим, и я очень, очень ценю таких людей. Ведь вы романтик, Мазурин, правда?

Она провела рукой по его голове.

— Вы будете заходить ко мне? — спросила Лена.— Я очень одинока. Папа занят весь день, а с мамой я никогда не была близка.

Ему было хорошо с ней.

— Приду, — обещал он, — только если будете каждый раз гладить меня по голове.

Он поднялся и стал прощаться.

— Нет, еще немного, — попросила она и не выпустила его руки.—Вы не знаете, как мне хорошо с вами.

— Мне пора,— мягко сказал он.— Я ведь в военном госпитале.

— Обязательно приходите,— попросила она.

Она сама закрыла за ним двери. Он быстро прошел по улицам. В госпитале дежурный выругал его за опоздание. В палате горела только одна лампочка. Несмотря на позднее время, никто еще не спал. Огоньки папирос вспыхивали на кроватях. Больные тихо разговаривали. Маленький солдат с желтым лицом, впавшим на щеках и на висках, сосед Мазурина по койке, кивнул ему и показал головой на разговаривающих, приглашая послушать их.

— На этапе, конечно, все это видно,— продолжал рассказчик (он лежал у стены, и слушали его несколько человек),— если, скажем, на пленных половина положенного харча идет, так уже хорошо. Люто воровали начальники. Проверить их некому. А пленный хуже солдата. Известно — враг,— рассказчик едко подчерк-

нул последнее слово. — Так вот через наш этап проходили их целые тысячи. Русинов там много было, они по-нашему понимают. Пожалуйста, только разговаривай, свободно — потому, что начальство ими совсем не интересовалось. Ну вот, встретил я там одного человека, родом из Моравы. Это губерния у них такая в Австрии. Хороший человечек. Брехал он мало, но если заговаривал, было его приятно слушать. И рассказал он, как после первых же боев видел он русских пленных. Было их очень много. «А теперь,— рассказывает,— у вас наши пленные. Как же понять?»

Тут рассказчик сел и торжественно оглядел своих слушателей.

— Как же это понять? — уже от себя повторил он, упирая на каждое слово.— А вот как. Происходит обмен народом. Идут русские к австрийцам, а австрийцы к русским. Что хошь начальство, то и делай.

Он засмеялся и закончил, плавно помахивая рукой:

— Сами подумайте, ребяточки, что из этого может получиться? Прекращение войны, ей же богу. Чуть бои, а народ идет в плен. В разведку пошлют, а разведка тоже в плен сдается. Иди, устереги всю армию.

— Не устережешь,— тихо сказал больной, лежавший через кровать от рассказчика.— Однако же долго, я думаю, придется нам перебегать друг к другу. Я бы другое захотел. Скорейше бы.

— Нам полковник говорил про землю, — тоненько заговорил костлявый длинный солдат (койка была ему коротка, и ноги высовывались между прутьями койки).— Завоюем германцев, и дели, дели, значит, их землю.

Ему никто не ответил.

В палату вошла маленькая толстая санитарка и сердито велела солдатам спать.

— Доложу дежурному врачу, полуношники,—сказала она,— что курите в палатах и разговариваете...

Ее осыпали веселыми похабными шутками.

Длинный костлявый солдат — все его звали Павлом — шептал ей, делая зазывающие движения руками:

— Маруська, Маруська, погости у меня на коечке. Разве тебя убудет? Богатая ты телом, девушка. Погостила бы, право... помоги раненому.

— Меня-то не убудет, да от тебя что останется,— сердито ответила Маруська. — Спи уж лучше.

Она ушла. Разговоры понемногу стихли.

4

Мазурин получил двухнедельный отпуск. Он решил ехать в Егорьевск, а оттуда в Петроград. Чантурия он видел еще раз. Худой, небритый, с оскаленными зубами, он бегал по комнате.

— Понимаешь, какой подлец, ах, какой подлец, — не здороваясь с Мазуриным, сказал он. — Сволочь такая.

— Ты про кого? — спросил Мазурин, думая о том, что литературу у Чантурия надо взять сейчас и отвезти ее к Кате.

— Про кого, про кого? Про Чхеидзе,— закричал Чантурия. — Он, сволочь, на свободе. Он в Сибирь с депутатами-большевиками ведь не поедет, а какие песни поет, какие песни...

И вдруг лицо его повеселело, он радостно засмеялся и, подмигнув Мазурину, сказал:

— А какой ему прием устроили в Питере... Прогнали его рабочие. Чуть не побили, ей-богу. Совсем говорить не дали.

Толстую пачку листовок он тут же отдал Мазурину. Мазурин спрятал их, дрожа от радости.

Он простился с Чантурия. Выйдя на улицу, Мазурин минуту раздумывал — итти ли к Лене, и, уже сделав несколько шагов по направлению к ее дому, решил не ходить. Его так сильно тянуло повидать Семена Ивановича, город, где прошли два года службы, и Катю, что он, быстро закончив все дела, уже в тот же вечер сидел в вагоне поезда, уходившего с Рязанского вокзала. В грязных фонарях неохотно горели толстые короткие свечи, при золотушном их свете, толкая друг друга узлами, пробирались люди, отыскивая место, где присесть. Слабый паровоз два раза рванулся, прежде чем сдвинул поезд с места. Вагоны скрипели. Одни пассажиры дремали, другие разговаривали. Перед Мазуриным неподвижно сидел бородатый человек. Он негромко спросил Мазурина, давно ли тот приехал с фронта. Они разговорились.

Бородатый охотно взял папиросу, предложенную солдатом, и огонек спички показал его тяжелое каменное лицо. Один глаз был мертвый, закрытый темным веком, другой смотрел остро и неприветливо.

— Кочуем, кочуем,— ответил бородатый на вопрос Мазурина, куда он едет. — Наше дело простое. Где положат, там и лежим.

Низким, придушенным голосом, таким же большим и тяжелым, как его лицо и тело, он рассказывал о себе:

— Такие, как я, всем знакомые люди. Жизнь у меня похожая на другие жизни. Я — кого ни спрошу, всегда свое узнаю: нужда, работа до ночи, несчастье какое-нибудь обязательно случилось, с места прогнали, запои бывали. Скажешь, что вон глаз у меня на заводе взрывом выбило, а мне отвечают: вот и у нас такой случай был. Живем мы, друг солдат, узенько, по дощечкам, по мосточкам. В сторону редко кто уйдет. Некуда.

Он в упор смотрел на Мазурина. Единственный его глаз вспыхнул недоумением.

— Обидно же, — в раздумьи сказал он, — трудно бывает, когда люди слепой жизнью живут. — И, оживившись, продолжал: — Вот, послушай, друг, как это случается. Работал я на кирпичном заводике. Паршивый был заводик и стоял он на горке. С одной стороны подходила к нему дорога, а с другой — овраг, весь в колючих кустах, а через кусты тропинка вела. Я как-то ночью на заводик возвращался. Спустился в овраг, ищу тропинку, и нет ее. Натыкаюсь на кусты, оборвался весь и не могу пройти. Час бился, измучился, плакать от злости хочется. Вот он, заводик, до него двести шагов, а не добраться. Пришлось итти обходом за пять верст. Утром пришел я в то место, где ночью мучился, посмотрел и охнул: господи, до чего же просто, когда светло. А ночью нельзя... пути не видно...

Он разволновался, засопел и как-то безнадежно повторил:

— Пути не видно, чего хуже.

Скоро заснули. Из-под пола доносились беспорядочные, унылые звуки, точно кто-то кашлял там железным заржавленным горлом, кашлял длительно и надрывно. Долго стояли на станциях. В соседнем отделении, не переставая, плакал ребенок, и никто не унимал

его. Серым утром приехали в Егорьевск. Сошли на деревянный обледенелый перрон. Мазурин осматривался, охваченный волнением. Отсюда он уезжал на войну, вот тут стояли Катя и Тоня, тут плакали женщины, полковой оркестр играл бравурный марш. Неужели с тех пор прошло всего несколько месяцев? Ему казалось, что грань, пересекавшая время, разрезала жизнь, развалила ее на не похожие один на другой миры. Он шел по улице, смотрел на красные корпуса Бардыгинской фабрики, слышал жужжание станков (фабрика работала на армию), тихий гул машин. Он ускорил шаги. Деревянный, с разбитым настилом мост, незамерзающая от горячих фабричных отходов Гуслянка, белый с колоннадой дом на горе — как это все знакомо и как страшно! Казарма двинулась на него так буднично грозно, так неумолимо, что он вспомнил фронт как нечто лучшее. Он свернул в переулок, узкий, лишенный мостовой, с редкими керосиновыми фонарями, прошел мимо того места, где поручик Юковский, сифилитик, жучил его за то, что он курил на улице, и вдруг задрожал и вскрикнул: поручик Юковский шел ему навстречу. Он был такой же большой, толстый, с черными рожками усов над красными губами, с пустыми выпученными глазами, с красноватым шрамом, который оставила болезнь на переносице. Лядащий, негодный к строю офицер, он был оставлен в запасном батальоне на хозяйственной должности. Поручик торжественно шествовал по улицам в защитной шинели, в портупее, с револьвером и шашкой, являя собою вид боевого офицера. Тупость чугуевского юнкера была завершена непоколебимым блеском мундира. Слава его товарищей, умиравших на фронте, осияла его, и он крал ее, как привык красть казенные деньги. С каким-то оцепенением смотрел Мазурин на Юковского. Казалось, что ничего не изменилось со времени начала войны. Он вытянулся и отдал честь. И офицер важно прошел мимо, потом покосился на солдата и остановился, покачиваясь на толстых ногах.

— Ты с фронта?— спросил он.

— Так точно, ваше благородие,— ответил Мазурин.

Офицер милостиво смотрел на него. Он полез в карман шинели, достал два двугривенных и протянул их Мазурину.

— Выпей за мое здоровье,— сказал он.

Мазурин знал испытания потяжелее этого. Он был выдержан и хладнокровен. И все же рука его дернулась назад. Он с усилием поднял ее. Отказываться было нельзя. Солдат не имел права не принять офицерской подачки.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие,— глухо сказал Мазурин.

Он подождал, когда офицер ушел, и бросил монеты в грязный снег. Бешенство и горе душили его. Прошел мимо знакомого домика и не мог войти. Долго стоял у ворот.

Достал кисет, закурил, жадно затягиваясь. С удивлением почувствовал, что сердце бьется неровно и часто, как после трудной работы.

Потом вошел во двор. Толкнул дверь. Кошка, выгибая спину и хвост, повела на него зеленым глазом, с узеньким, как восклицательный знак, зрачком, и Васена, Катина мать, выглянула в сени. Она вскрикнула, но серые, молодые на морщинистом лице глаза сохранили свое обычное, насмешливое выражение, и, подбежав к Мазурину, Васена притиснула его за шею к себе и несколько раз поцеловала в губы.

— Вот хороший, вот уж хороший, что приехал,— говорила она, радостно оглядывая его.— Погоди, не рассказывай, прибережем до Кати рассказ, вместе веселее будет слушать.

Она занялась своей работой, возилась у печи, но поминутно оглядывалась на Мазурина и разглядывала его, как дорогую обновку.

Прибежала Нинка, побледнела, увидев Мазурина, и, завизжав, прыгнула к нему, целуя и дергая за бороду. Потом унеслась стрелой и скоро вернулась вместе с Катей. Белокурая девушка похорошела от радости, и Мазурин, сжимая ее и целуя, не мог от нее оторваться.

— Вот это счастье,— тихо сказала Катя.— Надолго приехал?

Нинка, дразнясь, щипала старшую сестру и любовно поглядывала на Мазурина. Васена собрала обед и, насмешливо поджав губы, поставила на стол полбутылки.

— С тобой выпью,—сказала она Мазурину,—девкам не дадим.

Пили из зеленоватых граненых стаканчиков. Мазурин рассказывал о фронте, боях и выспрашивал, как живут в городе, что делается на фабрике. Он пошептался с Нинкой, как прежде, когда она выполняла его поручения, и девочка, накинув платок, убежала. Катя сжимала руку Мазурина.

— Скучала? — тихо спросил он.

Она погладила его по щеке, и он крепко обнял ее.

— На потом оставьте,— насмешливо сказала Васена.

— Ну, мать,— засмеялась Катя, и оба посмотрели на нее, не сердясь, так как знали, что Васена не умеет говорить без насмешки. Часа через два пришел Семен Иванович. Серенькая его бородка растрепалась, глаза сердито смотрели из-под очков. Он всплеснул руками и прижался щекой к щеке Мазурина.

— Обманула, обманула,— закричал он, грозя Нинке,— говорила, будто письмо от тебя пришло.

— Выпей на радости, Семен Иванович, — сказала Васена,— вот он какой гость.

— Выпью, выпью,— ответил старик,— знал бы, сам принес бутылку.

Он сел и, закинув очки на лоб, смотрел на Мазурина.

— Пощипала тебя война,— сказал он,— похудел ты против прежнего. Господи, сколько воды утекло! Неужели же только семь месяцев прошло?

— Эх, милый, родной. Налей нам, Васена. Сейчас бы музыку сюда.

Он притопнул ногой, глаза его сияли.

— Жаль, что умирать пора,— весело сказал он.— Я бы таких делов наворотил.

— Прибедняется,— задорно вмешалась Нинка, и ее тринадцатилетнее, чуть тронутое оспой лицо смотрело совсем по-взрослому.— Ты ему, Митя, не верь. Он как угорь везде вьется. Хитрый он старик — его не поймаешь.

— Вот поймаю,— угрожающе приподнялся Семен Иванович,—еще ты молода крыльями хлопать.—И, повертываясь к Мазурину, прошептал: — Золотая девка, куда хочешь проскользнет. Все, что ни скажешь,— сделает. Она у нас техник.

— Техник,—передразнила его она.— А кто меня техником сделал? Он.— И она, закрасневшись, показала на Мазурина.

— Выпьем еще, Семен Иванович,— предложил Мазурин.

Лицо у него покраснело, левой рукой он обнимал Катю, правой подымал стаканчик с водкой.

— Не хочу про войну вспоминать, давайте забудем сегодня все плохое.

— А я и так хорошим живу,— сказала Васена.— Вот ты приехал — хорошо. Дочки у меня отборные. День сегодня приятный был — солнечный, чистый. Вечером ляжешь спать, все плохое, как сквозь сито, просеешь, ан одно хорошее и останется. А завтра, думаю, еще лучше будет. Завтра не выйдет, я на послезавтра надеюсь. Вот так одним хорошим и живу.

— С мамой не пропадешь. — Катя потянулась к Васене и обняла ее за шею. — Уж как трудно ни будет, она все равно спокойная, не мечется.

— Мне вспомнилось,— улыбнулся Мазурин,— я большим проказником был, всех ребят во дворе избивал. Замучили мать жалобами. Она меня дерет свернутой жгутом тряпкой и уговаривает: «Уж лучше я, чем отец. У него больнее будет».

Нинка звонко захохотала. Белые зубы сверкали, как прибрежная галька, не высохшая от воды.

— Вот мне бы посмотреть,— захлебываясь смехом, прокричала она.— Голову в колени, штанишки спущены, а тряпка так и ходит, так и ходит... о...о...

— Сорока,—пробормотал Семен Иванович,—с тобой и сейчас это можно сделать, да не тряпкой, а ремнем.

Он повернулся к Васене.

— Ты бы нам, мать, чаю дала, — попросил он.

Достал бязевый платок, протер очки, задвинул их на лоб и сказал Мазурину:

— А приятно тебя здесь видеть, Митя. Течет она, жизнь человеческая, течет.

Васена налила ему чаю, и он, проворно кинув в рот кусочек сахару, стал пить.

— Суд вот в Петербурге будет над нашими депутатами,— сказал он.— Слыхал, что ли?

— Поеду туда,— ответил Мазурин.—Хочу до фронта пошататься по России. Через три дня поеду...

Старик закивал головой.

— Езжай, езжай... Ну, я пойду. До завтра?

— До завтра,— подтвердил Мазурин.— Я к тебе приду.

Он ушел. Васена, поджав губы, выносила свою и Нинкину постели из комнаты, где обычно все трое спали вместе, в кухню.

— Мама,— смущенно спросила Катя,— что же вы делаете?

— Да молчи уж,— ответила Васена.— Люди же мы... Попробуй ты без него ночевать... Выгоню, ей-богу.

И ласково толкнув дочь, крепко ее обняла.

— Люди же,— повторила она.— Хорошо ведь, жить хочется, ну и живите.

5

Ночью батальон вошел в деревню. Было так же темно, как и в поле, ни одного огонька не мерцало в избах. Солдаты разговаривали пониженными голосами, наталкиваясь друг на друга, тихо ругались. Долго стояли на улице. Никто не знал, будут ли здесь ночевать. Черницкий толкнул Карцева.

— Пойдем в хату,— шепнул он.

Усталый Карцев поплелся за ним. Они прошли в самый конец деревни. Сапоги увязали в грязи. Собака с коротким воем метнулась из-под их ног. Черницкий свернул к низкой черной хате, долго шарил дверь, стучал в нее кулаком. За дверью слабо хрустнуло, точно кто-то ходил по соломе, и лишь по слабому движению воздуха Карцев догадался, что дверь открылась. Черницкий тронул его за плечо, и Карцев, с трудом переставляя одеревянелые ноги, двинулся за ним. Узенький рыжеватый огонек показал низкие сени, деревянную, треснувшую внизу лопату, стоявшую у стены, и рассохшуюся кадку. Невысокая женщина, мягко переступая босыми ногами, повела их за собой. В избе было душно и тепло. Женщина поставила на стол керосиновую коптилку, которую держала в руке.

— Шо ж, сядайте,— сказала она певуче,— и чоботы, коли мокрые, скидывайте, просохнут к утру.

Она поправила пламя коптилки, и оно вспыхнуло ярче. Черницкий, поставив в угол винтовку, проворно стащил через голову походный мешок, отстегнул пояс вместе с подсумками и, усевшись на пол, кряхтя, стал снимать мокрые сапоги. Карцев делал то же, что и он, внимательно поглядывая на женщину. У нее было худощавое смуглое лицо, волосы плоско приглажены на голове, зубы молодо белели в овале полуоткрытого рта. Она неторопливо ходила по избе, что-то брала спорыми хозяйскими движениями, потом вышла за перегородку, и оттуда послышался ее негромкий, хороший голос и в ответ женский придушенный смех.

— Слава богу,— весело сказал Черницкий,— давно уже мы не слыхали, как люди смеются... Эх, хозяюшка, попал солдат в теплую хату, услыхал человеческий голос и уже легче ему жить.

Он встряхнул мокрые портянки, вытер полой шинели ноги и развесил портянки на веревочке возле печки.

Из-за перегородки вышла хозяйка. Обеими руками она несла большой чугун. Лицо ее сморщилось, она быстро поставила чугун на стол и помахала растопыренными пальцами.

— Горячо, — пояснила она, придвинула солонку и нарезала черный хлеб щедрыми толстыми ломтями.

— Ешьте, ешьте, — сказала она и, видя, что Карцев нерешительно смотрит на хлеб, добавила:— Хоть весь съешьте, я и с собой дам. А ну ж...

— Сели бы с нами,— попросил Карцев,— нам бы веселее было.

Она засмеялась и оглянулась на перегородку.

— Марина,— протяжно позвала она,— иди и ты, повечеряем с солдатиками.

За перегородкой послышался шорох. Поправляя на голове платок, вышла женщина и, неловко поклонившись, села рядом с хозяйкой. Хозяйка, придерживая тряпкой чугунок, чтоб не жгло руки, наливала суп в глиняную глазированную миску.

Оба они ели быстро и жадно, а хозяйка все подливала суп, нарезывала и подсовывала им хлеб. Женщины ели медленно, ложки носили ко рту над кусочком хлеба, чтобы не закапать стол. Карцев первый положил ложку.

— Спасибо, — сказал он, — давно уже так вкусно не ел.

Черницкий посмотрел на него с упреком.

«Вот сатана,— говорил его взор,— не мог подождать с благодарностью».

Марина поднялась, готовясь убрать со стола. Хозяйка положила ей руку на талию, удержала. Черницкий поглядел на них и спросил, осторожно доставая крошечную щепоть драгоценной махорки:

— Сестры?

Хозяйка покачала головой. Марина тихо сказала:

— Беженка я, чужая ей. Мужа у меня убили, деревню казаки пожгли. Пока у нее живу.

Ей было лет двадцать, не больше. В глазах не было выражения горя. Тяжелые свои слова она выговаривала как нечто такое, что давно прошло.

— Война. Кто без печали ходит? — подымаясь, сказала хозяйка. — Слез людям нехватит, если все вспомнить.

Черницкий сочувственно кивнул головой.

— Муж на войне? — осторожно спросил он.

Резким движением женщина сняла с головы платок, провела рукой по гладко причесанным черным волосам и, выпрямившись, объяснила:

— В плену. Вот уже полгода. Только одно письмо получила от него. Лучше ж, я думаю, ему, чем на войне. Живой ведь вернется? Есть ведь и там хорошие люди? А мне что? Одна живу, детей нет, работаю как-нибудь...

Она проворно и ловко стала прибирать со стола и, вдруг остановившись, с любопытством посмотрела на Карцева.

— Кого дома оставил? Тоскуют по тебе в России этой далекой? Правда?

— Никого не оставил,— улыбнувшись ей, ответил Карцев.— А муж у тебя в каком месте в плену?

Она открыла маленький шкафчик, висевший на стене, и достала письмо. Карцев посмотрел на почтовый штемпель.

— Рязань! — воскликнул он.— Мы же там в лагерях стояли. Вот как все получилось. Мы к нему в гости приехали, а он на нашем месте теперь сидит. Эх, хорошо там.

Женщина пытливо и как будто недоверчиво смотрела на него.

За окном послышался глухой, но мощный удар, стекло тоненько зазвенело. Марина вздрогнула и переглянулась с хозяйкой.

— Пушки стреляют,— спокойно сказала хозяйка,— разве ты не привыкла к ним?

Глухие удары повторялись с редкими промежутками, но люди в избе не обращали на них внимания. Они оживленно разговаривали. Карцев рассказывал хозяйке о том, как служил солдатом, о своем родном городе Одессе, о море, которое хотя и зовут Черным, но на самом деле оно синее, синее, и нет ему краю. Черницкий уверял Марину, что в России больше украинцев, чем в Галиции.

Легли поздно. Хозяйка задула коптилку и ушла с Мариной за перегородку.

— Хорошие бабы,— сонно сказал Черницкий,— здоровые... Эх, если бы...

Он не кончил фразы, его храп разнесся по избе.

Карцев проснулся точно от толчка. Было совсем рано. Синеватые сумерки рассвета едва намечали контуры предметов в хате. Черницкий ровно храпел. Из сеней, неслышно ступая, прошла хозяйка. Он сел и, когда она повернула к нему голову, кивнул ей, не в силах оторвать взгляда от ее стройных босых ног, от груди. Женщина остановилась, а Карцев с вдруг забившимся сердцем наклонился вперед, невнятно что-то шепча. Она шагнула к нему и, косясь на храпевшего Черницкого, взяла руку Карцева. Он потянул к себе теплое, мягко подавшееся ему тело.

6

Была ранняя весна. После длительных боев полк получил небольшую передышку. Стояли в местечке, красиво расположенном на высоком берегу реки. Река несла мутные, желтые от размытой глины воды, щепки, прутья, иногда целые кусты быстро плыли по течению и вертелись, попадая в водоворот, образовавшийся на изгибе реки. В местечке скопилось до трех полков, и, кроме того, над самой рекой в каменном двухэтажном доме, окруженном садом, где раньше была школа, по-

мещалась казачья сотня. Казачьи лошади были привязаны к деревьям, к забору, дымные костры, потрескивая, горели в саду, и от них далеко доносился запах жарившегося в огне мяса. Казаки лениво слонялись по местечку с лихо заломленными фуражками, из-под которых выбивались копны волос, с шашками на боку, с нагайками в руках. Они заходили в еврейские магазины, прицениваливались, долго торговались, потом брали сторгованную вещь и уходили, ничего не заплатив.

На узких кривых улицах было пусто. Часть жителей разбежалась, остальные старались пореже выходить на улицу. Во двор, где стояла десятая рота, прибежал сияющий Гилель Черницкий и отыскал Карцева и Рогожина.

— Тихо, ребята,— прошептал он, наклоняясь к ним (оба лежали на соломе под деревом),—если есть белье и мыло, гайда за мной.

Бородатый Голицын, лежавший в стороне, по лицу Гилеля увидел, что тот нашел что-то интересное, и, когда солдаты, захватив узелки, торопливо пошли со двора, он воровски побежал за ними.

— А дядю забыли, сволочи,— с упреком сказал он, нагнав их.— Ну, Гилель, куда ведешь?

— Четверых могут не пропустить,— проворчал Черницкий,— там может нехватить места для такого количества солдатских вшей. Но что с тобой делать, папаша, идем уж, помоем и тебя.

— Неужели в баню?— с таким восхищением в голосе спросил Голицын, что Черницкий сразу подобрел.— Ох, Гилель, нет тебе цены. Один секунд — я припасы возьму.

В радостном настроении солдаты шли за Черницким. На самом краю местечка они вошли в низенький, почти развалившийся домик. Почерневшая от дыма кирпичная труба слабо дымилась на крыше. Зеленоватая от плесени лужа раскинулась возле древних ступеней. В луже виднелась затонувшая разбитая шайка. Они вошли в предбанник с дощатым, щелистым полом. Вдоль стен, с которых извилистыми струйками стекала вода, тянулись широкие лавки, покрытые узлами одежды. Старичок с пожелтевшей, как страницы старой книги, бородой, в длинном до пят лапсердаке и в черном плюшевом картузике мирно приветствовал их и указал

аршин свободного места, где можно было оставить вещи. Голицын разделся с необычайной быстротой, захватил с собой серую, заношенную рубаху, мыло и, радостно гогоча, побежал в баню. Остальные последовали за ним. Баня была маленькая, грязная, угарная и к тому же доотказа набитая людьми. Голицын пристроился к небольшому волосатому человечку, потер ему спину и затем завладел его шайкой. Он забрался на верхний полок, голова его исчезла в густом молочном паре, и оттуда доносились его сладостные покрикивания. Скоро он покрылся снежной лохматой пеной и несколько раз сбегал вниз и поддавал пару. Черницкий пробрался к нему, они долго хлестали друг друга жиденьким веником и стонали от наслаждения.

Карцев пробовал пробраться к ним, но должен был отступить: горячий воздух обжег его. Наконец они слезли, красные, размякшие и счастливые.

Улица показалась им другим миром. Голицын с грустью оглянулся.

— Завидую я старичку,— сказал он, отжимая мокрую бороду.— Пойдем мы все в пекло военное, а он останется при бане своей.

Полк подняли рано. На маленькой полянке за деревней дымили полевые кухни. Несколько солдат держали за рога рыжую, худую корову. Кашевар, низко склонившись к земле, связывал корове ноги.

— Готово,— звонко крикнул он,— валяй, Гордюшов.

Гордюшов, пробуя концом пальца короткий, широкий нож, подошел к корове, спокойно смотревшей на него, и сунул ей нож в шею. Вокруг с любопытством смотрели солдаты. Многие горячо советовали, как лучше снять шкуру, как разделать коровью тушу. Человек двадцать мирно сидели на земле и чистили картошку. Кто-то объявил радостную весть: в деревне останутся до вечера, а может быть, и опять заночуют. Настроение сразу поднялось. Одни побежали к реке постирать белье, другие расположились чинить свои вещи, третьи разбрелись по избам и сараям поболтать или соснуть.

Вдруг сигнал горниста прозвучал на всю деревню. По улице торопливо шли солдаты. У кухонь еще толпились люди с котелками, ожидая обеда. Вкусный,

мясной пар клубами подымался от кухонь. Из штаба, прихрамывая, пришел прапорщик.

— Обеда не давать,— сердито сказал он.— Полк сейчас же выступает.

Через несколько минут походная колонна уже тянулась по улице. Справа от дороги женщина и старик шли за плугом. Мальчик лет десяти, видимо, гордый своей работой, понукал лошадь. Не смотря на солдат, он по-детски громко крикнул на лошадь и взмахнул кнутом. Белые облачка медленно плыли над полем, над дорогой. Пыли не было, итти было легко.

Дорога, по которой шел полк, не носила следов войны. Три-четыре крестьянские телеги ехали по колеям, уже высушенным весенним ветром. Блеклая прошлогодняя трава вяло зеленела у краев дороги. Самохин радостно закричал, показывая рукой вверх. В небе треугольником, снижаясь к недалекому лесу, летели гуси. Солдаты смотрели, задрав головы.

— Вольные птицы,— завистливо сказал Самохин,— куда хотят, туда и летят.

Издали донесся протяжный гудок паровоза. Дорога повернула влево, пошли телеграфные столбы, и показалась кучка зданий, среди которых выделялось одно— двухэтажное, выкрашенное в красный цвет. Подходили к железной дороге. Невысокая насыпь потянулась за насаженной рощей, одинокий товарный вагон стоял прямо над железнодорожной будкой. Офицер с аксельбантами поскакал со станции навстречу полку. Он строго и неодобрительно осмотрел запыленного Уречина, заменившего Максимова, и стал говорить с ним, помахивая замшевой перчаткой. Уречин отдал честь, и офицер уехал на станцию.

Уречин подал команду. Полк отошел в сторону с дороги, винтовки составили в козлы. Рысью подъехали кухни, роняя из топок горящие угольки. Проголодавшиеся солдаты живо выстроились с котелками, кашевары, стоя на подножках кухонь в густых облаках пара, черпаками разливали суп. Прошло около часу. Полк оставался на месте, винтовок не разбирали, и люди бегали в кусты, шеренгами усаживаясь там на корточки. Вернулся Денисов, ездивший на станцию, и солдатам приказали построиться. Откуда-то поползли слухи, что на станции ждут царя, он будет смотреть

полк. Карцев пошел узнавать у Петрова, правда ли это. Прапорщик только что пришел от полкового командира, собиравшего офицеров. Он угостил Карцева папиросой и сказал, что царь действительно через полчаса будет здесь.

Васильев, переваливаясь на кривых ногах, пошел к своему батальону, рассеянно размахивая стэком.

Он бегло осматривал солдат, запыленных и грязных, но все же имевших тот боевой, обстрелянный вид, который был для Васильева лучшим видом полка.

«Хорошо, что царь увидит их такими»,— подумал он.

День подходил к концу. Солнечные лучи, желтые, как масло, косо ложились на землю. На перроне собралось много людей. Командующий армией нервно поглядывал вдоль пути и щурил глаза. Начальник станции смотрел на него с таким видом, точно он был виноват в том, что поезда еще нет. Вдруг поезд показался совсем близко, скрытый до сих пор изгибом пути. Все подтянулись. Офицеры построились, почетный караул замер с винтовками у ноги. Командующий стоял посредине перрона, но поезд проехал немного дальше, и генерал, покраснев от усилья, рысью побежал к царскому вагону. Царь вышел первым, и сейчас же за ним показалась чрезмерно длинная фигура великого князя, с седоватой, короткой бородкой и большим хрящеватым носом. Царь сдвинул ноги и поднял руку к фуражке, слушая рапорт генерала. Он часто моргал, пальцы его левой руки, прижатой к боку, шевелились. Быстро протянув генералу руку, он пошел по перрону, оглядываясь на великого князя. Великий князь был хмур, неласков, сверху посматривал желтыми ястребиными глазами.

Царь ускорил шаги и, достигнув фронта, поздоровался с солдатами. У него был мягкий, чуть хрипловатый баритон. Привычно выждав ответ, он молча пошел вдоль рядов, вопросительно посматривая на генерала.

— Ваше величество,— тихо сказал генерал,— этот батальон особо отличился в бою, он заслуживает поощрения.

Теперь они проходили мимо Васильева, и царь нерешительно задержался. Васильев стоял, вытянувшись,

его глаза не отрывались от царя. Он видел желто-табачного цвета бороду и усы царя, толстоватый нос и невыразительные сероватые глаза.

— Это хорошо, что отличились, — ровным голосом ответил царь,— я очень доволен молодцами-солдатами.

Он наклонил голову и пошел дальше, ускоряя шаги, как человек, который хочет скорее закончить томящее его дело.

— Отличились в боях,—настойчиво повторил Брусилов,— они достойны награды.

— Георгия да?— царь остановился и повернул лицо к фронту. Он увидел каменные солдатские лица, бородатые, осунувшиеся, с устремленными на него глазами.

— Объявите, что я представлю их всех к Георгию,— негромко сказал он Брусилову.

Царь вздохнул, подумав, что все необходимое сделано, и рассеянно повернул лицо к фронту. Прямо перед ним стоял высокий солдат. Он, не отрываясь, с каким-то настойчивым любопытством смотрел на царя, и царь сделал к нему движение, думая, что надо сказать несколько слов солдату.

— Как твоя фамилия? — отрывисто спросил царь.

— Карцев, ваше императорское величество.

— Молодец, хорошо.

И царь, кивнув головой, поспешно прошел дальше. Свита окружила его. Великий князь возвышался над всеми. Узкая его голова была наклонена к царю, и он, показывая в улыбке крупные желтоватые зубы, что-то говорил. Царь первый тронулся с места, направляясь к своему вагону. Брусилов, окруженный штабом, стоял у подножки вагона, пока поезд не тронулся.

7

В марте полк занимал позиции у небольшой речки Пилицы. Соседний участок занимал 248-й полк. Германские окопы близко подходили к русским. В некоторых местах расстояние между ними не превышало двухсот шагов. Больших боев не было, обе стороны сидели в окопах и понемногу присматривались одна к другой. Германцы зорко вели наблюдение и, как только замечали вылезшего из окопов русского солдата, открывали огонь. Солдаты забавлялись старой

выдумкой — осторожно выставляли шапку, поворачивали ее, а потом радостно считали дыры, пробитые в шапке германскими пулями. Десятая рота была на правом фланге, примыкавшем к окопам 248-го полка, и Черницкий с Голицыным часто ходили туда в гости. Войдя в первый раз в окопы к соседям и оглядывая их, Черницкий спросил с веселым недоумением:

— Вы что, землячки, от одной мамы родились, что вы такие похожие?

— Это верно, — ответил маленький с русой бородой солдат, с лицом, покрытым синими пятнышками, — мать у нас одна — шахта, и папаша строгий — забой.

— Шахтеры? — спросил Черницкий.

— Эге ж, — ответили ему, — все здесь забойщики, проходчики, откатчики.

Оказалось, что 248-й полк почти поголовно состоял из запасных — рабочих шахтеров. Манерами, разговорами, движениями, выражением лиц, на которых навеки запечатлелись следы угля, они были схожи друг с другом. Тут были жители «Собачевок» и «Шанхайчиков» — знаменитых поселков Горловки, Юзовки и Енакиева. Среди них было много людей старше тридцати лет, хорошо помнивших события девятьсот пятого года и даже принимавших в них участие.

Против шахтеров окопы занимал германский гвардейский полк — рослые здоровые люди, которым металлические каски придавали суровый, воинственный вид. Гвардейцы кричали русским из своих окопов ругательства и держали их в непрерывном напряжении. Но вдруг неожиданно произошла перемена. Прекратились частые перестрелки. По русским, изредка кравшимся из окопов, стреляли меньше, и никто больше не замечал ни одной германской каски. Солдаты решили выяснить, что произошло. Двое смельчаков ночью пробрались к германским окопам. Они принесли интересные сведения. Германский гвардейский полк, занимавший окопы, ушел, и его заменил ландштурм, состоявший почти сплошь из пожилых людей. Ландштурмисты вели себя очень спокойно. Медлительные люди в плоских бескозырках осторожно высовывались из окопов, наблюдали за русскими, иногда что-то им кричали. Из-за русского бруствера смелей стали выглядывать сол-

датские лица, и, наконец, Денисенко, маленький бородатый забойщик, решился на смелый шаг. Держа в поднятой руке пачку махорки, он вышел из окопов и, не прячась, пошел к германцам. Он прошел шагов пятьдесят и остановился, жестами приглашая к себе немцев. Тогда из германских окопов выскочил солдат, оглянулся на своих и направился к Денисенко. Он был без оружия, только на широком поясе, охватывавшем его толстый живот, желтела патронная сумка. С обеих сторон со жгучим любопытством следили за солдатами. Они медленно сближались, недоверчиво поглядывая друг на друга. Денисенко что-то крикнул и протянул немцу махорку. Тот подошел осторожно, точно опасаясь обжечься, и взял махорку. Вдруг послышался выстрел, и немец проворно побежал к себе. Денисенко тоже вернулся. Его окружили, засыпая вопросами. Он тихо улыбался, задумчиво отвечал. Ему пришлось много раз под ряд отвечать на одни и те же вопросы.

На следующий день батарея, расположенная за русскими окопами, начала вдруг обстреливать германцев. Ответные германские снаряды заставили русских сидеть в окопах. Денисенко был мрачен, неохотно разговаривал с приятелями. Еще через день наступило затишье. Офицеры сидели в своих землянках, солдаты с утра поглядывали из-за брустверов. Выставили для пробы несколько шапок — германцы не стреляли. Денисенко вылез из окопа и, не пригибаясь, сделал несколько шагов вперед.

— Гляди, гляди, твой германец идет,— закричало сразу много голосов.

Толстый немец, держа в поднятых руках бутылку, шел навстречу Денисенко. Они сошлись на равном расстоянии от обоих окопов и начали разговаривать. За каждым их движением с неистовым любопытством следили обе стороны. Черницкий, прибежавший из своих окопов, не выдержал и вылез на бруствер. Потом пошел к Денисенко. Германец недоверчиво посмотрел на него, но у Гилеля так сияло заросшее лицо, он так дружески протягивал немцу руку, что тот, улыбнувшись, остался на месте. Черницкий сейчас же заговорил с ним, отчаянно путая немецкие и еврейские слова и показывая на германские окопы. Германец кив-

нул головой и, обернувшись, закричал своим. Пять или шесть человек вылезли из окопов и пошли вперед. Они окружили Денисенко и Черницкого и закрыли их своими телами. Потом солдаты 248-го полка увидели, что германцы повели обоих солдат к себе.

— В плен взяли! — отчаянно крикнул чей-то глос.— Вот тебе и германцы.

Солдаты были смущены и встревожены. Тысячи напряженных глаз следили за германскими окопами. Прошло больше часу, и вдруг Черницкий и Денисенко вместе с двумя германцами показались из немецких окопов. Весь полк замер, потом тихий, сдержанный гул пронесся, как порыв ветра. Люди оглядывались, хлопали друг друга по спинам и отрывисто кричали:

— Смотри, идут.

— Вот ты говорил — немцы, а не немцы вовсе, а настоящие люди.

И молодой голос воскликнул:

— Так как же теперь будет, братцы? Опять будем с ними драться, или как?

В голосе было столько наивного горячего нетерпения, что вокруг громко засмеялись, и сутулый, рябой солдат сказал:

— Сейчас тебе конечно мир и подпишут, оттого, что наших два солдата с двумя германскими покалякали. За такое, брат, всыпят тебе, дадут пятьдесят розог, чтобы ты царское дело не портил...

— А все же интересно,— сказал первый голос.— Говоришь, говоришь с человеком — и вдруг опять в него стрелять начнешь. Как же это?

— Не идут немцы,— закричал рябой солдат,— опасаются.

Видно было, как германцы остановились, покачивая головами, в то время как Черницкий и Денисенко жестами показывали им на свои окопы. Кучка русских солдат уже стояла на бруствере, некоторые направлялись к германцам, в ненасытной жажде рассмотреть их. Германцы повернулись и пошли к своим. Им навстречу выскакивали солдаты, и скоро с обеих сторон, не сближаясь, стояли русские и германцы, посматривая друг на друга. Вдруг германцев точно сдунуло. Высокая офицерская фигура на мгновение мелькнула там, резкий

крик донесся до русских. Потом пробежала другая фигура и погрозила стэком в сторону русских. Густая толпа окружила Денисенко и Черницкого.

— Замечательные окопы,— говорил Денисенко,— ровные, как штрек, земля убита и посыпана песком. Лежанки находятся в глубине, покрыты соломой. Окопы шире и глубже наших, у бойниц ступеньки, все сделано чисто, точно обточено. В нужник особый ход — прямо квартира, живи себе с удобствами и воюй.

На рассказчика смотрели в упор. Ни одно его слово не пропадало. В интонации его голоса, в мимике лица искали скрытый смысл, которым каждый для себя дополнял слышанное.

Утром следующего дня началось сильное оживление между окопами. По всему фронту 248-го полка вылезло на брустверы более двухсот человек. Германцы были в зеленых однобортных куртках, в сапогах с твердыми, короткими голенищами, в плоских бескозырках. Среди них преобладали пожилые, бородатые люди, мирно сосавшие трубки. Голицын вертелся среди немцев, осматривал их с ног до головы и спрашивал:

— Когда же мир, господа немцы? Завоевались мы с вами.

Одни разговаривали, другие молча стояли друг против друга, смотрели внимательно и настороженно и так же молча отходили. Маленький юркий немец, чем-то очень похожий на воробья, обеими руками держал за поясницу русского и убедительно говорил ему:

— Ти здесь... сюда, видишь, вот я. Я видим — вот ти, ну так, ландсман, ну так?

Русский осторожно снял его руки со своей поясницы, секунду подержал, точно не зная, что с ними делать, пожал их и отпустил.

— Так-то так,— ответил он,— вот ты, а вот я... а завтра бабахнешь ты меня, почтеннейший, в первом же бою, да и я тебя, если придется, не помилую.

Германец, плохо понимая, кивал головой, дружески улыбался и повторял:

— О. я, дас ист зихер [1].

Между тем из русских и германских окопов выхо-

---

[1] О да, наверно.

дило все больше солдат. Они сходились посредине пространства, всегда полного такого страшного значения, пространства, которое они могли пройти только под выстрелами противника. Вокруг солдат, хоть немного знавших оба языка, сжимались тесные группы. Спрашивали о том, как живут, говорили о мире. Ощупывали один другого жадными, удивленными взорами, точно отыскивали друг в друге то непонятное, ужасное и таинственное, что делало их противниками и заставляло стрелять, колоть, убивать. Так они стояли — перемешавшись, обычные люди с мирными привычками, живущие в городах и деревнях, занимающиеся земледелием, работой на фабриках и заводах, портняжеством и другими ремеслами. Но все же их разделяла пропасть, и они не знали, как перешагнуть ее. Некоторые смотрели с жалостным недоумением, растерянно улыбаясь. Вдруг с русской стороны донесся грохот, несколько шрапнелей разорвалось над братающимися: это русское командование, обеспокоенное первым за войну массовым братанием, распорядилось открыть огонь по своим и германцам. Солдаты поспешно бежали к своим окопам.

Через две недели 248-й полк, переброшенный под Ломжу, в яростной атаке овладел германскими позициями, взяв более двухсот пленных.

8

В день полкового праздника солдат построили. Узкая деревенская улица легко вместила весь — недавно еще четырехтысячный — полк. Из пятисот солдат, оставшихся в строю, кадровых было человек полтораста. Два месяца, не считая небольших перерывов, не выходили из боев, и только теперь полк отвели в тыл для короткого отдыха и пополнения. Отец Василий служил молебен. Рыжая его борода была запущена. Припухшие глаза смотрели беспокойно, сиплый голос звучал еле слышно. До сих пор он не мог забыть Мазурских озер, страшного отступления через болота, Грюнфлисского леса. Он пил, не скрываясь, в смутной надежде, что его за пьянство отправят с фронта. Но в эти дни пили многие офицеры, и никто не обращал внимания,

что священник пьян. К нему приходили исповедоваться солдаты, и он принимал их в походной церкви-палатке. Накрывал епитрахилью, бормотал разрешительную молитву и, дыша на солдат острым запахом перегоревшей водки и табаком, совал им в губы немытую руку. Максимова сняли уже давно. Новый командир, полковник генерального штаба Уречин, был решителен и любил принимать опасные решения. Он работал в штабе корпуса, и корпусный командир, тихий старичок, ежедневно вечерами игравший на скрипке, дал ему полк, чтобы избавиться от беспокойного офицера. Среди офицеров было много прапорщиков, только недавно прибывших на позиции. Маленький, коренастый Петров, совершивший далекий путь из Иркутска, где он в военном училище проходил краткосрочные курсы, чувствовал себя плохо среди офицеров. Васильев звал его Александром Петровичем, — он конфузился, солдаты отдавали ему честь,— он чуть не отмахивался от них, а когда Васильев сказал ему, что надо взять денщика, прапорщик растерялся. Так остро встали перед ним дни его солдатской службы, разговоры с Карцевым и Орлинским об Иванове, денщике, замученном Вернером, и об унижении, которое испытывает солдат, выполняя самые грязные работы для своего офицера. Неужели он должен поступать так же, как остальные офицеры? Нет, никогда. Он откажется от денщика. Но сразу же выяснилось, что отказаться нельзя. Могли пойти толки среди офицеров, что прапорщик либеральничает, оказалось, что существуют десятки мелочей, с которыми офицеру самому никак не управиться. Потом вышло еще неожиданнее. К прапорщику явился Комаров, солдат десятой роты, служивший вместе с ним еще в мирное время, когда Петров был вольноопределяющимся, вытянулся и попросил взять его в денщики. Петров в растерянности отказал ему. Тогда Комаров стал умолять слезливым голосом.

— Ваше благородие,— говорил он,— пожалуйста, уж я вам лучше всякого другого услужу. Пылиночку с вас сниму, за всем доглядывать буду.

— Да разве в денщиках лучше, чем в строю?— спросил озадаченный Петров.

— А то как же?— удивился Комаров.— Сижу я за

вашим благородием, как за стенкою, и от бед прячусь. Пожалейте Комарова, блошинку человеческую.

— Ну, если так,—сказал Петров,—если ты думаешь, что тебе лучше будет...

И Комаров сделался денщиком Петрова.

Из старых офицеров в десятой роте оставался один Руткевич. Бредов лечился в госпитале, Васильев командовал батальоном, и Петров оказался на должности полуротного командира в той же роте, где он служил вольноопределяющимся. При первой встрече с Карцевым он бросился к нему, протягивая руку.

— Смотрят,—коротко сказал Карцев, глазами показывая на проходившего мимо офицера.

И Петров осекся, он не имел права пожимать руку нижнему чину, его новое звание стояло между ними непроходимой гранью, и он тихо шепнул Карцеву, чтобы тот пошел в рощу, лежавшую за деревней. Там, под деревьями, Петров обнял друга и жадно расспрашивал его. Охваченный волнением, он узнавал о судьбе Чухрукидзе, о Защиме, об Орлинском, о смерти Вернера, якобы честно погибшего в бою с неприятелем, о тяжелых испытаниях, что рота вынесла за все время войны.

— Мазурин ранен? — спросил Петров. — Вот жаль, очень мне жаль, я бы хотел его повидать.

«Мне бы, мне бы его повидать»,— подумал Карцев, и тоска по Мазурине охватила его так сильно, что он сам удивился этому, так внезапно нахлынувшему на него чувству.

Они пошли в деревню. По дороге разошлись, чтобы их не видели вместе.

Солдаты были размещены по избам и по сараям. Карцев и Гилель Черницкий помещались в бедной, разбитой избе. После фронта изба эта все же казалась солдатам хорошим убежищем. Их измучили многоверстные переходы, ежедневные голодания, частые бои. Машков притих. Трудно было узнать в этом похудевшем, заросшем черной бородой, в износившемся обмундировании человека прежнего щеголеватого унтер-офицера. Он жил маршировкой — маршировки не было. Он считал, что первая основа солдата — подтянутость и аккуратность, а полк походил на сборище грязных бродяг. В казарме он был у себя дома и знал, что надо требовать с солдат, здесь же создавался иной быт —

кочевой, походный, здесь ежедневно возникали неожиданные трудности, приходилось подавать пример в бою, а взводный не отличался храбростью. Он мог тянуть солдат, но не годился для руководства ими в сражении. И он полинял, утратил свою твердость и кажущееся величие. Война разоблачила его, как разоблачила тысячи других русских начальников — от унтерофицеров до главнокомандующих фронтами, годных только для муштровки и парадов. Не было в роте и Егора Ивановича. Толстый зауряд-прапорщик стал жертвой своей жадности. Во время отступления он задержался в прусской деревне, нагружая на подводы конфискованную или, проще говоря, награбленную у крестьян пшеницу, которая должна была в отчетности пройти как купленная. В это время в деревню ворвался неприятельский разъезд. Солдаты закричали, ударили по лошадям. Те, которые грузили пшеницу, бросили мешки и на ходу вскакивали в повозки. Егор Иванович тоже побежал, но по тучности не мог вскочить на подводу, и хотя он кричал и грозил солдатам, те не остановили лошадей. Один из них, оглянувшись, видел, как германец в каске с коня рубил палашом визжавшего фельдфебеля, руками прикрывавшего голову. В донесении было отмечено, что зауряд-прапорщик геройски погиб в арьергардном бою, прикрывая отступление полка. Его место занял Машков. В роте числилось всего тридцать шесть человек, а кадровых осталось двенадцать.

— Мы же последние,—угрюмо шутил Черницкий,— надо бы нас оставить хоть на развод, чтобы потом можно было показать на выставке кадрового солдата российской императорской армии.

— Я бы хфельфебеля засушил,— мечтал Защима.— Жалко мне, что не видел я, как его германцы, дай им бог здоровья, кончали. Засушил бы я его в полной форме да поставил бы на вечную выставку. Вот стоит, господа, царский верный хфельфебель, шкура, солдатский мучитель. Занятие его в том было, чтобы людям вольно не дышалось, чтобы всегда солдаты помнили, какая казарма есть каторга. Цеплял он зубами живую человеческую душу и грыз ее долгие годы. Так бы я на нем написал, чтобы все знали, что есть такое царский хфельфебель.

Карцев смотрел на своих товарищей, на бородатые их лица, на запавшие глаза. Неужели и он так же изменился, как они? Иначе смотрит взор, другое выражение на лице, совсем по-иному звучат слова. Нет здесь Чухрукидзе, закопали его в землю еще в прошлом году, а то и он, наверно, стал бы другим.

Подходит Рогожин. Этот все тоскует по родной деревне, ждет писем — отстроилась ли после пожара семья? Но и он не похож на прежнего Рогожина. Не верит больше ни во что хорошее, не надеется, что ему поможет война. В письме, полученном из дому, сообщалось, что стали жить хуже, чем до войны. Забрали единственную лошадь, а взамен дали хромого коня, никуда не годного. Дальше часть письма была замарана черной краской, а в конце шли поклоны. Рогожину казалось, что в вымаранных строках и заключалось самое главное в письме, а военная цензура уничтожила их. Он стискивал зубы от злости и обиды, подолгу всматривался в погребенные под краской слова и старался отгадать их значение.

8

Утром полк подняли раньше обычного часа. Радостно суетился Машков, что-то узнавший от ротного командира, по-старому покрикивал он на солдат, выгонял их на улицу. Пришел полковник Уречин, вокруг него собрались офицеры, и все они оживленно разговаривали, посматривая на узкую, покрытую весенней грязью дорогу, ведущую к станции. И вот показалось на дороге черное, движущееся пятно, стало расти, приближаться, и все увидели — идет какой-то странный отряд. Идет он скорее толпой, чем воинским строем, одет пестро, на одних шинели, на других вольные полушубки, на ногах ботинки, ноги в защитных обмотках, а сапоги только у нескольких человек. Ведет отряд пожилой офицер, в дымчатых очках, с трепаной штатской бороденкой, больше похожий на чиновника, чем на офицера. Подойдя ближе, он сипло и неумело командует: «смирно!» — и, по-журавлиному подымая ноги, с рукой у козырька, идет к Уречину и рапортует. Теперь все ясно. В полк прибыло пополнение. Уречин издевательски с ног до головы осматривает офицера.

— Послушайте, поручик,— брезгливо говорит он,— что у вас за вид? Вы на маскарад явились или на позиции? Что за безобразие?

Поручик конфузливо разводит руками.

— Стоять смирно! — кричит Уречин. — Что это за штатские жесты?

И растерявшийся поручик объясняет командиру полка, что он офицер ополчения, на военной подготовке не был десять лет. Его призвали и по чьему-то распоряжению, не проверив знаний, отправили на фронт. Он пробовал говорить, что считает себя не подготовленным, но никто не хотел его слушать. Впрочем, все пополнение примерно так же подготовлено. Исключение составляют лишь три унтер-офицера, которые уже побывали на фронте. Уречин молча идет к пополнению. Офицеры следуют за ним. Весь полк смотрит, вытянув головы.

— Постройте их в две шеренги,— приказывает Уречин.

Поручик ополчения беспомощно топчется. Оказывается, он не может произвести расчета, не знает, как построить походную колонну развернутым фронтом.

— Это сделает любой унтер-офицер,— хрипя от бешенства, говорит Уречин и оборачивается. Взор его падает на Машкова, и полковник приказывает ему построить пополнение в две шеренги. Кровь приливает к лицу Машкова. Он вытягивается, как тополь, становится даже красивым от радости. Вот когда он может показать себя, вот когда пригодилась драгоценная наука муштровки. Он надувает грудь и подает команду. Но новые солдаты путают построения, не знают, как надо строится влево, как заходить плечом. Приходится показывать им каждый шаг, вызвать человек двадцать кадровиков, и те, подталкивая новеньких, добиваются, наконец, порядка. Пополнение выстроено в две шеренги.

Здесь люди разных возрастов. Рядом с двадцатилетними юношами, у которых лица покрыты первым пушком, стоят бородатые, сорокалетние мужики. Все они без винтовок. Только у одной роты топоры. Солдаты этой роты стоят хмурые и жалкие, похожие на дровосеков, неведомо зачем присланные на фронт.

— Кто велел выдать топоры? — глухо спрашивает командир полка.

— Не могу знать,— испуганно отвечает поручик ополчения и тщетно старается убрать живот. Живот мягко обвисает поверх ремня, которым он стянут, и бедный акцизный чиновник, имевший несчастье когда-то служить офицером, в отчаяньи сознает, что вид у него самый небоевой. Полковой командир обходит фронт и отрывисто задает вопросы. Денисов, хмурясь, делает отметки в полевой книжке.

Уречин отходит в сторону и снимает фуражку. На висках его волосы как будто намылены от седины, красная морщина глубоко прорезала лоб.

— Ну, куда мне их,— тихо говорит он.— Необученные, винтовок нет.

Он уходит большими шагами, забыв надеть фуражку. Денисов прищуренными глазами глядит на поручика, который, согнувшись, что-то докладывает ему, и, не отвечая ему, идет к Васильеву.

— Владимир Никитыч,— говорит он,— надо же жить, надо же воевать. Давайте распределим их как-нибудь... Не сердитесь, если я вам побольше подкину. У вас лучший батальон в полку. Помучимся, родной мой, как-нибудь, как-нибудь...

В тот же день командир полка поехал в штаб дивизии. Начальник дивизии был маленький пухлый человек, еще не старый, безбровый, с детским лобиком, с голубыми безмятежными глазками. Он принял Уречина у себя, извинился перед ним за беспорядок в комнате (постель была неубрана, на ней валялся дорогой персидский халат, у окна горой лежали прекрасные кожаные чемоданы, к кровати был придвинут низенький столик с остатками завтрака) и предложил полковнику запросто пообедать с ним. Уречин попросил разрешения сделать доклад. Детский лобик генерала жалко сморщился, голубые глазки укоризненно посмотрели на Уречина.

Генерал сказал:

— Вот что, полковник: всем, что касается тактики и стратегии, у меня ведает Валерий Николаевич, мой начальник штаба. Пожалуйста, доложите ему. Он молодчага. А потом милости просим пообедать.

Уречин, сдерживая бешенство, пошел к начальнику

штаба. Валерий Николаевич спокойно слушал его и толстым красным карандашом подчеркивал строки на лежащей перед ним бумаге.

— Посмотрите, полковник,—попросил он, придвигая к Уречину бумагу. — Я подчеркнул здесь то, о чем вы говорили. Как видите — полное сходство. Вся дивизия жалуется на качество пополнений. Если вам угодно знать, на это жалуется весь корпус, вся армия, весь фронт. Очевидно, причины надо искать глубже.

Уречин молча разглядывал его. Он мало знал Валерия Николаевича, его привез с собой новый дивизионный, но начальник штаба понравился ему. У него были припухшие от бессонницы умные глаза, землистое, очень усталое лицо. Во время разговора вошел офицер с бумагой, и начальник штаба, быстро пробежав ее, написал сверху несколько слов и сейчас же, обратившись к Уречину, продолжал начатый с ним разговор.

— Мы выделяем специальные кадры унтер-офицеров и офицеров для обучения пополнений. Выделяем, хотя их и нехватает в кадровых частях.

— Но как же? — глухо спросил Уречин.—Создавать при полках безоружные команды? Наделать мяса... Ведь и учебных винтовок нет. Видели вы этих солдат? Они и рассыпного строя не знают.

Валерий Николаевич молчал.

Обед у начальника дивизии поразил Уречина. Стол был сервирован не по-походному. Сверкающая белизной скатерть, хрусталь, серебряные приборы, фарфоровые тарелки с гербами генерала. Закусывали зернистой икрой, швейцарским сыром, балыком. К супу подали крошечные пирожки, таявшие во рту, шницель был золотистым от умело прожаренных сухарей.

— Лимончик, лимончик возьмите,— испуганно сказал генерал Уречину,— какой же это шницель без лимона? Да вот обязательно картошечку, не забудьте. Полюбуйтесь, как обжарена. Не прячусь — люблю хорошо поесть. Накормленные люди лучше работают.

Сам он ел так вкусно, такими округлыми мягкими движениями действовал ножом и вилкой, так нежно приближал к сочным своим губам каждый кусочек пищи, что Уречин понял, в чем цель и отрада генераль-

ской жизни. С трудом удерживался он от едких слов и уехал сейчас же после обеда.

Занятия с пополнением велись с утра до вечера. Многие из новоприбывших ни разу не держали в руках настоящей винтовки, а строю и стрельбе обучались с деревянными палками. Машков в упоении занимался с молодыми. Вернулось для него блаженное время казармы, он мог сколько угодно ругаться и раздавать подзатыльники. Каждому из кадровых солдат дали маленькую группу для обучения. На долю Карцева досталось шесть человек — двое старых и четверо молодых. При обучении он пользовался своей винтовкой, которая по очереди переходила из рук в руки. Боевых патронов было так мало, что на каждого обучающегося отпустили по три выстрела. Но и эти патроны были расстреляны зря. В мишенях оказалось едва десять процентов выпущенных пуль. Первым стрелял у Карцева сорокалетний ополченец. Был он небольшого роста, коренастый, с ласковой, складной бородкой. Он сердито и недоверчиво посмотрел на винтовку, осторожно вставил приклад в плечо, зажмурил глаза и дернул за спуск. Он охнул — приклад толкнул его в щеку — и попросил Карцева освободить его от дальнейшей стрельбы.

— Негоден я для этого дела,— убедительно говорил он.— Ошибка там у начальства случилась. Солдатов у них нехватило, вот ополченцами дыру-то и заткнули. А какой из меня солдат? Я вам всю войну испорчу.

Трое из молодых были смоленские крестьяне—белокурые, светлоглазые, схожие друг с другом, как бывают схожи люди одной профессии. Четвертый, смуглый, с жесткими волосами, был скрытен, недружелюбен к людям. На груди у него была вытатуирована голубая стрела, пронзающая орла.

Рядом с Карцевым со своей группой занимался ефрейтор Банька, а дальше — на самой опушке дубовой рощи — Защима. Банька тоненьким своим голоском покрикивал на ополченцев, иногда даже увлекался, показывая, как надо, рассыпавшись в цепь, вести наступление под неприятельским огнем. Защима действовал иначе. Уведя своих людей подальше и немного к ним присмотревшись, он хладнокровно сказал:

— Слухайте, хлопцы, учиться вам, чи не учиться, это мини усе равно. Хочете — покажу вам, как надо немцев убивать, не хочете — и так время проведем.

И, не смущаясь удивленными взглядами ополченцев, Защима, покуривая махорку, рассказал им про свою жизнь, про дисциплинарный батальон, про убитого своего врага зауряд-прапорщика Смирнова.

Уже наступила весна, земля, черными островками понемногу вылезавшая из-под снега, исходила тонким паром под теплым солнцем. Кое-где в полях копошились крестьяне. Работали подростки, старики и женщины. Шагах в двухстах от Карцева несколько женщин и стариков тащили соху, заменяя лошадь.

Из штаба дивизии позвонили: полк должен был на следующий день выступить на позиции. Уречин с Денисовым обходили пополнение. Полковник с позеленевшим лицом, с воспаленными глазами расспрашивал солдат.

Вечером полк выступал. В рядах шли безоружные солдаты пополнения. Поручик ополчения шел в третьей роте возле капитана Блинникова. Старый капитан подробно расспрашивал его, как живут в России. Сильно ли поднялись цены, скоро ли думают закончить войну, не скучают ли женщины без мужчин, ходит ли народ в церковь.

10

Два месяца пролежал Бредов в госпитале. У него была прострелена грудь. Солдаты вынесли его из боя, и несколько часов он без сознания лежал на тряской патронной двуколке, неумело перевязанный индивидуальным бинтом. Состояние его было так ужасно, что врачи считали его обреченным. Рана долго не заживала, целые ночи мучительный бред не оставлял его. Ему казалось, что он лежит на дороге. Над ним темное ночное небо. Небо усыпано белыми лепестками звезд. И вдруг появляется неприятельская армия. Она топчет Бредова ногами, она застилает от него свет звезд. Потом он видел Грюнфлисский лес. Лес был живой, ползучий, деревья двигались, их ветви извивались, как длинные толстые змеи с мохнатыми головами, хватали русских, душили и бросали на землю

смятые, раздавленные тела. Не было спасения в борьбе с дьявольским лесом, и лежа, распластанный, с переломанными костями, он беззвучно плакал.

Иногда он как бы просыпался, приходил в себя, но эти часы были для него еще тяжелее, чем состояние бреда. Воспоминания о последних боях были невыносимы, ему хотелось умереть, чтобы ничего не помнить, ничего не сознавать. Так переживают люди стихийное бедствие, во время которого на их глазах разрушен родной дом и погибли самые близкие и любимые существа. Бредов был так разбит и опустошен, что не мог ни о чем думать. Возможно, что это и спасло его. Он выздоравливал долго и трудно. Его выписали из госпиталя и дали месячный отпуск. Жена увезла его домой. И вот он опять очутился в том же городке, откуда пошел на войну. Охваченный апатией и слабостью, он мог лежать целыми днями на диване, безучастно глядя на одно место. Никаких желаний не было у него. Зоя садилась возле него, долго говорила с ним, плакала, а у Бредова едва хватало силы заметить, что она возле него—милая, красивая женщина, которую он любил, жена, родная, близкая.

Наконец ему позволили встать. Он почувствовал беспокойство, вызванное легким приливом сил. Он с удивлением ощутил свое тело, движения рук и ног, как если бы их заново подарили ему. Сам не сознавая этого, он так сильно ушел от жизни, от обычных будничных ее проявлений, что должен был входить в эту жизнь, как в новое, незнакомое место. Опираясь на палку, бродил он сначала по комнатам, а потом по улицам. Проходя мимо монастыря, он вспомнил, как шел здесь в тот день, когда узнал, что ему закрыт доступ в академию генерального штаба. Ему показалось, что все это было бесконечно давно, и он испытал глубокое потрясение, вспомнив, что меньше года прошло с тех пор.

«Это все случилось с другими, не со мной»,— думал он. Когда разглядывал свои бледные костлявые руки, когда видел в зеркале длинное, вдавленное в щеках, покрытое белой, точно бумажной, кожей лицо с мертвыми, выцветшими глазами и редкой татарской бородой,— все это было чужое, незнакомое.

Однажды на прогулке он увидел солдата, лицо кото-

рого показалось ему знакомым. Солдат шел ему навстречу, и Бредов припомнил, где он встречал его. Они поровнялись, и солдат, отдавая честь, дружелюбно посмотрел на офицера.

— Постой, постой,— сказал Бредов,— ведь мы с тобой вместе были на фронте.

— Так точно, — ответил солдат. — Еще я вместе с вашей ротой пробивался, когда капитан Васильев выводил нас из Грюнфлисского леса. Тогда ваше благородие и ранили.

— Да, да,— Бредов почувствовал, как рана заныла возле правого соска, — так ты был при этом?

— Был. При мне вас и подобрали. Карцев и Голицын перевязали вас и положили на патронную двуколку.

— Ты знаком с Карцевым? Хороший солдат. Смышленый. Не знаешь, что с ним?

— Он на фронте. Жив ли только — не знаю. Он о вашем благородии хорошо отзывался.

Бредов с удивлением посмотрел на солдата. Тот держался почтительно, но непринужденно, взгляд у него был умный и живой, и улыбка, ласковая, но чуть-чуть ироническая, говорила о том, что он отвечает офицеру, как полагается по уставу, но готов и поговорить с ним, если тот захочет.

Они находились в дальнем углу городского сада, где никого не было. Сад кончался обрывом, и на самом краю обрыва косо, точно падая, стояла старая мохнатая ель, ствол и ветви которой поросли голубым, как незабудки, мхом.

— Я все это вспоминаю,— говорил Бредов, следуя ходу своих мыслей, — Васильев вывел тогда полк из окружения. И ты был с ним? Помнишь эти дни? Да разве забудешь их... Нет. Это останется на всю жизнь...

— Так точно,— вполголоса произнес солдат.

Бредов сидел на скамейке, чертил палкой по земле. Получался план — извилистые линии русского расположения и кружки—ударные группы немцев на флангах.

Они долго разговаривали возле обрыва. Стесняясь и хмурясь от неловкости, Бредов предложил солдату заходить к нему на квартиру.

— Кстати,— улыбаясь, сказал он,— столько с тобой говорили, а фамилии я твоей не знаю.

— Мазурин,— ответил солдат. — Спасибо за приглашение.

С тех пор Бредов стал живее. Апатия оставила его. Впервые он стал думать о том, что нельзя ограничиться жалобами и брюзжанием на то, что Россия плохо подготовилась к войне. Надо действовать (как — он еще не представлял себе), надо помочь великой стране справиться с врагом. По утрам он читал газеты, но победные статьи «Русского слова» только раздражали его, а сухие сводки штаба верховного главнокомандующего были насквозь лживы. Он отыскал старые номера газеты в непреодолимом желании увидеть, как описана там катастрофа второй армии. Глухо и невнятно в нескольких строках петита сообщалось о временном отходе наших войск перед превосходными силами противника по заранее выработанному плану. Он скомкал газету. Неужели Россия никогда не узнает, как страшно ее обманывают? Где же выход?

Только галицийская битва немного утешила его. С гордостью думал он о том, что русские боевые знамена веют на вражеской земле, что освобождена от немецкого ига старинная русская область — Червоная Русь.

«Найти бы только настоящих полководцев — честных и талантливых людей, — думал он. — Они повели бы армию к победе, они бы организовали боевое снабжение. Да, все дело в настоящих людях. Армия у нас чудесная — храбрая, русская армия. Ведь я помню, как дрались солдаты. Нам нужен Суворов, Кутузов, Скобелев...»

Его пригласили вместе с женой к присяжному поверенному Званцеву, известному общественнику и деятелю Земского союза, и он пошел туда с радостью, желая узнать, как относится русское передовое общество к войне. В богатой квартире Званцева собралось около сорока человек. Званцев вернулся из Галиции, куда ездил от Земского союза, был даже в Львове, и гости ждали, что он расскажет много интересного.

В большой гостиной образовалось несколько кружков. Здесь были сливки местного общества — адвокаты, инженеры, крупнейшие чиновники города, командир запасного батальона полковник Десятов, директор

гимназии и другие. Бредов стоял в стороне, жадно прислушиваясь к разговорам и понемногу придвигаясь к тому кружку, в центре которого стоял хозяин дома. Званцев, красивый, с усиками и эспаньолкой, человек, говорил сжато, отделываясь улыбками и, видимо, приберегая главное к ужину. Он беспокойно поглядывал на дверь, и когда показался лакей, Званцев, извинившись перед гостями, быстро вышел из гостиной. Он вернулся в сопровождении худощавого, с желтым нездоровым лицом человека в визитке. Лицо Званцева сияло, в глазах было восторженное выражение, и он вел своего гостя под руку так бережно, как будто тот упал бы, если бы Званцев отпустил его. Гости, повернувшись к дверям, почтительно склонили головы, и новый гость, как высочайшая особа, проследовал в конец гостиной, где у круглого майоликового столика ему приготовили место. Бредов смотрел с удивлением. Зоя подошла к нему, и на ее лице Бредов увидел то же выражение почтительности и восторженности, какое было на лицах всех гостей.

— Кто это пришел?

Зоя посмотрела на него с недоумением.

— Как, ты не знаешь? Бардыгин, миллионер, фабрикант. Он весь фронт снабжает обмундированием.

В столовой, отделанной дубом, Бардыгин сидел во главе стола рядом с хозяйкой дома. Возле Бредова посадили молодого узкоплечего человека, румяного, с синими глазами. Он стал спрашивать Бредова, давно ли тот вернулся с фронта, и сообщил ему, что сам он только три дня как прибыл из Галиции, куда ездил вместе со Званцевым.

Званцев подымался из-за стола и, улыбаясь, оглядывал гостей.

— Милостивые государыни и милостивые государи, — начал он, — разрешите прежде всего поблагодарить вас всех за высокую честь, оказанную вами этому дому. В тяжкую годину испытаний единение верных сынов родины перед лицом грозного и коварного врага — это самое прекрасное, самое возвышенное явление. Русское общество, русский народ едины в часы опасности. Забыты раздоры, затихла борьба партий, нет у нас сейчас ни правых, ни октябристов, ни каде-

тов, есть только русские люди, русские патриоты. И если солдат проливает кровь на фронте, то здесь, в тылу, мы напрягаем все наши силы для того, чтобы снабдить его всем необходимым, чтобы дать ему возможность почувствовать нашу любовь к нему, наше преклонение перед его великим подвигом. Я имел счастье, господа, побывать на фронте и быть некоторым образом свидетелем геройства нашей славной армии.

Он говорил еще об епископе Евлогии, который принес на поля, обагренные кровью, пасторское благословение православной церкви, и каждый раз в наиболее удачных местах его речи слушатели аплодировали ему. Бредов слушал со смешанным чувством досады и удивления.

Его задели локтем и, обернувшись, он заметил, что его сосед беспокойно ерзает на своем месте. Красные пятна проступили на его румяных щеках.

— Зачем Званцев рассказывает это? — прошептал он.— Ей-богу же ничего похожего, ничего... Там этот Бобринский таких дел наделал... Насильственную руссификацию там проводит, полицию из России туда навезли, жандармов. Управление, доложу вам, такое...

Он осекся, с испугом смотря на Бредова.

«Чорт тебя знает,— прочел Бредов в его взгляде, — еще расскажешь...»

Бардыгин, приподнявшись, жал Званцеву руку, и все восхищенно аплодировали и речи адвоката и поступку именитого фабриканта. Зазвенели ножи и вилки, Бардыгин провозгласил тост за победу, все встали, закричали «ура» и выпили. Закусывали долго, серебряными ложками брали икру, тыкали вилками в жирный розоватый балык, в семгу, вылавливали серебристые сардины из коробок, ели салаты — крабовый, оливье и еще какой-то особенный салат, нежную вестфальскую ветчину, сыры, омаров. Директор гимназии, осовев после первых рюмок водки, рассказывал о героизме своих гимназистов, из которых трое ушли добровольцами на фронт. Ему очень хотелось, чтобы его слова услышал Бардыгин, но фабрикант, осажденный Званцевым и полковником Десятовым, чокался с ними и ел бутерброд с зернистой икрой. К нему со всех сторон тянулись рюмки и бокалы, и он с королевским величием

подымал свой стакан и, не притрагиваясь к нему, ставил его обратно. Подали жаркое, и лакеи стали разливать шампанское.

Бредов пил мало и в глухом раздражении слушал разговоры. Ни одной свежей и честной мысли не мог отыскать он в этих речах, они казались ему пошлыми и избитыми, повторяли патриотические статейки борзых газетных писак. Его сосед пытался рассказать ему о безобразиях, виденных им на фронте и в Галиции, но от горя и возмущения он так напился, что только плакал и икал.

Архитектор влез на стул и, широко разводя руками, взывал:

— Господа, понимаете ли вы все значение настоящего момента? Ведь мы — это русское общество, мы культура российская, совесть страны. Мы интеллигенция, мы осуществляем прогресс. А сейчас мы ведем Россию к победе, к новой жизни.

Но полковник Десятов вскрикнул, ему не понравилось, что Россия идет к новой жизни, и архитектор проворно слез со стула и начал испуганно спрашивать всех, не сказал ли он чего-нибудь недозволенного.

— Я лойялен, господа,—убеждал он, прижимая руки к животу,— я совершенно лойялен. Господа, давайте споем гимн. Умоляю вас — гимн.

Бредов отыскал жену, оживленно, весело беседующую, и сказал ей, что хочет домой. Она неохотно пошла за ним.

Редко приходилось ей бывать в таком прекрасном, умном обществе.

11

Мазурин был в трудном положении. Из госпиталя его выписали, отпуск кончался, и он должен был явиться в запасный батальон, но ему не хотелось этого делать. Он не боялся вернуться на фронт. На фронте оставались товарищи, его тянуло к ним — там он мог принести больше пользы, чем в тылу. Но, с другой стороны, вряд ли мог ему представиться более удобный случай, чем теперь, побывать в Петрограде, повидать там нужных людей, узнать настроения на заводах. И он решил, что стоит рискнуть и без разреше-

ния начальства поехать в Петроград. В день его отъезда вернулась из Рязани Тоня, получившая там материалы для пошивки белья. Мазурин с любопытством разглядывал ее. Она сильно изменилась, прежнее щегольство горничной сменилось скромностью работницы, ее голова была повязана шерстяным платком. С тех пор, как она ушла от Максимова, она так и осталась жить с Катей и шила белье по заказам подрядчиков для солдат.

— Редко Карцев пишет,— пожаловалась она,— забыл он нас там.

Мазурин рассказал ей, как проходила их жизнь на войне.

Он уехал в десять часов вечера по подложному паспорту. Ехать было опасно — у мужчин часто проверяли документы. Он забрался на третью полку, подальше от чужих глаз. Вагон был переполнен. Когда проехали Москву, вошло несколько мужиков и баб с детьми. Они завалили своими узлами и мешками весь проход, лица у них были усталые, покорные, глаза смотрели пустым, мертвым взглядом.

— Беженцы? — спросил кто-то с нижней полки, и мужики и бабы закивали головами в ответ:

— Беженцы, беженцы.

Война прошла по их деревням, разрушила их. Их выселили по приказу военного командования. Обещали помочь, дать наделы, выдавать паек, но бросили на произвол судьбы. Они потеряли все имущество. Теперь едут на север.

Рядом с Мазуриным по другую сторону низенькой перегородки лежал человек в солдатской шинели без погон и в фуражке без герба. Он зорко, с нескрытой подозрительностью, оглядел Мазурина и попросил закурить. Серым неспокойным глазом пошарил по его лицу, по шинели, по сапогам и тихо спросил:

— Из полка, значит? Кончил воевать?

Мазурин ответил, что он в отпуску после раны.

— Все в отпуску,— неопределенно пробормотал солдат, — вот только Ковригин себя на действительной службе считает.

— Какой Ковригин? — поинтересовался Мазурин, на всякий случай поглядывая вокруг.— Я такого не знаю.

— Узнаешь,— пообещал солдат,— сейчас я его тебе представлю. Нет его тут, вышел куда-то.

Он курил, сидя согнувшись — голова упиралась в потолок вагона, и грустное выражение не сходило с его лица. Вдруг он сжался, метнулся вниз и пропал. Наметанный его слух уловил то, чего не слышал Мазурин: у двери контролер спрашивал билеты. Слышно было, как он долго ругал беженцев и грозил высадить их на первой остановке. Голос его приближался, охрипший, простуженный голос человека, плохо высыпающегося, страдающего от постоянных сквозняков.

— Вылезай, — сердито кричал он. — Тащи его, Пархоменко, за ногу.

Послышался плаксивый голос мазуринского соседа, и сразу несколько человек закричали на контролера.

— Что же он прятался?— оправдывался контролер.— Я же не знал, что он с фронту, на лбу у него не написано. А с нас спрашивают. Служба.

Крики усилились, и контролер поспешно ушел. Мазурин увидел своего соседа, он деловито карабкался на прежнее место.

— Спас меня мир,— подмигивая Мазурину, сказал он.— Не любит народ шкур всяких — фельдфебелей, контролеров.

Он докурил папироску, задрав ноги на железную скобу, привинченную к полке.

— Ловят, ловят,— философски размышлял он,— а всех не поймают. Таких, как я, — мильон.

— Все грешишь, Сомов,— послышался низкий, сдобный басок,— сказано тебе было, что не нашего здесь разума дело? Корову покупать, землю понимать — это мы все можем. А война — государственная история. Ну, а что ты в истории смыслишь?

Голова говорившего человека была похожа на тыкву — широкая и расплющенная сверху, она только и была видна, тело пряталось где-то под полкой. Пухлое, как всходящее тесто, лицо украшалось необычайными усами, толстые жгуты которых подымались почти до скул, глаза были малы, как тюремные оконца.

— Вот он, Ковригин,— обрадовался солдат,— вот он анпираторский защитник. Теперь его не остановишь — только слушай.

— И слушай,— наставительно подтвердил Коври-

гин.— Я хотя и простого сословия, но ум у меня есть. Я, скажем, повар, а в деревне у меня жена и мать и сын о пятнадцати годочках. Живут они в русском государстве, а на открытую государственную границу нападает иноземный враг. Пошли бы мы сами по себе, ты с вилами, я с ножом, так всех бы нас побил да разорил иноземный враг. Ан тут нам на помощь государство приходит. Оно войско собирает, его вооружает, начальников ему дает, великих князей на фронт посылает,— защищайся ты, русский народ, от врага, спасай свою землю родную. Так неужели же я свое государство предать могу?

Его глазки мерцали в пухлой мякоти лица, короткая рука плавно подымалась, точно Ковригин дирижировал.

— И гладко как все у него, чорта, выходит, точно острой косой скошено,— восхищенно проговорил Сомов.— Жалко же, что дураку господь такой дар послал. Ну, скажи, златоуст, что мне твой иноземный враг сделал? Звал я его? Не звал. Вредил я ему? Не вредил. Тут государства воюют, а не мы. Так пусть их воюют. Народ — это, брат, не государство, это — совсем наоборот. Вот оно что получается. Какой же мне расчет воевать?

— Дурень же,— поварской басок дрогнул от волнения,— заблуждаешься, горько ты заблуждаешься. Наплачешься еще из-за такого понимания.

— Уже наплакался,— равнодушно согласился Сомов. — Папироску не дашь?

Пухлое лицо исчезло, как петрушка, которого дернули за веревочку.

— Скупой, чорт,— объяснил Сомов,— я уж это в нем знаю. Только он мне надоест, я у него папиросу прошу. Покорнейше благодарю,— он проворно взял предложенную Мазуриным папиросу и заговорил, точно размышляя:— А ведь он убежденный, Ковригин-то. В Петроград в свою часть едет. Да!

И, повернувшись на бок, уснул в одно мгновение с горящей папиросой в зубах, тихо похрапывая и затягиваясь во сне.

12

Поезд прибыл в Петроград в шесть часов утра. Было еще темно, фонари горели на вокзале и на улицах, на

перроне было мало народа. Поезд был бедный, типичный «максим», и даже носильщики не выходили к нему. Поеживаясь от холода, Мазурин вышел на Знаменскую площадь. Площадь была пустынна. Недалеко от каменных ступенек вокзала застыла фигура конного городового. Всадник был в черной шинели. Длинная сабля висела у него на боку, плоская барашковая шапка покрывала массивную голову. Правая рука упиралась в бок, левая держала слабо натянутый повод. Крупный караковый конь стоял в дремоте, склонив голову. Ноги у коня были толстые и мохнатые, круп добротен, необычно широк. Недалеко от городового, возвышаясь над ним, в железном тумане раннего петербургского утра стоял другой всадник, до жути похожий на первого. Казалось, он был оригиналом, с которого отлили копию, находившуюся возле вокзала. Тяжело стоял его конь, в тупой кичливости всадник упер руку в бок, плоская шапка не прятала ни оплывшего бородатого лица, ни бычьей шеи. Вместе с городовым он охранял налаженный порядок столицы, грозил ее предместьям, давил своей тяжестью площадь и город. Страшная незыблемость была в нем. Прочно врос он в почву города и всей империи — не сдвинешь его в века, не поколеблешь. Мазурин в своей подбитой ветром шинелишке, стуча о промерзший камень сапогами, медленно прошел мимо обоих всадников, невольно улыбнулся их сходству и скрылся, отыскивая трамвай, который отвез бы его на Выборгскую сторону. Февральский ветер дул с моря, центр города еще не просыпался, а на окраинах выли гудки, и темные, согнувшиеся люди бежали по улицам, наполняли трамваи. Мазурин попал в переулок, плохо освещенный двумя газовыми фонарями, расположенными далеко один от другого, с разбитой мостовой, с низкими бесформенными домами, точно выброшенными сюда, как на свалку. Он отыскал нужный ему дом, прошел во двор, заваленный отбросами, и постучался в дверь. Дверь открыла молодая женщина. Мазурин спросил, дома ли Иван Петрович.

— Да вы входите,— ласково сказала женщина и улыбнулась ему.

— Ваня у соседа,— объяснила она,— сейчас он вернется, а я вас пока попою чайком. Шинель свою вот сюда повесьте и садитесь к столу.

Женщина была небольшая, чуть полноватая, с вьющимися каштановыми волосами, чистенькая в своем коричневом платье. И в комнате была чистота, несмотря на раннее утро. Круглый стол застлан суровой скатертью с голубой вышивкой, кровать покрыта кружевной накидкой, пол вымыт, как палуба военного корабля.

— Хороший вы работник,— сказал Мазурин,— подвезло Ивану Петровичу.

Она засмеялась.

— А он вечно недоволен.

— Врешь, врешь,— перебил ее мужской голос,— рада ты на меня всегда наклепать.

Мазурин обернулся. В дверях стоял высокий, лет сорока человек («А жена-то лет на пятнадцать моложе»,— невольно подумал Мазурин) и внимательно глядел на него, сощурив немного глаза.

— Мазурин?— нерешительно спросил он, подходя с протянутой рукой.— Неужели ты? Фу, как изменился! На фронте был, сразу по тебе видно. Ну рассказывай, каким ветром тебя в Петроград занесло.

— Думал, что тебя не застану,— сказал Мазурин,— на работе тебя считал.

— Не работаем мы сегодня,— он понизил голос,— бастуем.

И оглянувшись на дверь, Иван Петрович пояснил:

— Суд над нашей думской фракцией сегодня начинается. Хотим к окружному суду итти.

— Я потому и приехал,— тихо сказал Мазурин,— хочу на фронт все ваши тыловые новости повезти.

— При ней все можно,— Иван Петрович показал на жену.— Так на фронт, говоришь, поедешь? Хорошо это, друг, а то оторвали нас от армии, не знаем, как там наши товарищи живут. А много их там, обезлюдело у нас на заводах. Заставим тебя порассказать. Дня два пробудешь здесь?

Они жадно набросились друг на друга, едва успевая отвечать на обоюдные вопросы. Жареная картошка стыла на столе, Сашенька кричала на них, а они, потыкав в картошку вилками, опять забывали про нее и все говорили.

— Вертимся понемножку,— рассказывал Иван Петро-

вич.— За последние дни выпустили несколько прокламаций. Вчера последняя вышла. Сашенька, покажи ему.

Она скрылась на секунду и принесла листовку — узкую, сероватую бумажку, покрытую печатными буквами.

— Вот я тебе прочту,— сказал Иван Петрович,— да погоди, не рви из рук.

Мазурин, заглядывая в листовку, слушал и сам читал:

«В лице депутатов будут судить вас, пославших их и неоднократно заявлявших о своей полной солидарности с деятельностью фракции... Под гром орудий и лязг сабель думает оно (правительство) заживо похоронить еще одну думскую фракцию рабочего класса. Товарищи рабочие! Докажем, что враги наши ошиблись в расчетах (это место оба вместе читали вслух и в увлечении не заметили этого, только Сашенька улыбнулась, глядя на них), докажем, что в грозный час, когда призрак смерти висит над головами депутатов, мы с ними. Пусть перед судом предстанут не пять депутатов, а весь рабочий класс, громко заявляющий о своей солидарности, о подсудимости и готовности бороться за своих представителей и за идеалы, начертанные на нашем красном знамени. Товарищи рабочие! Бастуйте в день десятого февраля, устраивайте митинги, демонстрации, протестуйте против наглого издевательства царского правительства над рабочим классом».

Мазурин курил, кивал головой.

— Главное, — сказал он, — что горит наш огонечек, не тухнет.

— Слабенько горит,— проворчал Иван Петрович.— Ты к подъему как раз приехал, а раньше совсем тихо было. Чуть, знаешь, кто зашумит, сейчас же его к расчету и прямым путем в маршевую роту.

Он, улыбаясь, оглядывал Мазурина.

— В шинели не ходи,— посоветовал он,— за военных полиция прежде всего цепляется. Как у тебя с паспортом?

Мазурин рассмеялся.

— Нибудь как, — ответил он, — так мальчонок один говорил, Водей его зовут.

— Ночевать можешь здесь,— предложил Иван Петрович.— У меня пока обысков не было. Пойдем, что ли?

Он достал с гвоздя бобриковую куртку и шапку-ушанку и отдал Мазурину — надевай. Сам натянул осеннее пальто, замотал шею шарфом и обнял Сашеньку.

Они вышли. Серые каменные тучи низко висели над городом. Осклизшая изморозь падала из туч — казалось, что распухший гнилой воздух разваливается клочьями, оседает на камни мостовой и тротуаров. Гудки замолкли, меньше рабочих встречалось на улицах — заводы поглотили утреннюю смену, а ночная успела разойтись по домам. Иван Петрович зябко поводил плечами.

— Мало народа будет,— хмуро произнес он.— Девятого января — самый наш боевой день в Петрограде — и то никаких демонстраций не удалось провести. Две с половиной тысячи людей не работали — и все. А в прошлом году больше ста тысяч человек бастовали в этот день. Вот как нас война поломала.

Трамваем они проехали в центр города. Империя дала уже первые трещины, но они были еще искусно замазаны. Замерла морская торговля, порт был пустынен и тих, но с юга, севера и востока еще подходили ежедневно поезда с зерном, крупой, мясом, мороженой дичью, сибирским и вологодским маслом. Привозили с Урала мерную стерлядь и в боченках — зернистую и паюсную икру. Магазины ломились от всякой снеди, рестораны были полны, как никогда, жизнь столицы текла бурной, широкой рекой.

...Улицы жили обычной жизнью: проезжали автомобили, пролетки извозчиков, груженные товарами подводы. Непрерывным потоком шли пешеходы. Возле окружного суда стояла цепь пеших городовых, а конные разъезжали вокруг, никого не подпуская близко к зданию. Впрочем, большинство так называемой чистой публики проходило, оглядываясь только из простого уличного любопытства — судьба думской фракции большевиков волновала только рабочую часть населения столицы. Либеральная печать с особой тщательностью замалчивала процесс, а кадетская фракция запретила своим членам адвокатам выступать защитниками по делу рабочих депутатов.

Из-за угла появилась маленькая группа студентов. Впереди шел худой, с белесой бородкой, студент, все время поправляя рукой пенсне. К группе поскакал конный городовой и, наезжая на студентов, закричал, помахивая нагайкой:

— Мимо, мимо прошу, останавливаться нельзя.

— Да кто же останавливается?— сердито спросил первый студент.— Видите, что люди прямо идут.

— То люди, а вы студенты,— голос городового звучал с укоризненной вразумительностью,— не задерживайтесь, не задерживайтесь.

Пока гнали студентов, с другой стороны улицы вышла толпа рабочих. Один проворно выхватил из-за пазухи красный флаг на коротком древке и замахал им.

— Долой вешателей! Требуем освобождения рабочих депутатов!— закричал он, голос у него был густой, бархатистый, как у певца.

К нему бежали со всех сторон — полиция и какие-то люди, незаметно накопившиеся на углах. Они оттискивали городовых от человека с красным флагом. Произошла короткая схватка, в центре которой неожиданно оказался студент с белесой бородкой, только что прогнанный от суда. Иван Петрович и Мазурин побежали к толпе. Рабочие пытались освободить своего товарища, схваченного полицией. Иван Петрович рывком прорвался в середину схватки и отбросил двух городовых, вцепившихся в рабочего.

— Ходу, ходу,— закричал он, таща за собой спасенного.

Демонстранты разбегались во все стороны. Студент оказался в плену. Несколько городовых били его и тащили к зданию суда. Вслед за Иваном Петровичем Мазурин бросился в переулок. Втроем они забежали в ворота.

— За мной, за мной,— прерывисто шептал их третий товарищ,— я знаю куда.

Двор оказался проходным, и они вышли в другой переулок. Мазурин разглядывал нового их спутника. По узкому его зеленоватому лицу текла кровь, в рыжеватых впалых глазах были злость и исступление. Одет он был в телогрейку и стоптанные сапоги.

— Вцепился бы,— пробормотал он, тяжело дыша,—

много они, сволочи, меня били, поквитаться хоть разок.

— Откуда ты?— спросил Иван Петрович.

— С Лесснера,— отвечал рабочий,— не вышло, видишь, не вышло у нас сегодня. Ведь нас двести пошло, да дорогой все разгоняли да разгоняли.

— Зайдем во двор,— сказал Мазурин,— кровь на лице замыть надо.

— Ладно,— ответил тот,— вы идите себе, товарищи, я сам справлюсь.

Он скрылся в подъезде невзрачного дома, а Мазурин и Иван Петрович пошли дальше. Они сели в трамвай. Повизгивая, вагон катился к окраине. На Выборгской стороне было неспокойно. На улицах стояли наряды полиции. Возле заводов дежурили конные отряды. Околоточные подозрительно осматривали каждого рабочего.

Они пытались пройти на завод Лесснера, но городовой грубо оттолкнул их от ворот.

— Ну-ка, проваливайте отсюда.

К ним уже бежал околоточный и двое городовых, и они бросились назад. Возле завода ходили в одиночку и группами рабочие. Это были те, которые не вышли на работу. На заборе были наклеены клочья прокламации, очевидно, только что сорванной полицией. Несколько кусочков, особенно прочно наклеенных, остались на заборе, и можно было прочесть:

«...правительство палач, замучившее на кат... сосущее кровь народную, бросило... ...гнусную расправу над избранниками рабочих... разгромило... во время войны с еще большей свирепостью душит рабочий класс...»

Подбежал городовой с ведром и черной краской стал замазывать клочья прокламации, испуганно и сердито косясь на рабочих. Цокот копыт о камень донесся из-за угла. Отряд донцов в лихо заломленных папахах проехал мимо завода.

— Боятся нас больше, чем немцев,— громко сказал насмешливый голос,—лучшие войска против нас оставляют.

Вокруг засмеялись. Донцы смотрели равнодушно, ничего не отвечали. Пошел мелкий серый снег.

13

Васильева вызвали в штаб полка. Его встретил Денисов, аккуратный, чисто выбритый. Только глаза капитана припухли, и под ними легли синие тени. Он крепко пожал Васильеву руку и молча положил перед ним карту юго-западного фронта. Красным карандашом обвел крошечную точку на карте.

— Горлица,— сказал он,— здесь немцы прорвали наш фронт. Вся дивизия перебрасывается туда.

Оба наклонились над картой. Пощипывая соломенные усики, Васильев слушал адъютанта. Пожалуй, он лучше его понимал положение. Карпатская операция поглотила лучшие силы армии, растрепала и без того скудные запасы боевого снаряжения. А между тем вся эта операция была порочной по замыслу. Углубляться в горы для того, чтобы подставить свой правый фланг и тыл противнику, нависавшему с севера от Кракова,— как могло пойти командование фронтом на такой риск, как могла ставка разрешить такую операцию! Не мало дней уже Васильев мучительно думал над этим вопросом и успокаивался на одном: вероятно, он многого не доучел. В конце концов он всего лишь простой офицер — даже не генерального штаба, не может быть, чтобы там наверху не видели того, что было ясно ему.

Вошел Уречин. Офицеры встали. Командир полка пожал им руки и сел перед картой.

— В штабе настроены пессимистически,— рассказывал Уречин, вытягивая под столом длинные ноги.— Рассказывают, что два месяца немцы готовились. Вся армия знала, что к ним подвозятся войска, артиллерия, снаряды, что производится перегруппировка. И пальцем не пошевелили. Перли в эти проклятые Карпаты, гнали туда босых, раздетых солдат, без горной артиллерии, без подготовки к зимней горной войне. Вы поглядите на карту.

Он поднял покрасневшее лицо и произнес длинное бессмысленное ругательство.

— Ну, хорошо, мы прорвемся в Венгерскую равнину, скажем, что уже прорвались,— свистящим голосом говорил он.— Что же получается? Армия, вышедшая туда, изолируется от остальных наших сил, все ее коммуникации должны проходить через Карпаты, а про-

рвать их противнику, держащему под угрозой наш фланг, будет всегда возможно. Это значит, что при малейшем успехе немцев на фронте Тухов — Горлица — Зборы мы должны оттягиваться назад из Карпат, чтобы избежать окружения. Теперь такой успех налицо. Стратегия генералов Иванова и Алексеева приносит свои плоды.

Он замолчал, побарабанил пальцами по столу и обратился к Денисову:

— Андрей Иванович, сделайте назавтра необходимые распоряжения.

Денисов торопливо писал. Был виден ровный пробор на его голове.

— Василий Германович,— сказал он,— я думаю безоружные команды отправить третьим эшелоном. У нас их больше, чем вооруженных.

Уречин кивнул головой.

— Если бы они хоть винтовки с убитых посбирали,— вслух думал он,— судя по рассказам, третья армия здорово помята.. Валяйте безоружных третьим эшелоном.

В дверь постучали. Вошел прапорщик в запачканной машинным маслом кожаной куртке и, отдав честь, конфузливо спрятал грязные руки. У него были розовые молодые щеки, а под глазами частые насечки морщин.

— Не стыдитесь этой грязи, прапорщик, — весело сказал Уречин, — эта самая святая грязь. Ну, как у вас там с патронами?

— Сто восемьдесят тысяч удалось вырвать, господин полковник, — ответил прапорщик.

Уречин вскочил.

— Молодец! — весело закричал он. — Ведь это по полтораста патронов на винтовку. Где же вы их достали?

— В соседней части, — ответил прапорщик, — улыбнулось счастье, господин полковник.

И добавил, поглядывая на довольное лицо командира:

— Приходится добывать всякими средствами, — ведь на прошлой неделе было по двадцать пять патронов на винтовку.

— Так, так, — садясь, сказал Уречин, — хоть воруйте вы их, но чтобы были.

Уречин быстро поднялся и, кивнув офицерам, вышел из комнаты.

До ближайшей станции железной дороги было шесть верст. По грязной весенней дороге шли колонны полка. Неся винтовки на ремнях, сутулясь, привычным размашистым шагом двигались старые солдаты. Между ними, шаркая и стуча толстыми, покоробившимися буцами, с походными мешками за плечами, с пустыми патронными сумками на поясах, нестройно шли ратники ополчения без оружия. Голицын, уже освоившийся с фронтом и крепко подружившийся с Карцевым, свободно и легко ставил толстые ноги, коренастое его тело раскачивалось.

— О двадцати годах я был,— рассказывал он, весело поглядывая вокруг, — и сманили меня тогда на богомолье в Киев. Старались мы поспеть к троице и ходко же шли. Старики эти богомольцы, а чтобы праздник не прозевать, махали, как молодые. Вот я и думаю, что хорошо бы этих богомольцев к походам приспособить. Им шагать привычное дело, народ они бесполезный, дать бы им попов и монахов за начальников — пускай воюют.

Ефрейтор Банька с любопытством посмотрел на Голицына.

— Вот гляжу я на тебя, — медленно сказал он, — складно ты говоришь. От богомолья это, значит, и привилось. Натаскался ты с божьими людьми.

— Молиться хорошо в праздники,— вмешался Гилель Черницкий. — Когда хорошо покушаешь и выпьешь стаканчик водки, тогда молитва сама просится из человека. Как ты думаешь, Рогожин? Ты же мастер по молитвам.

Солдаты засмеялись. Рогожин часто молился по вечерам перед образком великомученика Пантелеймона, который он носил на груди, и пел в хоре у отца Василия по праздникам. Бог был его последним прибежищем, и с крестьянским упорством Рогожин наседал на него, вымаливая легкую рану, которая спасла бы его от фронта.

Вдали показалась водокачка и рядом с ней желтое каменное здание станции. У станции полк встретил старый капитан Блинников и доложил командиру, что состава нет, и начальник станции ничего не знает о предстоящей перевозке. Три часа ушло на переговоры по телефону со штабом дивизии. Выяснилось, что кто-то

напутал. Состав подали на другую станцию, в пятнадцати верстах отсюда. Пока звонили туда и перегоняли состав, прошло еще два часа, и только к вечеру старенький, низкий паровоз притащил вагоны. Обеда не было, так как его назначили в том пункте, где эшелон был бы уже, если бы отправился во-время. Солдаты полезли в теплушки и сейчас же оттуда послышались крики и ругательства. Вагоны были завалены навозом, в них перевозили скот и, не очистив, подали под эшелон. Какой-то солдат девятой роты, измаравшийся в навозе, выскочил из вагона и крикнул:

— Глядите, братцы, прямо в г...е везут. Все равно, мол, издыхать, так дохните в нужнике.

Поручик Журавлев, дежурный по посадке офицер, подскочил к нему.

— Ты чего это?— зловеще спросил он.— Марш сейчас же в вагон!

— Не полезу, ваше благородие, — решительно ответил солдат, — поглядели бы сами, что делается. Или мы не люди?

— Я тебе покажу людей, — ощерясь, просипел поручик,— пороть прикажу,— марш все по вагонам.

Несколько человек двинулись к вагонам, но большинство не тронулось с места. Солдаты стояли с напряженными лицами, их глаза не отрывались от офицера, и он вдруг обмяк и скрылся почти бегом. Уречин угрюмо выслушал Журавлева, которого не любил и считал никуда не годным офицером, и приказал немедленно вычистить вагоны. Раздобыли метлы и лопаты, и через полчаса вагоны были очищены. Из-за палисадника послышались веселые крики. Человек двадцать солдат бежали к вагонам, таща охапки сена.

— Где, где взяли?—спрашивали их, и они показывали назад:

— Там в сарае, капитан Васильев разрешил брать.

К сараю бросился весь полк. Васильев стоял, похлопывая стэком по своим грязным сапогам. К нему подбежал интендантский чиновник, коротенький, точно подрубленный снизу человек, с толстым, красным от ярости лицом, и закричал что-то, брызгая слюной.

— Дадим квитанцию, — сказал Васильев, — видите, что сено нам нужно.

— Я буду жаловаться, — вопил чиновник, — самоуправство, грабеж... Вы ответите.

Васильев вдруг шагнул к нему, сощурив глаза и наклоняясь вперед. И с повеселевшим лицом смотрел, как покатилась прочь толстая, короткая фигура.

Было уже темно, когда эшелон тронулся. Офицеры поместились в вагоне третьего класса.

Карцев, Рогожин, Черницкий, Голицын и Защима удобно устроились в уголке вагона на сене.

Поезд неторопливо двигался вперед. Колеса повизгивали по-щенячьи. Старые вагоны тряслись и дребезжали. Запах махорки и запах многих скученных тел густо заполнил теплушку. От пола крепко несло навозом и конской мочей. Буфера жалобно лязгнули, поезд сильно толкнулся и остановился. Карцев немного отодвинул дверь. Ночь была черна. Не было видно ни одного огонька, не было слышно ни одного голоса. Он отошел от двери, не решаясь выйти: было жутко прыгать с высокого вагона в бездонную черноту.

Прапорщик Петров осторожно сошел по ступенькам офицерского вагона и ощупью пошел вдоль поезда. Впереди отсвечивало пламя из поддувала паровоза. Дверь одной теплушки была немного отодвинута, оттуда доносились голоса. Он остановился.

— Учит он их, учит, — оживленно говорил высокий голос, — никакой, значит, пощады никому не оказывал. Чуть что — хлещет по морде, под винтовку ставит, отпуска в город лишает. Потом ввел розги. Секли одного городского. Ну, положили его, а у него изо рта пена—не может он такого унижения вынести. Ну, вот. Выходит нам на позиции ехать. Тут все господа офицеры отказались с нами отправляться, перевелись в другие маршевые роты, а он не отказывается. Слышал я, как фельдфебель его отговаривал — не езжайте, ваше благородие, солдаты, мол, за битье на вас злопамятны, а он со смехом отвечает:

«Это мне хамов бояться? Они мне, — говорит, — за науку должны быть благодарны».

Рассказчик замолчал, и чей-то голос с нетерпением спросил:

— Ну и что же?

— То же,—выразительно после короткой паузы ответил голос рассказчика, — поблагодарили его благоро-

дие за науку. Поймали его, супчика, в некотором месте и вогнали горячие пули в офицерское тело. Исхлестался он кровушкой своей аспидовой, отлились ему розги, заплатили ему за все его мучительство.

Голос звучал таким удовлетворением, таким глубоким сознанием справедливости убийства офицера, что Петрову стало страшно.

— Эка невидаль, — равнодушно сказал новый голос.

Петров отошел. Паровоз низко и протяжно загудел, и он, боясь остаться один в этой беспросветной ночи, побежал к своему вагону.

14

Чем ближе подъезжал полк к месту своего назначения, тем труднее становилось его продвижение. Путь был забит эшелонами, простаивавшими на станциях по нескольку дней. Всюду валялись груды военного снаряжения, в котором была страшная нужда на фронте, но которое не могло быть туда доставлено из-за хаоса, царившего на железных дорогах. В Ковеле стояли больше суток. Карцев и Голицын пробрались к вокзалу. Подходя, они услышали стоны, крики, ругательства и жалобы. На перронах, во всех помещениях вокзала и вокруг него на голой земле или на гнилой, мокрой соломе под открытым небом лежали тысячи раненых солдат. Шел холодный дождь, липкая грязь покрывала землю. На пустыре, окруженном низеньким заборчиком (тут, видно, было складочное место, сохранились еще остатки навеса, крытого толем), так тесно один к другому, что нельзя было пройти, лежали раненые. Голицына окликнули. Он, оглянувшись, подошел к солдату, лежавшему на грязной подстилке, с походным мешком под головой.

— Сеня, ты? — неуверенно спросил он.

Карцев всматривался в серое, с заострившимся носом лицо, в мертвые, сморщенные губы лежавшего.

Раненый слабо кивнул головой.

— Пятый день лежим,— прошептал он,—ни перевязки, ни заботы... убили бы...

Он не договорил, слезы покатились по спутанной бороде и хриплый плач вырвался из его горла. Они

приподняли его. Рана была на правом бедре. Невыносимый смрад исходил от нее.

— Что же я сделаю? — беспомощно пробормотал Голицын.— Фершала бы надо тебе.

Карцев оглядывал раненых. Место это походило на кладбище, покрытое мертвецами, которых свалили здесь для погребения. Но мертвецы жили. Глаза у одних смотрели в муке и отчаянии, у других в бешеной злобе, у третьих с покорной обреченностью. Карцев увидел Петрова, идущего по площади, и побежал к нему. Приложив к фуражке руку (вокруг был народ), он сказал, задыхаясь:

— Вот, посмотри, на всю жизнь не забудем... вот они — русские солдаты.

Петров глядел, все больше бледнея, и пошел отыскивать начальство. Никто ничего не знал. Тогда в бешенстве он ухватил за плечо фельдшера с унтер-офицерскими нашивками и закричал на него:

— Скажешь ты, чорт тебя возьми, где здесь главный врач?

— Да вы не кричите, ваше благородие, — угрюмо ответил фельдшер, — и без вашего крика тошно. Но при чем здесь главный врач? Нет у него ни коек, ни вагонов, ни помещений — вы начальника санитарной части спросите, вон видите, высокий такой с дамочкой стоит.

Начальник санитарной части строго посмотрел на Петрова.

— А позвольте спросить, прапорщик,—щеки у него надулись и глаза свирепо выкатились, — а какое вам собственно дело до эвакуации раненых? К-какое дело?

Сердце у Петрова покатилось куда-то вниз и вдруг душным комком прыгнуло к горлу. Слепое бешенство залило его, и, весь побелев, он подступил к высокому чиновнику, рвущим движением отстегивая кобуру.

— А такое дело, — тихо сказал он, — а такое дело, что люди умирают, а здесь какие-то... мучат, измываются, а такое дело... что я вас сейчас...

Он видел, как глаза чиновника выпучились, точно его душили, как в безмолвном крике открылся его красный, мясистый рот — чиновник пятился, прикрывшись руками, а Петров надвигался на него. Дама, путаясь в шубе, бежала прочь.

— Ради бога, голубчик, — услышал он и почувствовал облегчение оттого, что инцидент, характер которого уже начинал страшить его самого, принял менее острые формы, — ради бога, не волнуйтесь. Мы тут бессильны что-нибудь сделать. Нет у нас медицинских сил, нет санитарных поездов. Ожидали две тысячи вагонов, а нам прислали восемнадцать. Хотели сорганизовать поезда-теплушки, но генерал Данилов категорически запретил отправлять в них раненых, так как по приказу верховного начальника санитарной части принца Ольденбургского эвакуировать можно только в санитарных поездах... Извольте выйти из этого заколдованного круга.

Петров отошел от него. Ему было стыдно, противно. Карцев и Голицын ждали его. Надежда светилась на лице Голицына.

— Как же, ваше благородие, — спросил он, — перевяжут, что ли, землячка?

Прапорщик отыскал фельдшера и повел его к раненому.

На следующий день полк кружным путем отправили дальше. Но уже через три пролета движение вперед стало невозможным. Не только станции, но и все пространство на несколько верст от них было забито грузами, эшелонами войск, составами с ранеными и платформами и походными кухнями. По обочинам путей шла масса солдат, в большинстве безоружных. По проселочным дорогам тянулись военные обозы и бесчисленные телеги с гражданским населением. К телегам за рога были привязаны коровы, дети плакали на узлах с тряпьем. Это были галичане, которых по чьему-то приказу заставили сняться с родных мест, и они еще больше увеличивали затор в ближайшем тылу фронта и мешали движению войск и обозов. Полк высадили, и он двинулся походным порядком. Было похоже, что здесь происходит переселение народов.

Корпуса, дивизии и полки за последние месяцы накопили массу всякого имущества. Сведения о наличном составе едоков всегда значительно превышали действительное число их в полках, так как было выгодно получать большее количество снаряжения и продовольствия, и поэтому на руках у заведующих хозяйствами

всегда имелись избыточные средства. Часть из них раскрадывалась, но были и такие заведующие, которые, ревниво блюдя интересы полка и предвидя мирное время, закупали всякое имущество: по два оркестра, лошадей, дорогие коляски, даже мебель. При первом удобном случае все это сплавлялось в глубокий тыл, но значительная часть застревала недалеко от фронта, занимала драгоценные составы вагонов, тысячи повозок. Иногда вся эта дрянь перевозилась под видом оперативных обозов. Половина кадровых офицеров ютилась по тылам, свалив все тягости на прапорщиков, и многие командиры полков снисходительно смотрели на это, так как хотели сохранить, как они говорили, «хоть на развод» старых кадровых офицеров. По тем же причинам в тыл посылали и наиболее опытных фельдфебелей и унтер-офицеров. Карпатская операция, длившаяся с поздней осени четырнадцатого года по весну пятнадцатого, высосала все живые силы русской армии, и к тому времени, когда одиннадцатая германская армия Макензена начала свой удар у Горлицы, ей противостояла русская армия, плохо обученная, плохо вооруженная, плохо управляемая и совсем лишенная запасов боевого снаряжения. Артиллерийских снарядов не было. Операции велись на «ура», и атаки, совершаемые без артиллерийской подготовки, с беззаветной солдатской храбростью, требовали колоссальных жертв. Как восточно-прусская, так и карпатская операция проводилась под давлением союзников, которым нужна была длительная передышка после тяжелых боев на западном фронте.

Глядя на разбитые отряды солдат, на их землистые и изнуренные лица, на тот хаос, что царствовал в тылу отступающих армий, Карцев вспоминал август прошлого года в Восточной Пруссии, когда такой же бесформенной массой текли назад разбитые корпуса Самсонова. Ему встретилась крестьянская телега, запряженная рослой гнедой лошадью. На телеге были два раненых солдата. Один — с перевязанной ногой — правил лошадью, другой лежал, забинтованная голова его моталась на сене, и он вскрикивал и стонал.

— Сам себе госпиталь, — весело сказал солдат с перевязанной ногой. — Экуирую себя да товарища. Лошадь скрали и помаленечку едем.

На них смотрели с завистью и одобрением.

— Изобретатели, — сказал Рогожин, — вот счастье людям. Только бы не поймали вас.

— Нас-то? — с великолепным пренебрежением проговорил солдат. — Сейчас сами господа ахфицеры едва ноги уносят. Где им на других смотреть.

— Возьми в свой госпиталь, — попросил Черницкий, — что мне тут делать?

— Места хватит, — весело оскалился раненый. — Забинтуйся да ложись. Места хватит, — повторил он, — а документов нам не надо. Мы и так поверим солдатскому слову. Воюйте себе на здоровье, землячки.

Он тронул вожжи. Выражение счастья и упорства было на его скуластом лице.

Проходили большое село. У массивных амбаров стояли часовые. Двери были распахнуты, и с улицы были видны ящики, сложенные штабелями до самого потолка. Высокий, очень худой кавалерийский полковник в усах и с острой бородкой, похожий на Дон-Кихота, циркулем расставив тонкие стрекозиные ноги, кричал на военного чиновника, стоявшего перед ним с унылым и равнодушным видом.

— Я вас спрашиваю,—кричал полковник,—какое вы имеете право так действовать? Вас надо расстрелять. Ни одного патрона нет в частях, а он, мать его... прячет целые склады. Для кого ты их прячешь? для кого?

— Зачем же меня расстреливать? — с унылым равнодушием отвечал чиновник. — Патроны — казенное имущество. Я их по росписи принимал, по росписи и выдаю. А вы — чужая часть. Не нашего корпуса. У вас свое снабжение. Как же я могу чужой части выдавать казенное имущество? Меня за это под суд отдадут.

— Вот из-за таких сукиных сынов мы войну проигрываем, — ревел полковник. — Сейчас же выдавай патроны. Слышишь? Ведь все равно немцам достанутся.

— Как же достанутся? — сказал чиновник. — Мы постараемся вывезти, а не удастся — взорвем... А выдать чужой части, как хотите, не могу.

Полковник проворно схватил его за грудь и отбросил в сторону.

— Грузи на мою ответственность, — крикнул он, — и живей, ребята.

К складу уже подъезжали подводы, окруженные кавалеристами. Дюжие солдаты начали быстро выносить ящики. Они хохотали, явно радуясь тому, что их начальник нарушил казенный порядок и без спроса, даже насильно берет патроны. К полковнику подошел прапорщик, солидный человек с широченной спиной, и попросил разрешения взять патроны для своей части.

— Валяйте, прапорщик, берите, — весело махнув рукой, сказал полковник. Задрав тонкую бороду, победоносно поглядывая на чиновника, который жалowался издали, не смея подойти, он еще больше напоминал рыцаря печального образа.

В небе послышалось гудение, и люди, крича, побежали прятаться.

Бомба попала в крышу соседней избы, и избу разметало с грохотом. Солдаты, грузившие патроны, ударили по лошадям и с гиканьем понеслись по улице. Полковник, ругаясь, влезал на сухого, высокого коня.

15

Из штаба дивизии на автомобиле прибыл офицер генерального штаба с инструкциями и срочным приказом. Это был маленький, щегольски одетый капитан, совсем еще молодой, с беспокойными движениями. Он подробно, очевидно, восхищенный важностью своей миссии, передавал Уречину, в чем заключается задача его полка (он говорил «вверенного вам полка»), и, не удержавшись, стал излагать обстановку на фронте, принимавшую, по его словам, катастрофический для русской армии характер. Уречин слушал угрюмо, ничего не говорил, но так убийственно смотрел на капитана, что тот, смутившись, поспешил откланяться.

— Наполеончики, — сказал полковник, — прямо из академии и уже полководец. Офицер генерального штаба осмеливается на фронте, в разгаре боевых действий, выговорить — катастрофа. Я бы ему роту не доверил, а он убежден, что лучше всех понимает положение армии, и хвастает этим.

Он приказал пригласить старших офицеров и вместе с ними разобрал обстановку и задачу, данную полку. Положение русских было тяжелое. Третья армия Радко-Дмитриева занимала фронт от впадения Дунайца

в Вислу до Лунковского перевала в Восточных Карпатах. Справа к ней примыкала четвертая армия Эверта, слева (то есть с юга), занимая лесистые Карпаты до Ужокского перевала — восьмая армия Брусилова. Русское командование давно знало, что германцы готовят прорыв в районе Горлицы. Туда подвозилась германцами тяжелая артиллерия, минометы, огромное количество боевого снаряжения и новые дивизии с англо-французского (западного) фронта. Третья армия, против которой готовился удар, не имела в своем ближайшем тылу ни укрепленных позиций, ни армейского резерва. И все же ставка позволила генералу Иванову продолжать гибельную для русских карпатскую операцию и не настаивала на перегруппировке сил юго-западного фронта для противодействия явно готовящемуся удару германцев. Как и во время первых операций в Восточной Пруссии, командование проявляло характерные свои качества — нерешительность, вялость и полную стратегическую слепоту. Кроме всего этого, положение ухудшалось неурядицей в тылу, отсутствием организации и слабостью транспорта. Значительная часть снарядов застревала внутри страны. В Архангельске образовалось настоящее кладбище боевых материалов. До конца войны оставались невывезенными тридцать пять миллионов артиллерийских снарядов, в то время, как в самые горячие дни горлицкого прорыва дневной расход шестиорудийной гаубичной батареи в третьей армии был установлен в десять выстрелов — меньше двух выстрелов на орудие. Переброски войск совершались с катастрофической медлительностью.

Уречин получил известие о разгроме второго полка их бригады. Полк этот был атакован германской кавалерией в то время, когда он шел в походных колоннах. Уречин с трудом скрывал свое горе и тревогу. В самых трудных условиях ему приходилось вести свой полк, большей частью состоявший из плохо обученных, не обстрелянных солдат. Верхом на рыжей венгерской кобыле, купленной им у казака, полковник у края дороги внимательно осматривал проходившие мимо него ряды. На повороте высился большой потемневший крест с распятым Иисусом. Сиреневые губы на белом бородатом лице распятого были сердито сжаты. Солдаты с любопытством смотрели на крест,

некоторые нерешительно крестились. В ложбинке виднелась деревня, за деревней сосновый мачтовый лес темнел разными вершинами.

— Владимир Никитыч,— тихо сказал Уречин Васильеву, — поглядите на них, — толпа, а не полк. А сегодня они встретятся с немцами. Как у вас в батальоне?

Капитан пожал плечами.

— Закваска осталась, — ответил он, — в батальоне имеется около сотни старых солдат. — И добавил: — Ничего. Привыкнут. Народ боевой, храбрый у нас народ.

— Увидим, увидим, — сказал Уречин, поправляя новый желтый ремень уздечки возле ушей лошади. — Пожалуйста, Андрей Иванович, — обратился он к Денисову, — передайте еще раз в роты, чтобы берегли патроны. Ну, с богом.

Он снял фуражку, пошевелил перед грудью сложенными пальцами и тронул коня. Васильев, козырнув ему, рысью поехал к своему батальону. Несмотря на тревогу, испытываемую им, он был в прекрасном настроении. Денисов сообщил ему, что в штабе дивизии уже получен приказ о его производстве в подполковники и об утверждении списка солдат, представленных к Георгию. Он увидел Карцева, шедшего на фланге своего взвода. Синие его глазки с удовольствием остановились на сильной, ловкой фигуре солдата.

— Карцев, — позвал он, и тот вышел из рядов, с готовностью глядя на командира, которого любили солдаты за простоту обращения, за храбрость и военную умелость.

— Поздравляю с Георгием, — отрывисто и ласково сказал капитан и улыбнулся, опять вспомнив, что и он награжден.

«Штабс-офицер, неужели я штабс-офицер?» — радостно подумал он, слушая четкий солдатский ответ:

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие.

— Представляю тебя в младшие унтер-офицеры, — проговорил он, охваченный потребностью сделать и других счастливыми, и, кивнув головой Карцеву, поехал дальше. Он весело вдыхал весенний воздух, запах влажной земли был ему приятен. Он сорвал на ходу бурую клейкую почку, по-ребячьи лизнул ее и засмеялся.

Артиллерийская стрельба доносилась все яснее. Дорога была загромождена беспорядочными массами войск, обозами и артиллерией. Солдаты шли по обочинам дороги, переругивались с обозниками, присаживались на землю и перематывали портянки. В глубь тыла увозили тяжелую артиллерию — сорокадвухлинейные гаубицы, лишенные снарядов. Артиллеристы с веселыми лицами погоняли сильных, с широкими крупами лошадей и шутили с пехотой. Только немногие были угрюмы — старые бомбардиры, сроднившиеся со своими орудиями, фельдфебели с золотыми шевронами на рукавах, усатые, злые. Черный волосатый полковник поздоровался с Уречиным, остановившим его, молча выслушал вопросы, заданные ему, и, нехорошо усмехаясь, сказал, указывая на свои погоны, на которых перекрещивались дула орудий:

— Нужны вам эти пушки, так, пожалуйста, заберите их. Они вам будут полезны не меньше, чем эти (он показал нагайкой на свой дивизион)... эти хлопушки, которым нечем хлопать.

Он открыл черный мохнатый рот с таким выражением, как будто его больно ударили, и, вздыбив коня, ускакал галопом. Движение замедлилось. С холма была видна дорога на несколько верст вперед. Васильев ворча осматривал ее в бинокль. Казалось, что река катит густые, рыжие от размытой глины воды, и они, наткнувшись на плотины, затопили берега. Воды шевелились, и глухой гул исходил от их поверхности. Сильные стекла показали ему странную картину. Стадо белых, длиннорогих быков стеснилось на дороге. Пестрые таборы людей, повозок и лошадей окружали его. Пастухи дикого вида, в козьих шкурах, с палками и котомками прыгали возле быков.

Он поскакал к Уречину. Полковник выслушал его.

— Надо свернуть с дороги, — пожав плечами, сказал он, — тут мы не пройдем.

16

Роты стали пробираться в сторону. Шли проселками, иногда — полями, топча жирную, вспаханную землю, в одном месте прошли участок, покрытый нежными изумрудными всходами озимых, затоптав его тяжелы-

ми сапогами. Перед ними показалась долина, перерезанная извилистой, неширокой речкой. На другом берегу подымался круглый зеленый холм. Три сосны росли на его вершине. Уречин поскакал к речке. Сильный конь, широко расставляя задние ноги, с трудом выдирал их из вязкой земли. У берега конь замялся и, часто переступая и фыркая, осторожно вступил в воду. Скоро конь выбрался на берег. Видно было, как командир пригнулся к шее коня и, держась за гриву, галопом взбирался по крутому склону, как он остановился у сосен, в бинокль осматривая местность. Подняв над головами винтовки, солдаты в брод переходили речку. Крики, ругательства и смех раздавались кругом. Защима что-то бормотал сквозь зубы, ефрейтор Банька жалобно хныкал, говоря, что холодная вода хватает его за самое сердце, Карцев был сосредоточен, наблюдая, чтобы кто-нибудь из его отделения не споткнулся в воде, доходившей выше пояса. Грохот артиллерии, затихший незадолго до перехода речки, возобновился с новой силой. Снаряды рвались совсем близко, и вдруг на середине холма вспрыгнул черный столб земли, желтоватый дым скрыл Уречина, и комья земли брызнули на солдат, точно кто-то, забавляясь, бросил их полной горстью. Уречин передал приказание, роты поспешно уходили в стороны, занимая свои участки. Третий батальон расположился в роще, оставаясь в резерве. Карцев пробрался на вершину холма, в ту его часть, которая была скрыта от командира полка. Вся позиция ясно, как на рельефной карте, расстилалась перед ним. Он жадно смотрел, пытаясь определить расположение неприятеля. В те дни, когда полк был в резерве, Васильев ежедневно проводил со взводными и отделенными командирами тактические занятия, обучая их на примере недавних боев, и эти уроки хорошо усвоил Карцев. Бинокль, добытый у убитого германского унтер-офицера, много помог ему. Перед ним лежала гряда холмов, покрытых пашнями. Тонкий пар стлался над коричневой развороченной землей. Левый фланг позиции упирался в узкую болотистую речку. За речкой тянулся лес. Тяжелый дуб выделялся на опушке раскидистой вершиной, покрытой молодыми листьями. Карцев соображал, что лес и холмы стесняют обстрел, уменьшая его до шестисот—семисот шагов, а болотистая речка предохраняет фланг

от обхода. Далеко впереди вилась дорога, и в бинокль были видны белые дымы разрывов. Он повернулся в другую сторону, оглядывая тыл русской позиции. Его наблюдения были прерваны. Рогожин что-то кричал ему, отчаянно махая рукой. Карцев прыжками спустился к своим. Ему сказали, что он включен в состав команды разведчиков. Прапорщик Петров принял командование, внимательно оглядел своих людей, и команда — тридцать человек — двинулась в лес. Карцев шел в передовом дозоре. Итти было легко, разведчики оставили все лишние вещи и имели при себе только винтовки и подсумки с патронами. Рядом с Карцевым, спокойно посапывая, легко шел Голицын, а оглядываясь, Карцев видел шагах в двухстах позади Петрова, ведущего главные силы команды. Холмы хорошо прикрывали их, они старались двигаться ложбинками, и иногда, забываясь, Карцев думал, что вот он гуляет за городом, а издали слышен гром — будет гроза. Низкое жужжание аэроплана он услышал лишь тогда, когда тот прошел над разведкой. Машина снижалась все больше, описывая круги. Видимо, летчик заметил подозрительное движение и хотел выяснить, в чем тут дело. Карцев, пригибаясь, побежал к Петрову.

— Германец, — прошептал он, — кресты у него на крыльях, надо снять его... прикажите открыть огонь.

Петров колебался, но солдат нельзя уже было удержать, цель была слишком близка и заманчива.

— Дерзкий какой, — пробормотал Голицын, — разбаловали мы их. Чисто как стервятник кружит над нами.

Карцев соображал: аэроплан шел к группе деревьев, стрелять надо, целясь поверх деревьев, когда машина будет недалеко от них. Он торопливо передавал товарищам свои соображения, подал команду, и сухой треск залпа, почти незаметный в гуле орудий, показался ему ударом грома. Аэроплан летел совсем низко. Он пронесся над деревьями и вдруг, качнувшись, развернулся вправо и, вильнув хвостом, резко пошел вниз. У самой земли он рванулся кверху, как рвется подбитая птица, клюнул носом, опять выпрямился, подпрыгнул и, неуклюже пробежав саженей пять, свалился набок. Едкий черноватый дым повалил из самолета, и как раз в тот момент, когда человек, одетый в коричневую кожу, выва-

лился на землю и пополз в сторону, послышался взрыв, сквозь дым блеснуло узкое, темнокрасное пламя, вздулось, как парус, и исчезло в растущем дыму. Карцев подбежал первым. Летчик сидел, подпираясь руками, судорожно кашлял. Из-под кожаного шлема текла кровь. Увидев Карцева, он сердито моргнул и полез за револьвером, висящим сбоку. Но подбегали русские, и летчик, оставив револьвер, пытался подняться. Карцев хотел ему помочь, протянул руку, но летчик посмотрел на него с таким выражением гадливости и презрения, что солдат сжал кулаки. Летчика окружили. На сухом породистом лице, длинном, как морда у борзой, было высокомерие и отвращение, и он ничего не отвечал на вопросы.

— Барин, — глухо сказал Голицын, — поглядите, как щерится. Прикончить его хорошо бы.

Петров вышел вперед. Заметив его погоны, немец произнес короткую фразу и подал ему револьвер.

— Помогите ему, — приказал Петров, — видите, он ранен.

Двое солдат подошли к летчику, но он брезгливо отстранился от них и, пошатываясь, пошел сам.

Летчика отправили в штаб полка. Потом двинулись дальше. В лесу пахло сыростью, сосновой смолой. Осторожно осматриваясь, подобрались к опушке. За опушкой лежал луг, ближе к лесу часто росли кусты. Кто-то из разведчиков выдвинулся из-под деревьев, и сейчас же заверещал пулемет, пули звонко щелкнули, ударяясь в деревья. С первыми выстрелами волновавшийся до сих пор Петров почувствовал, как спокойствие возвращается к нему. Он расположил людей за кустами, выслал дозоры. Карцев и Голицын ползли по земле, прячась в зарослях, зорко всматриваясь вперед. Пули свистели над головами, но летели так высоко, что Карцев знал — стреляют не по ним. Они подползли шагов на двести к германскому расположению. Ближе ползти было опасно — простым глазом они видели полевой бивак германцев, обветренные лица солдат, сидящих и лежащих на земле, слышали их голоса. Очевидно, это был короткий отдых перед наступлением. Никто не снимал снаряжения, ранцы висели за спинами, винтовки были в руках. Карцев нацелился биноклем в маленькую группу, сидевшую ближе других. Он поймал в стекле немо-

лодое усталое лицо. Оно было так близко в сильном Цейсе, что он ясно видел кучку синих точечек на переносице и под глазами германца, видел дряблые щеки, плохо выбритый подбородок и двигающиеся от жевания щеки и губы. Эти точечки вызвали в нем воспоминание. Сморщив от усилия брови, он улыбнулся: такие же точечки были на лице у Шаркова, солдата их роты, шахтера из Рутченкова. Темные широкие руки солдата бережно подносили ко рту хлеб. Видно, он знал цену хлебу — как заботливо он подбирает крошки с колен, и Карцев поймал себя на том, что он занимается не тем делом, за которым его послали. Сердито встряхнув головой, он стал внимательно всматриваться и подсчитывать, сколько людей могло быть перед ним. Голицын легко толкнул его.

— Вон, погляди, — он показал вправо, — и там их много, разведаем, что ли?

Карцев с удивлением посмотрел на пожилого мужика. У Голицына возбужденно поблескивали глаза, острая военная игра захватила и его. Они поползли в лес, описывая дугу, другой конец которой должен был упереться в опушку на версту правее. Сеть кривых, запутанных тропинок бороздила лес. Иногда тропинки упирались в маленькие просеки, в кругловатые тихие полянки, на которых лежали аккуратные кубы спиленных дров. Они наткнулись на лачугу, покрытую сосновыми ветвями. В дверях этого первобытного жилища стоял маленький косоплечий человек. Он был весь черен. Только зубы и белки глаз белели у него. Нельзя было определить ни возраста, ни одежды этого человека. Все на нем было засмолено. Смола пропитала его бороду, лицо, войлочную шляпу, руки. С полным спокойствием он смотрел на русских солдат. Голицын на всякий случай наклонил штык и сурово сказал:

— Ну, ты, австрияк, много тут ваших?

Смолокур махнул рукой.

— Я не вем, пан, — ответил он, — много тут всякого лиха шляется. Вот и вы пришли.

— Легче, — свирепо закричал Голицын, — не знаешь, что ли, как на войне с вашим братом поступают.

— С..л я на вашу войну, — с презрением пробормотал смолокур, — у меня свое дело, и я никому не мешаю.

Он повернулся и скрылся в лачуге.

— Одичалый, — сказал Карцев, — оставь ты его.

Со стороны поля усилились выстрелы. Тяжелый снаряд с низким, очень сильным гудением пролетел над лесом. Оглядываясь, они продолжали двигаться вперед. Голицын присел и за рукав потянул Карцева вниз. Карцев не сразу разглядел, что испугало его товарища. Между деревьями виднелась белая прогалина, и там, почти теряясь на фоне сосен, стояли три австрийца.

— Заметили нас,— прошептал Голицын, подымая винтовку, — стреляй.

Но австрийцы вели себя странно. Один из них, высокий, костлявый парень, помахивая поднятой рукой, направился к русским. Винтовка мирно висела у него за плечом. Голицын, ощерясь, прицелился.

— Подводят — хрипел он, — однова так было. Подошли по-мирному, а потом застрелили. Бей в него.

— Погоди, — сказал Карцев, — там их еще двое, не упускай их из виду. Эй, вояк, стой.

Австриец успокоительно поднял руку и остановился.

— Мир, — крикнул он, — мы хцемы до плена.

И, сложив на землю винтовку с широким штыком, что-то крикнул товарищам. Они поспешно подошли к нему, положили свои винтовки на землю, и все трое направились к русским. На воротнике у высокого была костяная звездочка. Комически подмигнув Карцеву, он показал на нее и объяснил:

— Гефрайтор... старший... — и все трое засмеялись весело, но немного принужденно.

У ефрейтора было узенькое детское личико, забавное по одновременному выражению старости и юности. Юными были глаза и свежие дурашливые губы, старыми — щеки, сухие и морщинистые, нос и лоб.

— Че́ши,— показал он на себя и товарищей,— працователи, — и, видя, что его не понимают, сделал руками несколько движений, поясняя:—Працовать, робота...

— Стало быть чехи, работнички, — догадался Голицын, — в плен к нам хотите?

Чех подозрительно посмотрел на него.

— До вас, до вас, — убеждающе сказал он. — У нас плен — плохо, к нам — фе, — он оттопырил детские губы и презрительно пошевелил пальцами,— кушать нема.

Карцев рассмеялся.

— Боится, что мы к ним в плен попросимся, — заливаясь хохотом, бормотал он. — Боится, что некому будет их в плен брать. Ну что ж, придется их отвести.

Чех повеселел. Заменяя жестами недостающие слова, он рассказал, как два месяца тому назад в Карпатах столкнулись две партии — русские и австрийцы — и стали сдаваться друг другу в плен. Но австрийцев было больше, и они силой заставили русских вести их к своим.

Чех в полной мере переживал свой рассказ. У него, очевидно, был природный дар чувствовать и изображать комическое. Он мимически показывал разочарование русских и довольство австрийцев, которые под конвоем вели русских до тех пор, пока не дошли до их позиций, и только тогда сдали им свои винтовки. Карцев и Голицын смеялись, представляя себе забавную эту картину. На них вышел правый боковой дозор разведки под командою ефрейтора Баньки, и Банька охотно принял пленных.

— Непременно мне за них Георгия дадут, — хвалился он, забирая подмышку австрийские винтовки. — Скажу, что взял их в бою и еще троих пострелял.

Ефрейтор, высоко отставляя локоть, крепко пожал руки Карцеву и Голицыну. У него был вполне счастливый вид.

Карцев и Голицын продолжали свой путь. Они вышли на опушку и сейчас же должны были спрятаться в лесу. Немецкие колонны были совсем близко, и их передовые дозоры, очевидно, уже втянулись в лес. Карцев оглянулся в беспокойстве.

— Надо к своим пробираться, — прошептал он.

Они пошли в глубь леса, держа наготове винтовки, осторожно выглядывая из-за каждого встречного дерева, прежде чем выйти на тропинку. Вдруг совсем близко послышались выстрелы. Они легли за толстыми стволами сосен. Топот, выстрелы, стоны близились, несколько человек бежали к ним. Первым выскочил ефрейтор Банька, без фуражки, с безумным лицом. Он мчался, как гончая, низко пригибаясь к земле, широко раскрывая рот. За ним бежал Самохин, а шагах в тридцати позади неслись зеленоватые фигуры германцев.

Карцев переглянулся с Голицыным, и оба выстрелили сразу. Два немца упали, двое других набежали сгоряча, и один из них, рыжий, грудастый, выстрелил в Карцева, держа винтовку у бедра. Карцев проворно вскочил — стрелять не было времени — длинный немецкий штык уже касался его груди. Он отбил его сильным, резким ударом, немец налез на него, и Карцев сбоку ударил его прикладом. С бешеной ненавистью рассматривая злое, чуждое лицо, отскочил на шаг и, рванувшись, снизу вверх, как в чучело, всадил в немца штык. Он увидел нелепо взмахнувшие руки, и, уже не думая о падающем противнике, бросился к Голицыну. Голицын, прыгая, увертывался от второго немца, доставшего его штыком. Карцев повернул затвор и выстрелил.

17

Полк попал в полосу тяжелых боев. Поздно вечером в расположение полка, весь день бывшего в бою, приехал начальник дивизии. Он ничуть не изменился с тех пор, как Уречин видел его за обедом, еще до переброски полка в Галицию. Розовый, детский лобик виднелся из-под козырька фуражки, голубые глазки глядели безмятежно. Он указал Уречину участок, который полк должен был защищать, и, очерчивая пальцем карту, говорил, веско подчеркивая слова:

— Ни шагу назад отсюда, полковник. Здесь с божьей помощью мы остановим противника.

Он уехал, и с тех пор никто в полку больше не видел его, так как, снятый с командования дивизией по резкому представлению начальника штаба армии (...абсолютное отсутствие инициативы, полнейшее неумение разбираться в боевой обстановке), он получил корпус в соседней армии.

На рассвете следующего дня Уречин, Васильев и Денисов осматривали позицию, которую должен был занять полк. Позиция была расположена на склоне большого холма, обращенном к неприятелю, и открыта его обстрелу. Шагов за пятьсот перед нею тянулись густые заросли кустов и дубовая роща. Для того чтобы сноситься с тылом, приходилось подыматься на вершину холма. Уречин молча ходил по склону, долго

смотрел в бинокль на рощу и опустился на землю. Он рассеянно что-то подчеркнул на карте, два пункта обвел кружочками и медленно поднялся.

— Андрей Иванович,— сказал он,— мы эту позицию, конечно, не займем. Губить полк я не буду. Двинемся на Бутово и на Серяково.

— А приказ начальника дивизии, господин полковник?

Уречин произнес циничную фразу.

— Вот это самое сделаете с приказом,— закончил он. — По-вашему, он годен на что-нибудь другое? Отпишитесь: согласно новой обстановке полк был вынужден... и так далее. Пошлите в штаб дивизии.

Через полчаса колонны полка потянулись вдоль склона холма, скрытого от неприятеля. Впереди виднелся темный массив соснового леса.

Федорченко вел первый батальон. Как и Васильев, он был уже произведен в подполковники и нежно поглядывал на свои штаб-офицерские — с двумя просветами — погоны.

Батальон медленно втягивался в лес. Федорченко твердо помнил задачу: он проходит лес, разведывает район между деревнями Загурки и Кузняки, наблюдает за шоссе, ведущим к селу Косны, а все остальное его не касается. Он досадливо поморщился, услышав выстрелы со стороны передовых дозоров: не могли, черти, мирненько подобраться, думают, что на войне обязательно все время драться. Вот на японской войне целые месяцы проходили без боев. Не было этих дурацких аэропланов, выматывающих душу. Он выслушал донесение от четвертой роты, бывшей в авангарде, и, уверившись, что перестрелка была пустяковая с германским кавалерийским разъездом и что с позиции, занятой четвертой ротой, видно шоссе, он решил туда ехать. Гнедая толстоногая лошадка шла спокойной рысью. Лес мыском выходил на вершину крутого холма. Зеленеющий склон уступами сбегал вниз, маленькое озерцо синело там, как клочок неба, упавшего на землю, а за озерцом вилось шоссе, подернутое дымкой пыли. Командир 4-й роты поручик Казаков лежал на животе за кустом и глядел в бинокль. Несколько солдат, оживленно перешоптываясь, показывали пальцами

на шоссе. Федорченко неодобрительно посмотрел на радостно возбужденные их лица.

«Нет того, чтобы серьезно отнестись к делу,—подумал он,— играем мы здесь, что ли?»

Казаков, приподнявшись, кратко доложил о положении. Федорченко лег, кряхтя, подбирая рыхлый стариковский живот, и стал накручивать Цейс. Он поймал сухое, остренькое сверкание и долго не понимал, что это такое.

— Самокатчики, — подсказал Казаков, и Федорченко сердито кивнул головой:

— Сам вижу, что самокатчики.

Самокатчики двигались маленькими группами, винтовки висели у них за спинами. Дальше шоссе вливалось в рощу, и сильные стекла показали разреженные шеренги германцев, неспеша выходящих из рощи. Казаков нетерпеливо посматривал на командира. Для него было ясно: немцы двигались по шоссе, подставляя себя удару русских. Надо было обрушиться на них с двух сторон, послав одну роту к роще, а двумя ротами атаковать из леса. Четвертая рота оставалась в резерве. При батальоне было два пулемета и одно орудие. Хорошо направленный огонь, неожиданное нападение могут дать превосходные результаты. Разведка сообщила, что у немцев меньше двух батальонов. Казаков все это горячо объяснял подполковнику, показывая на планшетке местность. Федорченко едко посмотрел на рыжего поручика.

— Нам приказали только разведать силы неприятеля, — сказал он, — зачем же ввязываться в бой?

— Но ведь побьем,— убеждал Казаков,— уж очень здорово может получиться. Посмотрите на солдат. Они рвутся в бой, так как видят наше преимущество. Прикажите начинать, Никодим Алексеевич.

Федорченко поспешил уйти от беспокойного поручика. Ввязываться в бой, если нет на это прямого приказа,—нет, он этого никогда не сделает. Казаков в бессильной ярости наблюдал за немцами. Самокатчики проходили перед ротой, пешие дозоры спокойно двигались за ними. Он поймал на себе недоумевающие взгляды солдат, видел, с каким возбуждением они ждут сигнала к бою, и размышлял, что будет, если он на-

рушит приказ батальонного командира и ввяжется в бой. Но одной роте не справиться с таким сильным противником. Казаков мало заботился об авторитете батальонного командира. И он произнес фразу, которую трудно было ожидать от офицера. Но солдаты, особенно кадровые, знали Казакова. И его слова не вызвали у них особого удивления. Только прапорщик Сергеев, длинный плоский юноша, с презрительно оттопыренной нижней губой, в дорогой японской гимнастерке и превосходных венских сапогах, неприязненно посмотрел на хамоватого поручика. Сергеев не любил вспоминать свою службу в десятой роте вольноопределяющимся. В противоположность Петрову, своему товарищу по роте в то время, он сразу почувствовал себя хорошо среди офицеров, но дружил не со всеми, а только с наиболее вылощенными.

Дозор десятой роты подошел к солдатам Казакова. Карцев радостно козырнул рыжему офицеру. Казаков, прищурясь (он был близорук), посмотрел на него и головой показал ему, чтобы Карцев шел за ним. В кустах они сели, и Казаков спросил:

— Ну, как живешь, брат? Есть какие-нибудь новости?

— Ничего нет,— ответил Карцев.— Вы больше моего знаете.

Казаков весело закивал ему, как бы подтверждая, что он действительно знает больше Карцева.

— Получил я письмо от Мазурина,— сказал он.— Скоро будет здесь. Просил тебе кланяться.

Не удержавшись, Карцев обеими руками схватил руку офицера.

— Спасибо, спасибо,— вырвалось у него.— Скорее бы он приехал. Поговорить не с кем.

— Как не с кем? — сурово спросил Казаков.— Ведь Мазурин о тебе говорил, что ты работаешь. Разве мало тут людей, которых война, как поле, разворотила? Сей только, готовы они принять зерно.

— Думки у них разные, — жестко сказал Карцев. — Но только никто толком не знает, к чему эта война. Думают о доме, желают мира. Спрашивал я одного запасного из нашей роты, за что он воюет. А там,— отвечает, — французы убили какого-то эрцгерцперца, а наши за них заступились. Барская блажь. Так мно-

гие и думают: барская блажь. А ближе ничего не знают.

— Вот и надо, чтобы ближе знали,— точно размышляя вслух, говорил Казаков,— здесь наука им легче дается — собственной шкурой они отвечают за все грехи России. Как же не научиться?

Карцев придвинулся к нему.

— В роте у нас,— отрывисто рассказывал он,— запасные старички говорят, что им все равно, пускай мы войну потеряем, лишь бы скорей конец. Разве можно потакать им, соглашаться на такое дело? Сколько русской крови пролито. Неужели задаром? Неужели можно им думать, что войну нам лучше проиграть, лишь бы поскорее был мир?

Он в смятении глядел на Казакова, и поручик утвердительно кивнул ему головой.

— Можно,— медленно ответил он,— да, можно. А впрочем, чорт его знает, мне иногда самому странно так думать здесь — в самом котле войны... Ты не смотри на меня так удивленно, тут самый простой расчет,— а если мы воюем за старье, за прогнившую постройку, при чем же здесь русский народ?

Страшный каменный грохот прервал Казакова. Тяжелые сучья рухнули вниз, казалось — земля мягко качнулась под ними. Длинный, худой Казаков, подпрыгивая, побежал к своей роте. Второй снаряд разорвался совсем близко. Густой, упругий, как резина, воздух подхватил Карцева и, легко приподняв, швырнул на землю. Падая, он ударился грудью и несколько минут лежал, ошеломленный ударом и неожиданностью. Потом встал на колени. Голова немного кружилась. Он поднял выпавшую из рук винтовку и увидел четвертую роту, отходившую в лес. Казаков хрипло командовал, махал длинной рукой, ругал взводных. Пулеметная и ружейная стрельба стала чаще, издали прерывистыми волнами доносились крики, бой, очевидно, разгорался. Карцев посидел, потом отыскал Голицына, и оба стали пробираться к своей роте. Справа донеслось многоголосое «ура». Сквозь деревья было видно, как русские цепи побежали вперед и залегли в ложбинке под горой. Русская артиллерия стреляла редко, по два-три снаряда в минуту. В центре расположения полка Карцев

наткнулся на штаб. Уречин смотрел в бинокль и говорил Денисову:

— Ну, так и есть, настоящая укрепленная позиция. Видите — тройной ряд колючей проволоки. Они обещали артиллерийскую подготовку, обещали разрушить проволоку. А там все цело — ни одного прохода. Если даже дойдем, мы останемся висеть на этой проволоке, как шашлык. Андрей Иванович, что говорит штаб дивизии? Хоть два-три десятка снарядов туда.

— Приказывают атаковать, говорят, что артиллерийская подготовка закончена, — голос Денисова походил на лай.— Зарайцы уже атакуют.

Карцев лег, наставил бинокль. Зарайцы подымались по склону к вершине, где в зарослях скрывались неприятельские позиции. Он видел кривые ходы проволоки, низенькие толстые столбики и между ними сплошную массу злых железных колючек, не поврежденных русскими снарядами. Зарайцы наступали стремительно и смело, уверенные, что проходы в проволоке открыты. Первые из них выскочили почти к самой вершине, залегли и, вдруг поднявшись, с криками бросились вперед. Склон у вершины покрылся фигурами бегущих людей. Теперь они шли в рост, штурмуя в бешеном порыве. Их крики доносились к Карцеву, и он весь дрожал от сильного волнения. Видно было, как атака захлебнулась у проволоки, как растерянно суетились люди и падали на проволоку. Высокий солдат пытался штыком рвать заграждения, он сделал несколько яростных движений и повалился лицом вперед, роняя винтовку. Оставшиеся бежали назад. На всем своем протяжении проволока покрылась телами. Вблизи Карцев услышал крики. Новая рота двигалась на штурм. Солдаты видели бесцельную гибель зарайцев и шли неохотно, с озлобленными лицами. Их подгоняли взводные и офицеры. Небольшой толстый штабс-капитан тыкал наганом в солдатские спины. Рота беспорядочно вышла из леса, остановилась и вдруг побежала вперед. Но солдаты бежали как-то странно, — они не стреляли, и Карцеву показалось, что многие из них бросают винтовки. Недалеко от проволоки они все остановились и подняли руки, белые платки замелькали над их головами. Сзади себя он услышал пронзитель-

ный голос. Поручик Руткевич со злым, искривленным лицом грозил револьвером пулеметчику.

— Стреляй по изменникам, стреляй,— кричал он.

Бледный солдат отрицательно качал головой. Тогда Руткевич выстрелил ему в затылок, оттолкнул тело ногой и припал к пулемету.

Весь день полк был в бою. Третий батальон, удачно маскируясь в мелких зарослях и кустах, подобрался к правому флангу германцев. Васильев руководил наступлением. Девятая рота сделала ложный выпад, солдаты стреляли, до хрипоты кричали «ура» в то время, когда остальные роты готовили главный удар. Васильев шел в цепи с винтовкой. Германцы бежали, отстреливаясь на ходу. Больше двухсот человек было взято в плен. Солдаты с колена били по отступающим. Карцев в упоении тащил германский пулемет, не замечая, что кровь течет по задетой пулей щеке. Голицын, присев возле убитого немца, деловито стаскивал с него крепкие сапоги. Вдруг струя пулеметного огня резнула по роте, двое упали, остальные поспешно легли. Пулемет оказался близко, в кучке деревьев, расположенной за двести шагов. Его засыпали пулями, но как только двигались к деревьям, сухое страшное стрекотание возобновлялось, и хорошо направленные пули низко летели над землей.

— Охотников! — сердито закричал Васильев. — Что же мы из-за этого гаденыша застрянем здесь?

Вызвались пять человек, и в их числе — Карцев и Черницкий. Трое поползли в лоб, стреляя и крича, а Карцев и Черницкий пошли в обход. Припадая к влажной, приятно пахнущей сыростью земле, Карцев полз, описывая дугу. По выстрелам он узнал, что находится сзади пулемета, и, сделав знак Гилелю, изменил направление. Пулеметные очереди звучали неравномерно — то стремительные, злые, то короткие, обрывающиеся.

— Упорный какой,— пробормотал Черницкий,— он же совсем один.

Теперь они видели пулеметчика. Он лежал, неловко вытянув ноги, спина его зеленым горбом подымалась над пулеметом. Увлеченный своим делом, он не замечал русских, которые были уже в десяти шагах за ним.

Карцев поднял винтовку, но Черницкий, тихо вскрикнув, схватил его за плечо. Он поднялся быстрым движением и бросился к германцу. Германец не вскочил. Лежа, он беспорядочно сучил ногами и, ощерясь, смотрел на подбегавших русских.

— Теперь понимаешь, почему он такой упорный,— тихо сказал Черницкий, — видишь, Карцев?

Карцев видел. Ноги германца были прикованы цепью к дереву, другая цепь соединяла его с пулеметом. Это был плотный, рыжеватый человек, уже немолодой, с длинным хрящеватым носом. Серые струйки пота катились по его щекам. Облизывая синие губы, он смотрел, как Черницкий, стоя на коленях, прикладом сбивал замок с цепи.

Они потащили его вместе с пулеметом. Немец попросил пить и, не отрываясь, выпил всю воду из карцевской фляжки. Тяжелые германские снаряды рвали воздух над ними.

К вечеру полк, захвативший больше четырехсот пленных и десять пулеметов, попал под сильный артиллерийский обстрел. Русская артиллерия стреляла совсем редко, малочисленные трехдюймовые снаряды не могли состязаться с тяжелой германской артиллерией, методически сыпавшей снарядами. Вековые дубы падали, расщепленные гранатами. Русская батарея, стоявшая на опушке, снялась и ушла в тыл. Не было снарядов. Поручик Казаков, охранявший правый фланг полка, донес, что зарайский полк оставил свой участок и ушел. Уречин не хотел верить донесению. Он отправился на правый фланг и вернулся с посеревшим осунувшимся лицом.

— Хотя бы предупредили,— глухо говорил он Денисову,— неужели полковник Замятин не понимает, что он делает? Ах, сволочь, я подам на него жалобу.

Денисов усмехнулся.

— Замятин гвардеец,— сказал он,— родственник генерала Безобразова. Об этом хорошо знают в штабе корпуса. Не стоит подавать жалобы.

Уречин хмуро посмотрел на него.

— Прикажите, капитан,— резко сказал он,— отправить две роты третьего батальона на правый фланг. Пускай расположатся под прямым углом к фронту полка. Вечером придется, видно, отступать.

18

Четвертый день Мазурин находился в запасном батальоне. Спали солдаты вповалку на липких от грязи нарах. Вместо матрацев были тоненькие соломенные маты, вонявшие псиной. На обед давали постный суп с черными, как уголь, грибами. Унтер-офицеры — старые кадровики — цепко держались за свои места. Начальство считало лучшими тех унтер-офицеров, которые безжалостно обращались с солдатами, и в батальоне происходило своеобразное соревнование: взводные и отделенные хвастались числом разбитых морд, количеством внеочередных нарядов, поставленных под винтовку и перепоротых солдат. Розга была узаконена в батальоне. В перый раз увидел Мазурин, как пороли солдата — тридцатипятилетнего мужика-ополченца. Пороли взводные, кругом стояла выстроенная рота, так как начальство полагало это зрелище полезным для солдатских душ. Сейчас же после порки солдат повели на занятия. Выпоротый солдат уходил молча, со страшным неподвижным лицом. Занимались маршировкой, отданием чести, ружейными приемами. Винтовок для обучения было совсем мало, и они по нескольку раз переходили из рук в руки. Остапчук, взводный Мазурина, придумал остроумное приспособление: он командовал «пли», и за отсутствием винтовок взвод хлопал в ладоши, изображая выстрелы. Со двора выпускали очень скупо. Из четырех с лишним тысяч человек, числящихся в батальоне, около трети было в безвестной отлучке, то есть в бегах. Явление это сделалось настолько обычным, что не вызывало у начальства особых волнений: народа хватало.

Солдаты маршировали с деревянными ружьями. Приходил капитан Курносов, низколобый, сутуловатый человек, с глазами, похожими на свинцовые пломбы, и начинал ругаться. Иногда вызывал из рядов солдата и, не размахиваясь, снизу вверх бил его по лицу. Потом шел проверять, как стояли солдаты под винтовкой. Они стояли во дворе, под окнами канцелярии, в полной выкладке, с кирпичами, положенными в походные мешки. Стояли под настоящими винтовками, несмотря на то, что винтовок для обучения нехватало.

— С деревянным ружьем не штука постоять,— гово-

рил Курносов,— нет, ты мне под винтовкой постой, почувствуй наказание, сукин сын.

Позевывая и показывая гнилые, коричневые зубы, он шатался перед ротой, но ни разу не командовал. Это дело он предоставлял младшим офицерам и унтер-офицерам. Была, впрочем, у капитана одна выдумка, которой он очень гордился. На стену казармы навешивали соломенные маты, солдат выстраивали в две шеренги, и по команде они, крича «ура», бежали со штыками наперевес к стене и, сделав все сразу выпад, кололи маты.

— Вот она русская штыковая атака,— восхищенно говорил Курносов.— На фронте они переколют всех германцев. Вот как надо обучать солдат.

В запасном батальоне шла странная, беспорядочная жизнь. Состав его был велик и текуч. Маршевые роты набирались без всякого надзора со стороны старших начальников, и это способствовало повальным злоупотреблениям. Курносов был всегда пьян. Адрес его квартиры был хорошо известен солдатам: на квартиру ежедневно отправлялись кульки с продуктами, вином, водкой. Делалось это под наблюдением фельдфебеля, который был у командира доверенным лицом. Те, у кого были деньги, отсиживались в батальоне месяцами. Только к приезду инспекторов подтягивались, а через день все шло по-старому. Мазурин, бывший на ножах со взводным, знал, что будет отправлен с первой же маршевой ротой, но не высказывал беспокойства. Однажды утром в роту пригнали под конвоем группу мобилизованных. Их было двенадцать человек, все они были рабочие, за политическую неблагонадежность уволенные с фабрики. За ними был установлен особый надзор, из казармы их не выпускали. Капитан Курносов приказал их построить. Нежно улыбаясь, он ходил перед ними.

— Бунтовщики-с? — иронически смеясь, спрашивал он.— Хотите Россию отдать жидам и немцам? Не выйдет, дорогие, не выйдет. У русского царя достаточно таких верных слуг, как я,— капитан ударил себя в грудь,— и мы сумеем расправиться с такой сволочью, как вы. Понятно?

Он подходил в упор, от него воняло перегоревшей

водкой и заношенным бельем, и сдавленным голосом говорил:

— Если вы... вашу мать, в чем-нибудь попадетесь, закую в цепи и отправлю на фронт. Плевать мне на то, что вы не обучены. Убьют и так.

Вечером казармы превращались в тюрьму. Если солдат выбегал в уборную, за ним следил дневальный, ни на секунду не выпуская его из вида. У начальства были свои шпионы, доносившие о солдатских разговорах.

Мазурин все же действовал смело. В роте образовался кружок, его центром стали рабочие, мобилизованные за политическую неблагонадежность, а вокруг них собиралась темноватая солдатская масса, охотно слушавшая разговоры о причинах войны и сама о многом расспрашивавшая.

Пытливые, настороженные глаза зорко следили за Мазуриным. Каждое его слово взвешивалось сурово, тяжело. Пожилой солдат сказал ему:

— Тебе ли верить? Побьет германец — наложит, говорят, кабалу. Тридцать и три года по сто мильонов платить, да каждый год по два мильона народа чтоб у него бесплатно работало.

— Кто из офицерья постарше,— горько сказал кто-то,— прячутся, а прапорщики за главных.

— А они молодые, военному действию не знают, даром народ губят. Сморчки.

— Один костыль, а то два костыля заработаешь,— говорил третий,— или совсем уйдешь в город Могилев. Скажут нам — спасибо, молодцы, за службу, а у молодцов рук-ног нету.

— Так нельзя рассуждать,— тихо сказал пожилой солдат.— Мы не должны забывать — своя, родная страна. Матери, детки, сестры. На границе — мы сами видели — разорены, разграблены целые губернии. Отказывайтесь воевать, пустите немцев — они сожгут все, заберут, увезут наши богатства, скот угонят. Во Франции республика, но и они борются с немцами, так как немцы хотят подавить всю Европу.

Мазурин с любопытством разглядывал солдата. У него были честные коричневые глаза, блеклое городское лицо, тонкие, нервные губы. От волнения пузырьки слюны проступали в уголках рта.

— Вот оно,— окая, произнес хрипловатый голос.— Россия, верно, не собака, не бросишь, не прогонишь никуда от себя.

— Путай, запутывай мужиков,—визгливо прокричал рябой солдат.— У меня, может, России-то нет. Деревня есть, и та не моя. Изба трухлявая — она, верно, моя, с дырьями, с тараканами, с цыганским добром. Россия — она, брат, к кому задом, к кому лицом. Я вот лица не видел.

Электрическая лампочка тускло освещала казарму. Солдаты сидели и лежали на койках, близко придвинулись друг к другу, дымили махоркой. Стриженые головы, темные провалы глаз, бритые и бородатые лица. Говорили долго, за полночь. Так проходили дни, проходили ночи. Некоторые, не выдерживая нудной, тяжелой жизни, сами просились в маршевые роты.

19

Бредов возненавидел тихие улицы своего города. Он стал раздражительным, не выносил людей.

«Почему они смотрят на меня?» — думал он и сам отвечал себе:

«Видят, что идет по улице офицер, видят его уже в течение нескольких месяцев и размышляют, что пора этому офицеру отправиться на фронт».

Два раза он был на комиссии. Старший врач, толстый, с сизым лицом, покрытым сеточкой красных жилок, мягко ему говорил:

— Правое легкое у вас прострелено насквозь. Две серьезные дырки. На фронте у вас обязательно начнутся осложнения и все прочее. Бегать вам нельзя. Проводить ночи на земле тоже нельзя. Какой же из вас фронтовик? Оставайтесь пока здесь в запасном батальоне. А там посмотрим.

Но Бредов не хотел оставаться. С каждым днем ему было труднее жить. Город казался ему большой покинутой квартирой, откуда уехали все его друзья. Пустые стены давили его, от них веяло одиночеством. Днем было легче. Он мог работать, гулять. Всякое движение было ему приятно, даже необходимо. Ночи же стали для него невыносимы. Он долго, до усталости, читал и, когда начинали слипаться глаза, откладывал книгу,

думая, что сейчас уснет. Но вдруг что-то переключалось в нем, томительное беспокойство охватывало его, точно он должен был сделать какое-то важное дело, но какое — не мог сказать. Он замкнулся в себе, боялся расспросов жены, хотя любил ее и был с нею дружен, и, придумав предлог, перешел спать в отдельную комнату. Теперь он мог вскакивать ночью, долго ходить по комнате или стоять у окна и глядеть в упругую черноту ночи. Он смотрел долго, пока в глазах не начинали мелькать лиловые искры. По-ночному ясные мысли проходили в его голове. Он вспоминал людей, которые жили вокруг него, вспоминал их повседневные разговоры и ужасался тому, как все это чуждо и неприятно ему, каким одиноким он живет в своем городе. Горожане неискренно и высокопарно говорили о России, о своем патриотическом долге, о готовности приносить жертвы. Ему казалось, что он видит их насквозь. Когда городская дама с обязательной для таких моментов сладчайшей улыбкой лепетала о бедных героях-солдатиках и о страстотерпцах-офицерах, он стискивал зубы, чтобы не вырвалась матерщина. На первые транспорты раненых горожане ходили смотреть, как на зверинец, потом раненые всем надоели, и в госпитали ездили только по обязанности или потому, что это делали другие. Разговоры о боях все более заменялись разговорами о выгодных военных поставках. Со скукой смотрели на искалеченных солдат, так как их было больше, чем требовалось для любопытства и наличных запасов сочувствия. На каждом вечере возмущались германскими зверствами. С радостным упоением придумывали неслыханные вещи. Жена подрядчика Спиридонова научилась плакать при таких рассказах, и дамы сердились, что не они первые придумали такой восхитительный трюк, как публичные патриотические слезы.

Бредов мотал головой, чтобы отогнать мучительные мысли, старался думать о другом. Включал свет, подходил к карте, висевшей на стене. Красная извилистая черта фронта отползла далеко на восток. Уродливым зобом еще выдавался на запад польский мешок, но с севера и юга над ним нависали дуги австро-германских армий. Бредов хмурился, ему казалось, что в этом месте хищные клыки врага готовы сомкнуться на горле

русского фронта. Утром он жадно хватал газету, прочитывал сводки штаба верховного главнокомандующего, с зорким напряжением искал между сухими казенными строками скрытый смысл. Названия деревень и маленьких городков, о которых вскользь упоминалось в сводках, говорили ему больше, чем длинные реляции. Карта неумолимо отмечала крестный путь русского отступления пятнадцатого года. Иногда, в минуты малодушия и душевной усталости, он был готов проклинать свою военную грамотность, готов был завидовать горожанам, с благодушным невежеством принимавшим к сведению все эти перегруппировки русской армии и ее планомерные отходы на новые «стратегически выгодные позиции».

Он пережил несколько хороших часов, когда стало известно, что пал Перемышль. Успехи русских казались очень значительны, в газетах печатались бравурные статьи, в обществе говорили о близком разгроме австрийцев. Шесть месяцев держалась эта сильнейшая австрийская крепость, и, казалось, ее падение должно сильно изменить весь ход войны. С восхищением читал Бредов о том, что девятьсот орудий, огромное количество боевого материала и сто двадцать тысяч пленных взяты русскими. Настроение его улучшилось, он ходил радостный и гордый, радужные картины мерещились ему. Но прошло немного времени и выяснилось, что падение Перемышля мало что изменило. Карпатская операция безнадежно затянулась, и скоро пошли зловещие слухи о каком-то прорыве германцев в Галиции. Бредов стал хмуриться, избегал встречаться с окружающими его людьми.

В эти дни пришел приказ о производстве Бредова в капитаны. Радость вспыхнула в нем и сейчас же погасла. Он с трудом притворялся счастливым, чтобы не огорчить жену, которая с сияющим лицом поднесла ему гимнастерку с новенькими капитанскими погонами. Рано утром он уходил из дому и до начала занятий в роте бродил по лесу, близко подходившему к городу. Он решил, что должен как можно скорее уехать на фронт. Хлопоты мало помогли ему, несмотря на то, что на фронте была огромная нехватка офицеров. Командир запасного батальона не хотел лишаться хорошего офицера и всячески тормозил откомандиро-

вание Бредова. Тогда, скрепя сердце, он написал своей двоюродной сестре, бывшей замужем за полковником генерального штаба Носковым. Ответ пришел через две недели, когда Бредов уже перестал надеяться. Сестра писала, что Носков заведует отделом в управлении генерал-квартирмейстера ставки верховного главнокомандующего и берется устроить Бредова журналистом управления. Он согласился, немного ошеломленный тем, что будет находиться в самом центре военных событий, и думая, что оттуда легко переведется в свой полк. Фибровый чемодан легко вместил скромный багаж капитана. Он едва уговорил жену выкинуть из чемодана парадный мундир, — «ведь ты можешь там встретить самого царя», — восхищенно говорила она.

Он испытал глубокое облегчение, когда сел в поезд. Неожиданно приехал провожать командир запасного батальона, считавший, что назначение в ставку является крупным повышением.

Ровное постукивание поезда баюкало. Бегут рельсы, остаются сзади города, проносятся мимо поля, станции и леса. Ни одна картина не утомляет его. Он благодарно думал о том, как прекрасно отсутствие этой назойливости явлений, которая часто теснит человека, долго где-нибудь живущего, что тем и хорошо ездить в поезде, что поездка похожа на быстро летящую жизнь.

Он прибыл в Могилев. Щеголеватый поручик с аксельбантами, приехавший тем же поездом, узнав, что ему нужно в ставку, вызвался подвезти на казенном автомобиле. Бредов с удивлением почувствовал, что волнуется, подъезжая к ставке. Он вспомнил, как ездил в Петербург, как вскоре после Петербурга отправлялся вместе с полком на фронт, как праздничные толпы людей приветствовали солдат и офицеров на станциях.

Как давно, давно все это было!

Автомобиль остановился возле белого двухэтажного дома. Поручик любезно раскланялся. Бредов пошел к подъезду, нащупывая в кармане сопроводительные бумаги. Полевой жандарм, внушительный человек с кривыми, как турецкие сабли, усами, почтительно осведомился, к кому капитан идет. Он ловко принял фуражку и плащ и показал, как пройти к полковнику Носкову. По широкой каменной лестнице Бредов поднялся наверх. По коридору мягко скользили писаря, проходили

офицеры, и Бредову даже стало обидно, до чего все это напоминало обычный корпусный штаб.

За столом сидел офицер и со скучающим видом глядел в окно. Он протянул Бредову обе руки и усадил его. У него было сухое, бритое лицо, веселые, чуть даже плутоватые глаза. Бредов отдал ему письмо его жены, рассказал, что делается в тылу. Носков, видно, радуясь свежему человеку, долго не отпускал его и, только когда Бредов поднялся, бегло объяснил ему, в чем будет заключаться его работа. Комендант главной квартиры отвел Бредову номер в гостинице. Приняв ванну и оглядываясь в маленькой, очень чистенькой комнате, окно которой выходило в тихий провинциальный садик, Бредов почувствовал себя так хорошо, что засмеялся и подпрыгнул, пытаясь достать рукой до потолка. В легких сладковато заныла боль, и он улыбнулся ей, как старому знакомому.

На следующий день он начал работать. В его распоряжение поступали важные военные документы. Иногда ему поручалось составлять бумаги, главным образом компиляции и выборки из донесений или ответы на многочисленные письма, приходившие в ставку со всех концов России. Просматривая эти письма, Бредов поражался разнообразием их содержания. Какие-то люди предлагали планы уничтожения врага, отставные генералы просили назначения в действующую армию. Иван, сын Петров, Клетчагин, всеподданнейше припадая к светлейшим стопам государя императора, обращал внимание, что в Саратове рабочие заводов, работающих на войну, ведут себя дерзко, и не худо бы их всех зачислить на военную службу, дабы можно было поступать с ними со всей воинской строгостью. Священник из Богодухова скорбел об упадке благочестия среди воинов христовых и рекомендовал отправить на фронт чудотворную икону смоленской божьей матери, которая поможет поразить антихриста Вильгельма. Бредов хотел уничтожать все такие письма, но Носков, которому он сказал об этом, нахмурившись, попросил его не нарушать делопроизводства, установленного свыше.

— Да, но ведь это никому не нужная чепуха,— пытался возразить Бредов, и тогда полковник внушительно напомнил ему, что в казенных делах не может быть

чепухи, и все они подлежат неуклонному выполнению.

Через два дня после прибытия Бредова в ставку Носков представил его генерал-квартирмейстеру генерал-майору Михаилу Саввичу Пустовойтенко.

У Бредова осталось впечатление, что генерал неприязненно посмотрел на него, и он сказал об этом Носкову. Полковник рассмеялся.

— Как вы еще молоды в наших делах,— сказал он и дружески положил руку на плечо Бредова.— Я не хочу вас обижать, но неужели вы думаете, что Пустовойтенко есть какое-то дело до того, что вы, обер-офицер, работаете в журнальной части? У него хватит своих дел.

Подмигивая Бредову плутоватым глазом, он рассказал ему, как Пустовойтенко сделался генерал-квартирмейстером ставки. Прежний начальник штаба при Николае Николаевиче генерал Янушкевич рекомендовал Пустовойтенко, с тестем которого он был хорош, генералу Алексееву, и тот, не зная лично Пустовойтенко, взял его к себе. Теперь Алексеев жалеет о своем выборе, но ему неловко отделаться от своего генерал-квартирмейстера. В столовой Бредов познакомился с капитаном Нестроевым, веселым, добродушным человеком. Капитан работал в общем отделе, но его знал весь штаб.

— Это дока,— сказал про него Носков, и Бредова поразило выражение некоторой зависти в голосе полковника. Позже он узнал, что Нестроев зарабатывал большие деньги патриотическими брошюрами о героях войны, которые он печатал под чужим именем.

Он весь искрился весельем и доброжелательством, никогда плохо ни о ком не говорил, и Бредов охотно с ним встречался. Капитан был его соседом по гостинице. Вечерами он запирался у себя и тихо играл на цимбалах.

— Неловко, знаете,— сказал он Бредову, который спросил его, почему он прячет от людей свое искусство.— Цимбалы — это такой инструмент, на котором играют уличные музыканты, вот оно что...

И подсев к Бредову, рассказал, как много лет тому назад в Москве, на Никитском бульваре, он встретил музыканта, играющего на цимбалах, и игра так понравилась, что он каждый день ходил слушать музыканта и потом сам купил цимбалы. Бредов с любопытством

смотрел на старого стяжателя, который, положив цимбалы на широко расставленные колени, двумя молоточками извлекал из странного инструмента нежные мелодичные звуки.

— Не офицерское занятие,— вздыхая, говорил Нестроев,— а отказаться не могу.

После игры он пил красное сухое вино и начинал рассказы, которых знал множество.

— Хотите,— предложил он однажды Бредову,— расскажу вам настоящий русский анекдот.

Он хитро улыбнулся и начал:

— Сел военный писарь с пишущей машинкой у Александровской колонны в Петербурге и настукал двадцать отношений в разные военные учреждения:

«Сего числа я сел у Александровской колонны, о чем и уведомляю вверенное вам учреждение».

Получив такую бумагу, все учреждения запрашивают, зачем такой-то сел у Александровской колонны и на какой предмет об этом сообщает. Тогда писарь отвечает, что все будет сообщено дополнительно, и требует себе помощника для подшивки бумаг и регистрации входящих и исходящих. Он опять получает запросы, предполагается ли дополнительное сообщение в скором времени. Он отвечает, что сообщение будет послано своевременно, и так как переписка все увеличивается, просит уже второго помощника. Ему добавляют несколько писарей, дают помещение, а через год строят каменный дом для создавшегося таким образом департамента.

Вечером в садике, расположенном возле штаба, Бредов увидел гуляющего генерала. По портретам он узнал Алексеева, начальника штаба верховного главнокомандующего. Алексеев шел медленно, заложив за спину руки. Бредов почтительно отдал честь. Генерал ответил ему и, проходя мимо, внимательно посмотрел на Бредова. У него были серые с мохнатыми бровями глаза, усы с проседью, среднего роста плотная фигура. Бредов взволновался. Вот идет человек, отвечающий за историю России. В одной этой маленькой человеческой голове сжаты просторы тысячеверстных фронтов. Человек этот должен взвешивать и видеть все то, что происходит от Черного до Балтийского моря, его приказу повинуются миллионы людей.

Бредов с уважением глядел на плечи, выдерживающие такую тяжесть. Алексеев шел сгорбившись, устало подымая ноги. Бредов смотрел на него сзади, и вдруг страх охватил его. Верит ли генерал в победу? Ведь ему лучше, чем всем другим, ясны причины русских поражений. Отдана Галиция, добытая большой кровью. Только недавно очищена Варшава, пали лучшие русские крепости — Новогеоргиевск, Брест-Литовск, Ковно, Оссовец. Он сделал невольно движение вперед, как будто бы хотел догнать начальника штаба. Он шел стремительно и неровно и вдруг у самого входа в штаб увидел перед собой полевого жандарма. Жандарм смотрел на него острым, подстерегающим взглядом, но когда Бредов приблизился, отдал честь и спокойно посторонился, пропуская офицера. Капитан прижал руку к сильно бьющемуся сердцу, в последний раз посмотрел на голубые вечерние звезды и вошел в подъезд.

20

По дороге, покрытой мягкой шелковой пылью, впереди своей роты шел Петров. Ему нестерпимо хотелось пить. Он водил распухшим языком по губам, песок хрустел на его зубах. С трудом переставляя ноги, брела за ним кучка солдат. Тяжело вздохнув, прапорщик подумал, что сегодняшний день надолго запомнится ему. Только час тому назад рота вышла из боя. На лесистом холмике остались убитые солдаты, рваные окровавленные тряпки и пустые гильзы патронов. Десятая рота прикрывала отход полка и отступала последней. Больше двух верст пробирались лесом и вышли на дорогу. Воздух сотрясался от артиллерийской стрельбы. Бой, очевидно, шел с обеих сторон, и Петров с раздражением поглядывал влево, где совсем близко, не более чем в двухстах шагах, рвалась над деревьями германская шрапнель. Он увидел Карцева, у которого голова была обмотана розовым от крови индивидуальным бинтом, и окликнул его. Карцев шел шатаясь. Голицын нес его винтовку. Петров с жалостью посмотрел на пожелтевшее, сразу осунувшееся лицо Карцева и велел ему итти на перевязочный пункт.

— Ничего,— пытаясь улыбнуться, ответил Карцев,— уж лучше я с ротой останусь.

Петров кивнул головой и в отчаяньи оглянулся. Пить хотелось так мучительно, что больше ни о чем нельзя было думать. Он решительно свернул с дороги к какому-то деревянному строению. Строение оказалось обыкновенным сараем со сломанными дверями и пустым. Петров беспомощно огляделся, войдя внутрь. Сквозь разбитую стенку сарая он увидел зеленый матовый отсвет и, проворно обежав сарай, нашел большую, круглую лужу, покрытую плесенью. Он вошел в лужу и, наклонившись, руками отогнал плесень и стал пить. Вода была теплая, с резким запахом болота, но он не мог оторваться и все пил. Потом сел у стены сарая и стянул мокрые сапоги. Солдаты, толкаясь, бежали к луже. Напившись, обливали головы. Петров перемотал мокрые портянки, с трудом натянул сапоги и встал. Опять вышли на дорогу. Справа что-то началось. Там чаще стали стрелять, слышались крики. Высокий, очень худой прапорщик в стоптанных солдатских сапогах бежал оттуда к роте.

— Приказ начальника дивизии,— хрипло кричал он,— я вам говорю, что приказ начальника дивизии; куда же вы уходите?

Петров с любопытством смотрел на близко подошедшего прапорщика. Лицо его было бессмысленно от усталости. Грязный пот извилистыми струйками стекал по узкому лбу и небритым щекам.

— Мы прямо из боя,— угрюмо сказал Петров,— не спим уже три ночи. У меня в роте осталось тридцать человек.

И вдруг с внезапно вспыхнувшим бешенством и злобой он закричал:

— Какой же тут к чорту приказ? Какой же тут к чорту начальник дивизии? Где он сидит? Откуда его приказ? Из тыла? За двадцать верст посылает приказы?

Весь охваченный яростью, он вспоминал самые богохульные семинарские ругательства и швырял их в лицо длинному прапорщику. Потом повернулся и диким голосом скомандовал роте двигаться. Пыль прилипала к мокрым сапогам. Скуластое лицо Петрова дрожало. Он услышал тонкий крик, оглянулся и увидел, как прапорщик, нелепо подымая ноги, подбегал к нему мимо солдат.

— Я вам говорю, там гибнут наши,— шопотом сказал он,— нужна же помощь, я же вам правду говорю.

На лице у него было жалкое ребячье выражение, была обида, и он, наклоняясь к Петрову, шел с ним рядом и заглядывал ему в лицо. Петров молчал и ускорял шаги, но прапорщик не отставал от него.

— Я соврал про начальника дивизии,— сказал он и вдруг всхлипнул,— мы за все время ни разу не видели его, но надо же нам помочь. Ах, как нас уничтожают, ужасно, как нас уничтожают.

Длинный, тонконогий, с молодой желтой порослью на лице, прапорщик чем-то был очень похож на жеребенка.

Петров вздохнул. Приходится отдавать последнее. Он устало поднял руку, останавливая роту. Украдкой он поглядел на солдат, хотел сказать им несколько слов, но спазма сжала горло, он не мог говорить. Снаряд разорвался так близко, что многих ударило комьями земли. Но люди стояли, не разбегаясь, в смертном равнодушии. Когда шли к лесу, Петров не решался оглянуться, ему казалось, что никто не идет за ним. Он первый лег у опушки и, не отдавая команды открыть огонь, стал стрелять из винтовки по наступающим германцам. Радость охватила его, когда он почувствовал у своего локтя локоть Рогожина, когда увидел других своих солдат, лежавших в цепи.

«Друзья, друзья»,— думал он и движением головы стряхивал слезы, которые мешали ему целиться. Он забылся, не ощущал больше своего тела, не знал, что с ним. Была первая майская гроза. Серебряный ливень обрушился на семинарский сад, крепкие водяные струи били по листьям, пригибая их книзу, сбегали по морщинам стволов. Прокатился гром, густой и мягкий, как бас соборного протодьякона. От земли, от деревьев, от дождя шел теплый, пьянящий запах. Ветка больно ударила Петрова в бок. Гром слышался ближе. Петров вздрогнул, открыл глаза. Рогожин толкал его. Петров вскочил. Неужели он уснул в бою, под выстрелами?

...Теперь они перебегали под деревьями, зорко вглядываясь вперед. Иногда один или другой солдат, как охотничья собака, делающая стойку, останавливался, припадал к бронзовому стволу сосны и стрелял. Сверху, сквозь мощные зеленые кроны деревьев проры-

вались синие просветы неба, падали вниз широкие янтарные солнечные лучи. Старый Голицын, посланный на разведку, выскочил из кустов и махнул рукой.

— Назад,— протяжно крикнул он,— обошли нас, сейчас ударят.

Солдаты бросились назад.

— Спокойнее, спокойнее,— сказал Петров,— не в первый раз пробиваемся и теперь пробьемся.

Он держался за Голицыным, доверяя мудрости старика, дравшегося еще на японской войне, и все оглядывался на солдат, боясь, что они побегут. Близко сзади застрочил пулемет, кто-то пронзительно крикнул, пули со свистом били по стволам, сшибали листья и ветки. На мгновение стало тихо, и шрапнель разорвалась высоко в воздухе. Рухнула вершина дерева — груда свежих трепещущих листьев, разбитые, белые в переломах ветви. Длинный лоскут молодой коры висел, как сорванная кожа. Голицын шел беглым шагом, пригибаясь к земле, все время оглядываясь по сторонам. Сбоку послышался треск сучьев и топот многих бегущих людей. Первым выбежал толстый фельдфебель с бурым лицом и, сердито посмотрев на Петрова, скрылся в кустах. За ним просочилось несколько солдат и шибко побежали за фельдфебелем. Рота ускорила шаг. С трудом продиралась сквозь колючие заросли ежевики. Лес становился гуще, сосны выше. Выстрелы слышались все дальше позади. Вышли на маленькую, круглую поляну. Посредине поляны лежал громадный выкорчеванный пень, простирая в воздухе мохнатые, с прилипшей к ним землей корни. Возле корней на животе простерся стонущий солдат. Темная кровь пропитала его гимнастерку и струйками стекала на землю.

— Перевязать бы его,— сказал Рогожин,— все равно отдохнуть надо.

Он и Голицын опустились на колени, расстегнули раненому шаровары и осторожно сдвинули их к коленям. Рана была на пояснице. Скупо намочив тряпку водой из манерки, Рогожин стер кровь вокруг раны. Он посмотрел с недоумением и показал Голицыну на частые синие полосы с еще незажившими рубцами, пересекавшие зад раненого.

— Не видал, что ли,— жестко сказал Голицын,— поротый он.

Взяв у Рогожина тряпку, он легко провел по рубцам. Раненый лежал неподвижно, тихо стонал. Рана зияла выше иссеченного зада, кровь все еще текла, густея. Петров подошел и резко дернулся назад. Охваченный стыдом и горем, он отошел в сторону и, не выдержав, побрел дальше. Узенькая изумрудная ящерица скользнула по земле и замерла, прижавшись к зеленым листьям куста. Откуда-то сверху дружелюбно прочирикала птичка. Петров хмурился, качал головой.

— Да, мы отступаем,— громко сказал он,— мы отдали все, что завоевали в первые месяцы войны, у нас нет снарядов, нет достаточного числа винтовок и кроме того...— Он остановился, боясь высказать последнюю, самую страшную мысль.

Он шарил в кармане, отыскивая папиросы, и вдруг ему показалось, что кто-то окликнул его.

«Я ошибся»,— подумал он и закурил, долго и жадно затягиваясь.

— Надо итти к роте,— сказал он,— в конце концов разве я виноват? Я не могу отвечать за все безобразия и подлости, которые совершаются в России. Но наши солдаты, наш русский народ... Простые, храбрые люди, герои, если бы не вся эта сволочь там, наверху. Как били бы они этих немцев — ведь они и сейчас их бьют...

Тут снова послышался голос, зовущий его, и Петров внимательно посмотрел вокруг себя.

— Эй, кто там?— крикнул он.

— Петров, помогите,— отозвался знакомый голос, и Петров увидел в нескольких шагах от себя лежащего под деревом человека. Длинное нескладное тело, угреватое бледное лицо принадлежали штабс-капитану Тешкину. Его голова в отогнутой на затылок фуражке была немного приподнята, черные спутанные волосы опускались к широко раскрытым, испуганно глядевшим глазам, ноги были раскинуты.

— Петров, помогите, я тяжело ранен,— прошептал он,— не покидайте меня, Петров.

И вдруг совершенно непроизвольно Петров сделал движение, точно хотел уйти. Блестящие глаза Тешкина ловили его взгляд, рука его слабо шевельнулась. Он тоненько застонал, и его беспомощно вытянутые ноги дрогнули.

— Кто вас оставил здесь? — спросил Петров.

— Солдаты,— ответил Тешкин,— когда немцы стали стрелять, они бросили меня. В сущности они правы. Что хорошего я им сделал? С какой стати было им возиться со мной?

Он закрыл глаза, гримаса просекла его угреватое лицо. Голос его прервался, слова перемежались с хрипами и стонами.

— Юноша,— заговорил он,— я старше вас на двадцать лет, чего только я не испытал, чего не знал в жизни! У меня была черная, страшная жизнь... о... о, как больно говорить... Меня пинали, били, гнали. Меня не пускали на человеческие праздники. Меня любили только за деньги — на рубль, на пять рублей. За деньги мне прощали мои угри, вернее, соглашались не замечать их. Я жил не как человек, а как отросток слепой кишки — ненужный, рудиментарный придаток, от которого, когда он мешает, избавляются посредством операции. Говорят, что у будущего человека не будет этого отростка. Значит, не будет и таких людей, как я. Меня не трогали людские несчастья, как людей не трогали мои. Разве мало таких одиноких людей на свете? Ах, как мне хотелось хорошей, цветущей жизни, большого, целиком захватывающего меня дела, красоты мне хотелось, Петров, музыки, садов... Будет ли когда-нибудь на земле такая жизнь? И вот я лежу здесь, в лесу, на чужой земле и умираю за чужое дело. Мне холодно, мне пусто. Петров, где вы? Не уходите. Петров, у меня на груди во внутреннем кармане пакет. Возьмите его. Я рад, что вы возле меня. Где вы, Петров? Дайте руку. Отчего я не вижу вас? Тухнет день, да? Неправда — я вижу солнце, вон там, наверху, в просвете... Петро...

Штабс-капитан не договорил. Большая мутная слеза выкатилась на угреватую небритую щеку. Его рука отяжелела в руке Петрова. Но еще долго она оставалась теплой, как бы живой.

Петров взял из грудного кармана мертвеца пакет. Он носил его несколько дней и забыл о нем. Потом случайно нашел пакет среди своих бумаг. Он сорвал первый, чистый конверт. Под ним оказался второй, с надписью (буквы были длинные, угловатые, чем-то напоминавшие Тешкина):

ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НАЙДЕТ МЕНЯ МЕРТВЫМ — МОЕМУ НАСЛЕДНИКУ

Петров осторожно, чтобы не испортить надписи, вскрыл этот конверт. Он нашел фотографическую карточку Тешкина, две новеньких сторублевки и письмо. Портрет и деньги лежали в письме, аккуратно перевязанном ниткой. Карточка изображала Тешкина в штатском костюме. Он сидел у стола, держа на коленях сказки Гофмана, и смотрел неприязненным, насмешливым взглядом. Петров прочитал письмо:

«Дорогой друг,— писал Тешкин,— кто бы ты ни был, исполни последнюю просьбу одинокого человека. Меня уж нет. Все, что от меня осталось, это фотография, которую ты нашел в письме. У меня нет родственников, нет друзей. Страшно исчезнуть совсем, не оставив в в жизни никакого следа. Ты — мой наследник, единственный человек, который будет обо мне помнить. Отметь дату моей смерти на обороте карточки и повесь ее под стеклом (чтобы не загадили мухи) в своей комнате. В годовщину моей смерти вспомни на пять минут обо мне. Посмотри на портрет и подумай, представь себе, что жил на свете такой человек, Иван Андреевич Тешкин. Был он живой, как и ты, в детстве его звали Ваней. Потом можешь забыть его до следующей годовщины. Вот и все, о чем я прошу тебя. В благодарность оставляю тебе двести рублей, может быть, эти деньги помогут тебе лучше жить. Прощай. Постарайся исполнить то, о чем я прошу тебя, ведь это так немного, не правда ли?

Иван Тешкин».

На обороте карточки крупными угловатыми буквами было написано:

ИВАН АНДРЕЕВИЧ ТЕШКИН

Родился в городе Туле, семнадцатого мая 1874 года.

Убит на фронте мировой войны

......191.....года

21

Утром в ставке не было занятий. На местах оставались только дежурные офицеры. Из Москвы прибывала чудотворная икона владимирской божьей матери, и царь с наследником, свита, штаб и войска встречали ее на вокзале. Блестящая толпа генералов и офицеров, священники, великие князья и чиновники выстроились на перроне. Медленно подошел поезд. Из широко раскрытых дверей специального вагона священники с пением вынесли икону. Огромный черноволосый дьякон в очках громко пел, хор подхватывал. Царь первый подошел к иконе, за ним потянулся длинный хвост генералов. Полки с ружьями на плечах провожали икону через город.

Царь, уехавший с вокзала на автомобиле, встретил икону возле своего дома и пошел в церковь на торжественную службу. На следующий день икону повезли на фронт.

Утрами в управление штаба приходили генералы. В ставке их уже знали и называли «нанимающимися». В приемной дежурного генерала Бредов увидел бывшего командира первого армейского корпуса генерала Артамонова. Он был под следствием за то, что погубил свой корпус в самсоновской операции, но сумел оправдаться и теперь хлопотал о новом месте. Говорили, что его хочет взять к себе командующий юго-западным фронтом генерал Иванов, и ставка не возражает, хотя полная бездарность Артамонова ни для кого не является секретом. В полдень начальник штаба принимал бывшего варшавского генерал-губернатора князя Енгалычева. Князь, не имевший ни боевого, ни даже строевого опыта, хотел занять место начальника штаба какого-нибудь фронта. Алексеев объяснил ему, что такого свободного места нет. Енгалычев равнодушно посмотрел на него, пожевывая пухлыми, синими губами, и посоветовал:

— А вы прогоните кого-нибудь, ну, хоть генерала Бонч-Бруевича. Он же плохого происхождения.

Приезжали и немощные старички, увешанные орденами, живущие стратегией чуть не турецкой войны, и все они желали и требовали назначений на должности командиров корпусов, командующих армичми и фрон-

тами. Капитан Нестроев, знавший все сплетни, рассказывал Бредову про генерала Янушкевича, бывшего начальника штаба при Николае Николаевиче. Янушкевич был профессором военного хозяйства и сам говорил, что в стратегии ничего не понимает. И все же он целый год был фактическим распорядителем операций всех фронтов.

Пожив около двух месяцев в ставке, Бредов освоился с ее бытом, узнал весь распорядок ее жизни, такой величественный и таинственный со стороны. Каждое утро в одиннадцать часов генерал Алексеев отправлялся к царю с докладом. На десятиверстных картах, развешанных в комнате, были нанесены все последние донесения с фронтов, и начальник штаба зачитывал сводки и донесения:

«На таком-то фронте без перемен, в таком-то корпусе потеряно столько-то, такая-то армия заняла новые позиции». Царь сидел неподвижно, курил, украдкой со скукой поглядывая на Алексеева — скоро ли он кончит. Потом выслушивал уже написанные Алексеевым распоряжения, никогда их не оспаривая. Днем у него было мало работы, и, запершись у себя, он тайком раскладывал пасьянсы или играл с флаг-капитаном Ниловым, неразлучным своим другом, в любимую игру — безик. Каждый день в Царское Село отправлялись телеграммы за подписью «Ники».

В столовой за генеральским столом они увидели четырехугольного, очень широкого человека в форме шталмейстера. Низкий лоб, шишковатый череп с остатками ярко-рыжих волос, плоские уши, голые, лишенные ресниц, каменные глаза придавали этому человеку страшное, зловещее выражение. Генералы почтительно с ним здоровались, а он, не глядя, совал им короткую, поросшую красноватой шерстью руку. Это был Александр Феодорович Трепов, брат Дмитрия Трепова, автора знаменитого приказа «патронов не жалеть». Он не имел никакого представления о железнодорожном деле, но царь назначил его министром путей сообщения, питая слабость к приятной ему фамилии. Царь носил у себя в портсигаре крохотные записочки и, закуривая, вынимал эти записочки и говорил о том, что такого-то надо назначить на такой-то пост — он милейший человек.

Бредов любил работать. Целые дни он готов был проводить за своим столом. В работе он хотел найти успокоение от странного беспокойства, все более охватывавшего его. Но длинные колонны бумаг, проходившие через его руки, возбуждали в нем чувства, менее всего сулившие покой. Приходили донесения, свидетельствующие о развале тыла. Они отмечали «большое количество бродящих нижних чинов, ведущих себя распущенно», говорили о многих тысячах офицеров, прочно окопавшихся в тылу. Было не мало потушенных дел о мародерстве, о ворующих генералах, о гнилых солдатских сапогах, поставляемых интендантами. В старых делах Бредов наткнулся на папку, содержащую дело об операции в Карпатах. Зимнее обмундирование по чьей-то преступной небрежности не было доставлено войскам, и два месяца они пробыли в горах раздетые и босые. Официальный отчет насчитывал более семи тысяч обмороженных нижних чинов, эвакуированных в тыл. Новые бумаги приходили непрерывно. Они содержали столько сообщений о неурядицах, недоставленных боевых припасах, о порке и расстреле нижних чинов, о самострелах, дезертирах, о добровольно сдавшихся в плен, что Бредову казалось невозможным воевать дальше при таких условиях. Он присматривался к высшим работникам ставки и видел, что все они, за редкими исключениями, настроены очень спокойно, всегда обедают во-время и мало, как это ни странно, задаются вопросами судьбы войны. Их внимание поглощала мелкая повседневная работа, ревнивое наблюдение друг за другом и вопросы карьеры. В ставке знали, что командующие армиями и фронтами часто отказывались от операций, которые хотя и были необходимы, но содержали в себе известный элемент риска, не желая портить своего служебного положения, и находили это в порядке вещей. Знали, что все донесения преувеличены во много раз, и часто там, где указывалось, что неприятель разбит и доблестные войска на его плечах ворвались в окопы или деревню, было на деле мирное занятие очищенных противником позиций. Чаще всего ставка только регистрировала события, происходившие на фронтах, подтверждая своим авторитетом распоряжения главнокомандующего. Старались, чтобы все шло спокойно, и поэтому недолюбли-

вали энергичных генералов, смелые действия которых вызывали беспокойство. Командующего восьмой армией генерала Брусилова, не окончившего академии генерального штаба, презрительно называли берейтором. Каждый, кому удавалось сняться с царем на одном снимке, был горд, точно получил боевой орден. Когда случалась большая военная неудача, о ней говорили прежде всего как о неудаче командующего армией и гадали, что ему за это будет, но мало кто задумывался над тем, что потерпела поражение русская армия. К поражениям так привыкли, что с чиновничьим равнодушием регистрировали новые удары германцев. В управлении дежурного генерала, ведавшем переменами и продвижением личного состава в армии, кипело больше людских страстей, чем в управлении генерал-квартирмейстера, ведавшем оперативной стороной. Знали, что некомплект в оружии, снарядах, в обученных кадрах был так велик, что до весны шестнадцатого года нельзя было помышлять ни о каких крупных действиях. По инициативе Алексеева было созвано совещание главнокомандующих фронтами под председательством царя. Царь провел первое заседание, пригласил генералов обедать, а на следующий день неожиданно уехал в Крым. Совещание закончил Алексеев.

Бредов добросовестно сидел над своими бумагами. Но ему становилось все хуже. Иногда он ужасался, видя, каким пустым и нетвердым людям было вверено дело защиты страны. Он видел, что ставка далеко не охватывала всех событий, и такое важное дело, как снабжение армии, было совсем плохо организовано ею. Огромнейший фронт катился назад, сотни тысяч солдат гибли или сдавались в плен, гибло ценнейшее военное имущество, но буква управления держалась прочно и непоколебимо. Писались сводки штаба верховного главнокомандующего, генералы, офицеры и чиновники выполняли свою очередную работу, фельдъегери доставляли в запечатанных портфелях важнейшие бумаги. Бредов мучился и искал для себя выход. И однажды после долгого разговора с пьяным Нестроевым, когда капитан изложил Бредову, в чем, по его мнению, заключается сущность умной жизни, Бредов без всяких колебаний написал рапорт об откомандировании его в строй.

Бредов, получив назначение на фронт, чувствовал себя счастливым. Он в тот же день уехал из Могилева.

22

Всюду горели военные склады. Черно-рыжий лохматый дым подымался к радостному весеннему небу. Дороги были покрыты сломанными повозками, разорванными мешками с продовольствием, новым и старым обмундированием, военной амуницией. Когда армия еще дралась с прорвавшимися германцами, на фронте не было снарядов к орудиям, патронов к винтовкам и самих винтовок. Когда же разбитые, плохо вооруженные части бросились назад и в стремительных, беспорядочных маршах достигли ближайших за фронтом тылов, оказалось, что там — на складах, в неразгруженных вагонах и на платформах станций лежали огромные запасы боевого снаряжения. Некому было проследить за их перевозкой, и так пролежали они все эти страшные дни в нескольких десятках километров от места боя. Теперь их взрывали, чтобы они не достались неприятелю, и мощные взрывы сотрясали воздух. Интендантские чиновники с веселыми лицами суетились вокруг складов. У них был большой праздник. Никто не мог учесть их — радостное будущее ожидало их. Армия отступала — многотысячная, грузная, все еще могучая своим числом и массой. Солдаты бродили по окрестным селениям. Одни стремились пробраться домой, в Россию, другие отставали, предпочитая закончить войну в плену. Иногда встречались свежие части, переброшенные под Горлицу для ликвидации германского прорыва. Черницкий шел с забинтованной головой. Пуля оцарапала его, и он невесело шутил:

— Она, конечно, не должна была убить меня. Но если она уже попала в Черницкого, то почему не вышло так, чтобы Черницкий с хорошей, удобной раной мог отправиться на пару месяцев в Россию? А то сделали перевязку и даже не оставили в околотке. Вот что значит несчастная судьба.

Роту вел Петров. Он заменил раненого Руткевича и теперь, понурясь, шел впереди четырех десятков солдат, уцелевших от последних боев. Лицо его заросло кудрявой, рыжей бородой, усталость была в глазах.

Он вспоминал Иркутск, военное училище, торжественные гигантские карты, развешанные на стенах классов. Извилистые линии фронтов на этих картах казались ему почетнейшим местом мира. Там решалась судьба России, страны, протянувшейся на две части света. Оттуда приезжали герои, газеты писали о величественных сражениях. Пленные австрийцы, прибывавшие целыми эшелонами, свидетельствовали о победах и мощи русского оружия. Девушки встречали раненых, дарили им цветы... Было стыдно оставаться в тылу. Затем производство в прапорщики, отряд молодых офицеров под музыку стройно идет на вокзал, весь город тепло провожает их.

Петров кривит лицо — не стоит думать об этом, так глупо, так страшно получилось потом. Он не писал домой писем, так как в России представляли себе войну так же, как он прежде представлял ее, и ему было противно думать, что он будет способствовать их иллюзиям. Что происходит сейчас на фронте? Долго ли будет продолжаться отступление? Он с горечью подумал, что он, русский офицер, очень слабо понимает положение. Задачи той или другой операции для него оставались таким же секретом, как и для солдата.

Майское солнце сильно грело. Как назло, день был прекрасный, небо синело, как море, пели птицы. А полк метался в гуще растрепанных, перемешавшихся частей, обозы врезались в его ряды. Прямо в поле возле дороги лежали стонавшие раненые, и фельдшер беспомощно ходил возле них.

Армия текла по дорогам и без дорог, как течет в половодье река. Проехала артиллерия. На передке сидел солдат с веселым лицом, держа в руках гуся. Другой гусь был привязан за лапу к передку. Кругом засмеялись. Сбоку по тропинке проходил эскадрон. Оттуда слышались переливы гармошки.

— Эх, разнесчастная пехота,— сказал Голицын,— ни тебе украсть, ни накраденное подвезти.

Он курил сушеные листья, мелко накрошив их и перемешав с какой-то дрянью. Едкий вонючий дымок стлался над ним. Самохин, две недели лежавший с простреленной рукой и только недавно вернувшийся в строй, попросил у него закурить. Голицын с сожа-

лением посмотрел на окурок, затянулся и бережно передал его Самохину.

— Ты вот меня моложе,— наставительно сказал он,— раздобыл бы курева и дядю бы угостил.

Самохин не отвечал, и Голицын, внимательно поглядев на него, спросил:

— Что же ты, парень, скучный? Отступлению не рад?

— Мне все равно — отступать или наступать,— ответил Самохин и сморщился: докуренная папироска обожгла ему губы,— про это начальство знает.

— А ты что знаешь? — насмешливо спросил Голицын.— Или тебе ничего не полагается знать?

— Не полагается,— покорно сказал Самохин, опуская голову. Он не верил никому, боялся разговаривать даже с товарищами по роте. Ночью же, когда его не видели, он забирался в тихое местечко и плакал. Плакал оттого, что ему было страшно и тяжело. Жил он во мгле, оторванный от всего мира. Попрежнему боялся Машкова, тупо выполнял его приказы. К боям привык. Стрелял, шел в атаку. Однажды услышал, что война скоро кончится. Это известие глубоко его потрясло,— ему казалось, что война уже никогда не выпустит его. С тех пор он жадно прислушивался ко всем разговорам солдат о мире и ночами думал, как его, Самохина, отпустят, и никогда, никогда больше он не увидит Машкова, офицеров.

На другой день был успешный бой с немцами, но он ничего не изменил. Густые массы отступающих русских двигались на северо-восток, и отдельные стычки не имели никакого значения. Уречин пытался задержаться на занятом участке. Четыре пулемета, еще уцелевших в полку, обстреливали луг, за которым расположились германцы, а приданная полку батарея, хорошо пристрелявшись, громила наступавшие цепи противника. Мимо полкового штаба проскакал казачий разъезд. Есаул, придержав поджарого, задравшего голову донца, крикнул Уречину, что справа идут крупные силы немцев, а полк, бывший на этом участке, отступил. Уречин сердито посмотрел на есаула, как будто тот был виноват во всем, и приказал сняться с позиции. Третий батальон остался последним, охраняя отступление. Остатки десятой роты цепью лежали на гребне холма. Огляды-

ваясь, они видели всю громоздкую массу уходящей армии. Пули, вздымая пыль, били в сухую землю. Откуда-то из-за леса непрерывно стреляли германские орудия. Шрапнели рвались над русскими колоннами, и с гребня хорошо было видно, как падали люди. Слева карьером вынеслась русская батарея. Пожилой офицер, осадив коня, скомандовал «стройся вправо», и орудия разъехались на полные интервалы. Прислуга еще на ходу соскакивала на землю, передки, отделившись от орудий, отъехали назад. Телефонисты бегом тянули провод от высокого дуба к батарее. Карцеву всегда нравилась работа артиллерии. Артиллеристы были почти все на подбор — рослые, смышленые, быстрые в движениях люди. Он видел, как ловко они равняли пушки, как поворачивали зарядные ящики. Могучие машины повиновались им. Телефонист, лежа на земле и не отрывая трубку от уха, что-то торопливо передал старшему офицеру, и тот, на лету подхватывая его слова, весело скомандовал:

— По батарее, уровень тридцать ноль, сто, трубка сто...

Стукнули тяжелые затворы, длинные металлические стаканы с коническими головками скрылись в черных отверстиях («точно хлебы в печь сажают»,— подумал Карцев). Резкие голоса закричали «готово», офицер крикнул «огонь», и гром шести орудий ошеломил пехотинцев.

— Сто семь, трубка сто семь, два патрона,— звонко кричал офицер, и огненный вихрь вырывался из длинных хоботов. Визг снарядов быстро удалялся.

— Хорошо, два орудия подбиты, — ликующе передавал телефонист.

— Спасибо, родная батарея,— крикнул офицер и засмеялся. Потом поднял бинокль к глазам и скомандовал: — Первая полубатарея шрапнелью, вторая гранатой.

С восхищением смотрел Карцев на эту кипучую четкую работу. «Нам бы так»,— с сожалением подумал он.

Батарея вдруг прекратила огонь. Подъехали передки.

— Эх, еще бы хотя две очереди,— вздыхая, сказал усатый фейерверкер,— никак патронами не разживемся.

Лошади взяли с места крупной рысью, грохот тяже-

лых колес затихал на дороге. Петров воспаленными глазами (он не спал уже третью ночь) следил за наступающими немцами. Они продвигались медленно, осторожно, видимо, не зная, что батарея уже снялась.

— Еще час надо продержаться, ребята,— сказал Петров.

Машков тихо доложил, что патронов имеется по десять штук на винтовку. Петров, не отвечая ему, смотрел в бинокль и соображал. Шагах в четырехстах от гребня тянулась низенькая поросль. Если немцы доберутся до нее, будет потом трудно отступать. Они перестреляют всю роту.

— Карцев, — вполголоса сказал он, — возьми свой взвод, проберись к зарослям и попробуй там продержаться до сигнала. Береги патроны.

Во взводе Карцева было всего двенадцать человек. Чтобы отвлечь внимание немцев, рота открыла редкий огонь. Распластавшись, солдаты поползли вперед. Их заметили. Пули сухо защелкали, врезаясь в землю. Ефрейтор Банька охнул. Пуля, скользнув по спине, оцарапала ему зад.

— А ты чего ж... выставил,— сердито сказал Голицын,— неужто до сих пор ползти не научился?

Сам он полз, волочась, как раздавленный, держа голову набоку, спереди прикрывая ее лопатой. Первым дополз Карцев и залег за кустами. Тут были окопы, вырытые раньше, и взвод занял их. Голицын, ворча, перевязывал стонущего Баньку. Черницкий вежливо спрашивал Баньку, как он будет сидеть. Но ему пришлось замолчать. Пулемет непрерывно обстреливал заросли, ветки, сбитые пулями, падали на головы солдат.

— Ползут, ползут, — придушенным голосом сказал Рогожин,— стреляйте, братцы.

— Подожди,— шепнул Карцев,— когда будут у той желтой кромки, мы их поймаем. Целься по кромке, без команды не стрелять.

Он лег удобнее. Поймал мушку и ровно навел винтовку. В зеленых стебельках что-то шевельнулось, подвинулось. Карцев не спеша нажал спуск. Сбоку затрещали выстрелы. Самохин стрелял часто, Голицын выцеливал каждую пулю. Немцы затихли. Потом опять застрочил пулемет. Черницкий лежал рядом с Карце-

вым. Вдруг он перестал стрелять. Карцев повернул к нему голову. Винтовка вывалилась из рук Гилеля, правое плечо было залито кровью. Никогда еще за всю войну Карцев не чувствовал такого горя.

— Гилель, друг,— прошептал он, и грубый волчий плач вырвался из его горла.— Гилель, Гилель...

Из роты сигналили вернуться. Карцев, Голицын и Рогожин тащили Черницкого. Его голова моталась, лицо стало серым. За гребнем Карцев расстегнул его гимнастерку. Пуля попала под ключицу, вышла возле правой лопатки. Кровь текла. Черницкий не шевелился. Только когда рану перевязывали, он застонал, открыл глаза.

— Свадьба,— невнятно пробормотал он, и слабая улыбка показалась на его побелевших губах,— скажи мне, Карцев, зачем мне вся эта свадьба? Если увидишь Мазурина, пожми ему руку. Может быть, он дождется... дождется...

Поздно ночью полк шел по какой-то неведомой дороге. Вокруг пылали пожары. Зарева окружали армию. На много верст кругом горела страна. Небо казалось распухшим, цвет его был темнокрасен. Солдаты шли тихо, жались друг к другу. Все было необычно и страшно. Отсветы пожаров колебались в небе, точно это раскачивались от ветра исполинские деревья. Не лаяли собаки, не слышно было ни одного звука, который бы показывал, что здесь сохранилась обычная жизнь. А издали доносился глухой мощный гул, точно там происходило землетрясение. Подняв голову, шел Карцев. Он не видел Петрова и Голицына, шагавших возле него, не видел никого. Ему казалось, что идет он в небывалой пустоте, шагает по рытвинам и обломкам и далеко, далеко впереди — одни развалины. Он взглянул вверх, отыскивая в небе звезды, и на востоке увидел одну — горевшую в ночи чистым, ярким светом.

Он простер к ней руку, улыбнулся ей.

— Мы дождемся, Гилель,— сказал он так громко, что на него оглянулись солдаты.— Мы дождемся!

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников изд-во просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 10, изд-во «Советский писатель».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отв. редактор Л. Разин.
Техн. редактор Ф. Соколов.
Корректор Е. Бокшицкая.
Уполном. Главлита А-20739.
Тираж 10 000. С. П. № 52.
Сдано в производство 19 февраля 1938 года. Подписано к печати 13 ноября 1939 г. Колич. печ. листов $25^1/_4$
Учет.-изд. листов 21,72 Колич. печ. знаков в листе 36 000 Бумага $84 \times 108^1/_{32}$.
Набрано и сматрицировано в типографии газеты „Правда“ имени Сталина Москва, ул. „Правды“, 24. Заказ 449.
Отпечатано с матриц в 11-й тип. и шк. ФЗУ МООМП, Москва 2-я, Рыбинская, д. 3. Зак. 3052

Цена 8 р. 25 к. Переплет 2 р.

